ISSN 0131-6044

РОМАН-ГАЗЕТА

17
(1071) 1987

ИЗДАНИЕ ГОСКОМИЗДАТА СССР МОСКВА

Василий Ардаматский

•

СУД

Annotation

Наказание за преступление неотвратимо. Суд народной совести неподкупен. Об этом пишет в своем произведении В.Ардаматский. В сложной, многоплановой фабуле романа раскрывается нравственная природа преступников, посягающих на социалистическую собственность, показан повседневный благородный труд тех, кто стоит на страже народного достояния.

- Василий Ардаматский
  - Часть первая
  - Часть вторая
  - Часть третья
  - Неотвратимость наказания

Василий Ардаматский
Суд
Роман

Часть первая

Глава первая

Михаил Борисович Лукьянчик, раздетый до пояса, сидел на жесткой клеенчатой кушетке и настороженно смотрел в туго обтянутую белым халатом спину главного врача больницы Мегазова, который, склонясь над белым столиком, почти механически записывал результаты осмотра, думая об итоговом диагнозе. К чему он приговорит сейчас этого всему городу известного человека — Михаила Борисовича Лукьянчика, председателя Первомайского райисполкома? Метазов из окна своего кабинета видел, как он сам приехал в больницу, ловко зарулил своего «Москвича» на стоянку и энергично пошел к больничному корпусу. А здесь рассказал, что пригнало его в больницу возникшее еще утром и до сих пор не проходившее жжение в груди, отзывавшееся немой болью в левой руке. Кроме того, он жаловался на одышку и общую слабость. В общем, картина относительно ясна — если не инфаркт, то предынфарктное состояние. Однако только что сделанная электрокардиограмма сердца была спокойной. Но, помнится, вот с такой же кардиограммой год назад из этого же кабинета ушел начальник городской милиции, а ночью его уже не удалось спасти — тяжелейший многосторонний инфаркт. Метазов дольше помнил тех своих больных, которых уже нет в живых. Недавно на утренней оперативке больничных врачей он разъяснял им, что каждый летальный исход в конечном счете отзывается на их врачебном авторитете.

— Так уж и каждый… — угрюмо заметил хирург.

Метазов не ответил, только тревожно посмотрел на него.

— Придется, Михаил Борисович, полежать в постели, — весело сказал Метазов.

— Дома?

— Нет, лучше это сделать у нас, — ответил Метазов, решив, что, если пациент будет настаивать на домашнем режиме, он согласится.

— Это очень печально… — покорно произнес Лукьянчик. — И долго?

— Три недели, не меньше. У вас неважно с сердцем, придется полечиться. К вам в палату сейчас придет лечащий врач, он объяснит, как вы должны себя вести.

Метазов вызвал сестру, распорядился подать каталку и отвезти больного на третий этаж.

— Да зачем, к сам дойду… — запротестовал Лукьянчик.

— Здесь распоряжаюсь я, — назидательно, но с улыбкой сказал Метазов и, шурша свеженакрахмаленным халатом, вышел из кабинета. В комнате померк свет — часть его унес доктор Метазов на своем белоснежном халате.

Лукьянчик встал, подошел к зеркалу и увидел в нем свое крепкое, налитое тело, мягко обозначившиеся выпуклости груди, загорелые по локоть, сильные руки и, как никогда раньше, почувствовал себя крепким и здоровым.

Прибыла каталка — высокая койка на колесиках.

Лукьянчик облачился в тесную больничную одежду и с помощью няньки взгромоздился на каталку. Его повезли сперва по длинному, плохо освещенному коридору, потом на грузовом лифте подняли на третий этаж, привезли в большую светлую комнату и положили на постель. Рядом была еще одна — пустая. «Слава богу», — обрадовался Лукьянчик. Сейчас ему не

хотелось никого видеть, надо было без помех сосредоточиться, подумать…

Михаил Борисович Лукьянчик родился в Москве в семье дворника и школьной уборщицы. Отец пропал без вести еще на финской войне, мать погибла во время эвакуации из Москвы, в октябре сорок первого года. Помнит он эту ночь в пути — поезд остановился, все бросились из вагонов. Земля вздрагивала от взрывов. Вагон, из которого только что выпрыгнул Михаил с матерью, загорелся. Мать тащила его за руку подальше от поезда. И вдруг прямо перед ними взметнулся столб огня… Когда Михаил очнулся, вокруг были незнакомые люди, матери не было. А поезд шел дальше… Ему было тогда одиннадцать лет.

Он окончил семилетку в детдоме на Урале и пошел работать на мотоциклетный завод, который был шефом детдома. Учился он с опозданием на год, и, когда стал к станку, ему было уже шестнадцать лет. Увлекся мотоциклетным спортом и весьма в этом преуспел, получил разряд, ездил на соревнования. Спустя несколько лет он как спортсмен-разрядник легко поступил в автодорожный институт, выбрав себе факультет, где изучались дорожно-строительные машины, с расчетом не привязывать себя наглухо к дороге: ему хотелось жить в городе. Уже на втором курсе он спорт бросил, решив утвердиться в институте как комсомольский активист; этот способ виделся ему более надежным и безопасным. Тут он тоже преуспел и еще на третьем курсе был избран в институтский комитет комсомола. Теперь он был уже твердо убежден, что свою судьбу можно и лучше строить по собственным чертежам. В год окончания института он осуществляет следующий важный пункт своего плана жизни — женится на дочери проректора института по административно-хозяйственной работе. Это виделось

ему грандиозной удачей: красивая девушка Таня, дом — полная чаша, родители, готовые за счастье дочери отдать все.

Свадьбу сыграли на другой день после того, как Лукьянчик получил диплом. Не меньше ста человек до полуночи пировали в лучшем ресторане города. Лукьянчик получил от тестя славный подарок — сберкнижку с записью десяти тысяч рублей.

Прямо из ресторана Лукьянчик отвез молодую жену в комнатку, снятую им недавно. «Мы начинаем самостоятельную жизнь», — объявил он твердо ее родителям накануне.

Договорились, что завтра, когда молодые проснутся, они приедут к родителям завтракать. Приехали поздно, уже после двух. Дверь открыл незнакомый парень.

— Проходите, — как-то странно, будто приказал он.

Они вошли. Квартира была перевернута вверх дном. На кухне в кресле рыдала Танина мама, за столом сидели незнакомые люди, очевидно понятые, а какой-то человек в брезентовой куртке отбивал от стены облицовочные плитки, весь пол был белый, под ногами хрустело.

— Доченька, твоего папу оклеветали… — запричитала мать.

Лукьянчик остановился в дверях. Таня рванулась из кухни, от матери, хватавшей ее за руки:

— Где папа?

Незнакомый молодой человек остановил ее на пороге:

— Туда нельзя.

— Миша, что же ты стоишь? — закричала Таня.

Лукьянчик спросил строго:

— Кто тут у вас главный?

— Что вы хотите?

— Я всего лишь зять проректора, притом только со вчерашнего дня… и я не хотел бы здесь

присутствовать…

— Миша, что ты говоришь? — закричала Таня.

Молодой человек исчез за дверью, плотно притворив ее за собой. Через минуту в кухню вошел рослый милицейский майор:

— Кто тут зять со вчерашнего дня?

— Я, — ответил Лукьянчик. — Я заместитель секретаря комитета комсомола института и не нахожу нужным здесь находиться.

Майор внимательно посмотрел на него, потом на Таню и печально вздохнул:

— Берите свою молодую и уходите… Кутахин, выпусти их через черный ход…

Лукьянчик взял жену под руку и потащил к двери, она подчинялась ему точно во сне, еле переставляла ноги, а выйдя на черную лестницу, где пахло щами и кошками, села на ступеньки и зарыдала в голос:

— Я знала… знала…

Что она там знала, Лукьянчик выяснять не стал, поднял ее, повел вниз по лестнице…

Ни Таня, ни тем более Лукьянчик на суде не упоминались, и о том, что они вообще есть, можно было узнать только по минутному эпизоду, когда прокурор выяснил у подсудимого, во что ему обошлась свадьба дочери…

Нельзя сказать, что Лукьянчик очень страдал по поводу случившегося, о тесте меньше всего думал. Он хвалил себя за снятую вовремя комнату, в которой ничего, кроме кровати, не было, за оттяжку свадьбы до «после диплома», за решительность и находчивость в доме тестя, когда там шел обыск… Он не знал только, как поступить с подарком, но размышление об этом было недолгим — подарок дан, как сказал сам тесть, на устройство семейного гнезда, а разве не этим придется ему сейчас заниматься?

Спустя несколько дней Лукьянчик, согласно распределению, уехал в город Южный. Взял с собой только жену. Теща позже отправилась на север, поближе к мужу, отбывающему там заключение.

В городе Южном Лукьянчика приняли хорошо, очень нужен был инженер по ремонту дорог — город стоял по пути на южные курорты и городские власти хотели, чтобы дорога была в идеальном порядке. Ему сразу вручили ключ от комнаты и обещали к весне квартиру.

Спустя несколько дней, устроившись с жильем, Лукьянчик отправился в райком партии становиться на партийный учет.

— Вы подъемные строительные краны знаете? — после недолгого разговора спросил работник райкома.

— Обязан знать, да и техника эта не бог весть какая, — улыбнулся Лукьянчик.

— Не согласитесь пойти бригадиром крановщиков? Мы сейчас готовим их на ускоренных курсах, и, хотя бы первое время, их надо подчинить знающему специалисту… — Лукьянчик задумался, а работник райкома стал рассказывать, какие грандиозные масштабы обещает принять жилищное строительство уже в следующем году. — В первом же доме сами выбираете себе квартиру, — продолжал он. — И заработки будут побольше, чем у дорожников…

Лукьянчик дал согласие.

Будучи бригадиром крановщиков, он показал себя с наилучшей стороны и как специалист, и как организатор работы прогрессивными методами. В это время он стал членом партии. Кандидатом его приняли еще в институте. Потом его назначили главным инженером строительного управления, а позже и начальником.

Очень удачно пошла жизнь Лукьянчика в этом южном городе, которую он сейчас, как в убыстренном

кино, прогонял перед собой, лежа на больничной койке.

Он еще и еще раз проверял, что могут поставить ему в строку, если всерьез начнут под него рыть, — у нас так уж заведено: чуть человек пошатнется, на него все камни обвалят… Но одновременно он тщательно подсчитывал и все хорошее, что сделал для людей города. Господи, да разве ж мало сделано? Последнее время его любимая шутка: «Когда всех вселю в новые дома, потребую себе памятник…» И люди на эту шутку добродушно смеялись.

Где же началось то опасное?

Как раз когда он был еще начальником стройуправления, прозвучал громкий сигнал тревоги… Его во второй раз выдвинули депутатом в райсовет, и на общем собрании рабочих управления доверенные лица поддерживали его кандидатуру. Все шло гладко, а для Лукьянчика даже скучно: речи доверенных печатались на машинке стройуправления, и он их читал еще накануне, в одной речи даже убрал чересчур хвалебную в его адрес фразу, — явный был перебор…

И вдруг слово попросила крановщица Картинкина, препротивнейшая крикливая бабенка с крупным мужским лицом, — как подаст голос из своего скворечника на кране, вся стройка слышит… Председатель собрания почувствовал, что добра от ее выступления не будет, и стал выпрашивать у собрания право «подвести черту». Поскольку вопрос был более чем ясный, раздались голоса: «Подводи! Хватит!» Но, как всегда в таких случаях, были и такие, кто закричал: «Дать Картинкиной слово и потом подведем черту!»

— Мне с крана все видно, и даже то, что вам ввек не увидеть! — начала Картинкина, и в зале одобрительно засмеялись. — Я пришла на стройку, когда наш нынешний начальник товарищ Лукьянчик был еще бригадиром по кранам, и не без его помощи я стала крановщицей и разобралась в этой технике. За что ему

мой низкий поклон... — и она, обернувшись к президиуму, где сидел Лукьянчик, отвесила ему легкий поклон и продолжала: — Но теперь я хотела бы услышать от товарища Лукьянчика ответы на такие мои вопросы... — Лукьянчик закивал, с симпатией глядя на крановщицу. — Первый мой вопрос такой: почему в газете товарищ Лукьянчик уже заявил всенародно, что дом пять по Строительному проезду уже закончен, а я еще сегодня на верхние этажи подавала там калориферы для отопления и раствор для отделочников? Второй мой вопрос касается моего мужа шофера Картинкина... — В зале дружно засмеялись, все знали, как она круто прибрала к рукам этого весьма склонного погулять водителя самосвала. Но смех зала нисколько ее не смутил. — Вы уже знаете, как я за ним смотрю, сверху-то я его вон еще откуда вижу, аж от той пивной палатки на косогоре, которую мы уже год как требуем убрать с нашей трассы, но кому-то та палатка нужна еще больше... — В зале опять засмеялись. — Ну, дак вот. Приносит мне Кузьма позавчера свою зарплату, и я удивляюсь: откуда у него так здорово получилось, я видела, как его самосвал то на площадке загорал вместе с Кузьмой, а то на местах получения груза — как всегда, грузить было нечего? Я у него спрашиваю: как же это ты так нагнал план? А он говорит — с ведома товарища Лукьянчика нам на каждый рейс два записывают. Как это так, спрашиваю, Кузьма отвечает: очень просто, если он не припишет, у него квартальный план горит вместе с премиями, и нам работать нет никакого расчета. Это, товарищи, факт я рассказываю. Так пусть товарищ Лукьянчик ответит: если это правда, откуда он берет деньги на рейсы, которых не было? Не у государства ли берет? Или, может, кладет свои личные? Если личные, я на выборах буду голосовать за него двумя руками, если государственные — еще подумаю, голосовать ли?..

Картинкина спускалась со сцены в зал под аплодисменты и разноголосые крики. Потом стало слышно, что кто-то требует слова, хочет что-то добавить, а кто-то возмущается Картинкиной, а кто-то даже свистит.

На трибуну поднялся присутствовавший на собрании заместитель председателя исполкома Глинкин, он поднял руки, пытаясь прекратить шум, и, не добившись этого, начал смеяться. Это было так неожиданно, что зал смолк.

— Товарищи! Дорогие мои товарищи! — наконец сказал Глинкин вполне серьезно и даже с душевной какой-то интонацией и тем сразу подкупил зал. — Почему такой шум? Неужели мы — рабочий народ — настолько отвыкли от критики? А выборы кандидатов в депутаты именно так и надо проводить — чтоб и хорошее слово о них сказать, но и не забыть хорошенько, по-рабочему пропесочить за недостатки, как это и сделала сейчас крановщица товарищ Картинкина, и за этот урок настоящего рабочего отношения к делу мы должны ее поблагодарить… — Он первый стал хлопать, и зал дружно его поддержал. И когда затихло, Глинкин сказал: — Мы строго проверим те факты, о которых сказала товарищ Картинкина. Никому не позволено обманывать государство. Если подтвердится, получит свое и товарищ Лукьянчик. Но сейчас речь у нас о другом, и о таком, когда лучше вспоминается не какой-нибудь досадный случай, а как товарищ Лукьянчик работал бригадиром крановщиков, как он их учил настоящей умелой работе. В общем, давайте-ка голосовать — поддерживаем мы кандидатуру товарища Лукьянчика или мы эту кандидатуру отвергаем? В общем, кто за? — Глинкин высоко взмахнул руку, и, точно по команде, все подняли руки.

Лукьянчик должен признать, что тогда ему помог и даже спас его Глинкин, и он об этом всегда помнил... А что касается приписок, то они делались и после этого, только делалось это похитрее и так, чтобы даже не всякая ревизия это заметила. Но вот передавать в печать непродуманные и преждевременные заявления о готовых объектах Лукьянчик зарекся на всю жизнь.

Путь его в гору продолжался, и вскоре с ним случилось то, о чем он втайне думал, но не ожидал, что случится это так внезапно... Депутатом райсовета он был уже третий раз и все время числился в боевом депутатском активе. Председатель райисполкома его хорошо знал. Однажды на сессии райисполкома он сообщил, что ложится в больницу на операцию, и мрачно пошутил, мол, если его там зарежут, он за работу исполкома не тревожится, так как незаменимых не бывает, а у нас к тому же есть товарищ Лукьянчик. На это в зале кто-то бестактно захлопал...

Из больницы председатель не вернулся — ему делали очень сложную операцию, связанную с фронтовыми ранениями, и сердце не выдержало...

Его воля была выполнена, и на очередной сессии райисполкома Михаил Борисович Лукьянчик был единогласно избран председателем.

— Я знаю Лукьянчика уже не один год, — говорил зампредисполкома Глинкин, — и успел узнать его и как работника, и как человека. Совсем без недостатков только ангелы, но они, как правило, в райисполкомах не работают. Были недостатки в прежней работе товарища Лукьянчика? Были, товарищи, конечно, были. Я очень хорошо помню одно собрание в его управлении, когда его, что называется, под орех разделала крановщица Картинкина. Люди по-разному относятся к резкой, но справедливой критике, и что-то я не слышал, чтобы кто-то говорил, что такую критику любит. Но товарищ Лукьянчик из тех, для кого критика — это часть работы,

причем часть хоть и неприятная, а обязательная, без чего нельзя идти вперед, нельзя точно видеть свою собственную деятельность. Я хочу пожелать товарищу Лукьянчику одного — чтобы он на посту предисполкома придерживался тех же партийных принципов.

Это была очень хитрая речь, она должна была надолго погасить разговоры о прежних неблаговидных делах Лукьянчика.

Надо сказать, его быстро полюбили в райисполкоме и в кругу тех людей, с которыми он теперь имел дело. У всех вызывали симпатию его веселый нрав, независимость, с какой он держался перед начальством, его энергичная, деятельная натура. А главное — именно в его Первомайском районе особенно широко развернулось жилищное строительство. Жители этого нового района знали, что их предисполкома сам, своими руками начинал строить их дома, работая на кранах, и теперь его как бы озаряла радость массовых новоселий. Лукьянчик первый ввел новый порядок выдачи ордеров и ключей от квартир. Делал это не втихую, по-казенному, а празднично — два раза в неделю собирал в исполкоме новоселов, и депутаты районного Совета вручали им ключи и ордера.

На исходе был четвертый год его председательствования, он уже стал своим человеком не только в городских, но и в областных организациях. Он был доволен своей жизнью, работой, женой и большего не хотел…

Незаметно для себя Лукьянчик отвернулся к стене от бившего в окно солнца и крепко заснул, даже не успев еще раз всерьез подумать о той тревоге, что загнала его в больницу.

Глава вторая

В тот день инженер-экономист Наталья Семеновна Невельская подкреплялась в буфете своего министерства. Напротив нее за столиком сидел мужчина, она видела его крупные руки, в которых он держал такой же, как у нее, граненый стакан кофе и надкусанный кекс. Руки не двигались, она подумала: «Он сейчас рассматривает меня» — и подняла взгляд, вскинула густые, сабельно изогнутые ресницы — мужчина внимательно читал «Крокодил», прислоненный к кефирной бутылке. Губы его вот-вот готовы были сложиться в улыбку. Но мужчина вздохнул и перевел взгляд на свою соседку. Их глаза встретились…

Подобный момент в жизни двух отражали или пытались отразить писатели всех времен. Я же пока ограничусь протокольными словами «их глаза встретились» и расскажу немного о них обоих, так как появились они на страницах романа отнюдь не случайно и не на один этот миг.

Наталье Семеновне скоро тридцать, но она не замужем, хотя ее яркая внешность всегда привлекала внимание и романы у нее бывали. Первый, когда она еще училась в средней школе, — с преподавателем физкультуры. Ей очень нравился этот парень, особенно когда он бывал в синем тренировочном костюме с надписью на груди «СССР». Весь он был какой-то упругий, ходил танцующей походкой и имел разряд по легкой атлетике. В школьном спортзале он повесил на стене свою фотографию, где был снят на пьедестале, на самой высокой его ступеньке, в момент, когда ему вручали свернутую в трубку грамоту. А вверху трепетал на ветру транспарант: «Навстречу республиканской спартакиаде!» Пока учился в институте физкультуры, он потерял спортивную форму и, получив диплом, стал преподавателем физкультуры в школе, где училась Наташа. Она влюбилась.

Маркэнг — так красиво его звали — это заметил, а когда узнал, что эта красивая рыжеволосая десятиклассница — единственная дочь знаменитого строителя Невельского, сам потерял голову. Он не имел своей жилплощади, а там у Невельских, на улице Горького, роскошная квартира.

Однажды Наташа поведала маме о своих встречах с учителем физкультуры и сообщила, что он клянется ей в вечной любви.

— Вы целуетесь? — шепотом спросила мама.

Наташа рассмеялась:

— Мамуля, не смеши меня своей старомодностью. Да будет тебе известно, что Лидка из нашего класса в прошлом месяце делала аборт и теперь перед всеми нами дерет нос.

— Так! — тихо сказала мама, и лицо ее сильно побледнело. — Сейчас я посылаю «молнию» и вызываю в Москву отца. Ему это так кстати. На стройке как раз начинается перекрытие реки. Боже, какую дуру мы вырастили. Учитель физкультуры! Ты с ним…

Наташа расхохоталась и убежала в свою комнату.

Когда, спустя несколько минут, она вышла, мамы нигде не было, но во всех комнатах в самом воздухе висела ощутимая кожей тревога.

Позже выяснилось, что «молнию» отцу мама не послала, но приняла и без того достаточно решительные меры. В течение дня она побывала в школе, в районо и у заместителя министра, где служил муж.

Уже на другой день учитель физкультуры в школе не появился. Уроки физкультуры были отменены, и Наташины подружки, заглядывая ей в глаза, спрашивали со злодейским безразличием:

— Натка, ты не знаешь, что с нашим Маркэнгом?

Наташа догадывалась, но делиться своей догадкой не собиралась.

И вообще мама, скорей всего, права. В самом деле, как бы они с ним жили на его сто десять? И где бы они жили? Мама сказала, что не пустила бы его на порог квартиры. Надо знать маму.

Из первого своего романа Наташа извлекла очень важный урок: нельзя, в самом деле, затевать строительство семьи, если не на чем, не из чего и не на что воздвигать эту стройку. Мама искусно укрепляла это ее убеждение, все время рассказывала, как трудно живут знакомые им пары, и все оттого, что создали семьи, не подумав, на что они будут жить.

Потом был институт. Держала в театральный — не прошла. Особенно не горевала, успела подать документы в планово-экономический, недотянула одного балла, но где-то нажал отец, и ее приняли.

В студенчестве за ней ухаживали многие. Мама говорила: «Возле нашей Натки прямо пчелиный рой, но она как скала. Прежде всего учеба». Это были студенты, а под конец и преподаватель института. Прямо смешно — опять преподаватель, да еще женатый и двое детей. Она отшила его уже без маминой помощи..

После института ее взяли по распределению в Министерство автомобильной промышленности. Очевидно, и тут не обошлось без отцовского нажима. И вот уже пять лет она инженер-экономист. И все эти пять лет она подыскивала мужа. В ее душе уже поселилось беспокойство — все-таки замуж-то надо выходить. Отец подшучивал: «Что-то ты, милая моя, в девках засиделась». Мать бросалась наперерез: «Не болтай глупости! Такие не засиживаются, но и не выскакивают за кого попало!»

Года три назад на нее обратил внимание весьма солидный мужчина. Каждый день перед работой он играл в теннис на корте на Петровке, приезжал туда на собственной «Волге». Наташа тоже играла там в

утренние часы. Там они и познакомились. Однажды оказались вместе в паре и выиграли. В этот день они выяснили «кто — кто», и он подвез ее в министерство.

О себе он сообщил Наташе скупо и туманно — директор мебельного производства… но не просто одной фабрики, а, что ли, целого куста фабрик. Константин Борисович Алмазов.

Утренние встречи на теннисе продолжались. Там, на корте, о них уже говорили: «Эта пара — рыжая с седым — играет слаженно». Потом они стали встречаться и не на корте — гуляли, ходили в театр, кино. Постепенно Наташа полностью выяснила житейскую анкету своего поклонника: кроме собственной еще и персональная «Волга», оклад также персональный, квартира на Котельнической набережной в высотном доме, дача где-то на Минском шоссе. Но имеются еще шестнадцатилетний сын и жена, естественно.

Было воскресенье, они обедали наверху в ресторане «Националь», и он сказал, глядя на нее ласковыми серыми глазами:

— А почему бы нам не сходить в загс?

Наташа натянуто рассмеялась:

— Вопрос прикажете расценивать как предложение?

— Естественно. — Он взял ее за руку. — Я все продумал.

— А семья?

— Не проблема.

— Как же это не проблема?

— Очень просто. Жена у меня вполне самостоятельный человек — художник по костюмам, хорошо зарабатывает, сын поступил в институт. Я получу для них квартиру. Сыну буду помогать, он у меня парень умный, современный, а увидев тебя, он все поймет и простит. Дай бог каждому такую мачеху…

Она спросила деловито:

— А как посмотрят на твоей службе? Ты же, кажется, член парткома?

— Развод и женитьба по любви не преследуются, — усмехнулся он, но, пожалуй, в его усмешке было сомнение.

Они обсудили все, что нужно делать. Получалось все так, как мечтала Наташина мать, но почему-то сама Наташа волнения особенного не испытывала.

Глядя в окно, как какие-то иностранцы грузили в машину пестрые от наклеек чемоданы, она вдруг спросила:

— Мог бы ты… бросить все… и сейчас уехать со мной на машине… ну, в Крым, например?

— Мог бы я так сделать? — переспросил он и ответил: — Только позвонил бы заму, что завтра не буду на работе.

— А он бы спросил: почему? Что бы ты ответил?

— Причина — любовь, — произнес он и рассмеялся, мол, все это чушь…

Вскоре, в день рождения Наташи, он подарил ей кольцо с бриллиантом. Наташа толк в этом знала. Подарок был дорогой. В тот же день он был позван к ней домой и представлен матери. Отец, как всегда, был на своей очередной стройке.

Маме он понравился. Когда он ушел, Наташа с мамой уселись на диване рядком, обнявшись, и тихо разговаривали, поглядывая на мерцающий экран телевизора, где в это время веселились вечные персонажи кабачка «13 стульев».

— Он старше меня на пятнадцать, даже больше, на семнадцать лет, — сказала Наташа, может, о самом главном, что тревожило ее.

— Во-первых, он выглядит гораздо моложе своих лет, — ответила мама, — во-вторых, возраст — это опытность, мудрость, и он всегда будет помнить, что ты подарила ему свою молодость, он-то понимает, какой

неоплатный аванс получает. Он же смотрит на тебя как на икону. И если ты сразу поставишь себя как надо, он не пожалеет для тебя ничего.

Загс, однако, откладывался с месяца на месяц. Не получилось с квартирой для его сына, мешало и что-то связанное со службой, в подробности он не вдавался. Говорил только: «Ты представить себе не можешь, как все сложно…» И все же они часто встречались, он бывал озабочен, даже похудел, бедняжка, Наташа его жалела.

И вдруг…

В подобных ситуациях это всегда случается вдруг… Медленно протекал спокойный семейный вечер. Наташа в полудреме смотрела по телевизору песенный конкурс, и ей казалось, что один и тот же красивый, упитанный парень все время поет одну и ту же песню. Мама отправилась за «Вечеркой» — это всегда было ее привилегией, — она хотела раньше всех знать, кто из знакомых умер. Вернувшись с газетой, она села к столу, посмотрела последнюю страницу и, облегченно вздохнув — в этот день не было ни одного траурного объявления — на второй странице внизу прочитала, заголовок:

«Алмазов любил красивую жизнь».

Это был фельетон, написанный остро, зло и очень точно — с первых строк прямо как живой предстал перед ней Константин Борисович Алмазов — Наташин жених.

— Наташка, он мерзавец… — потерянно сказала она.

— Кто? — с трудом пробудилась Наташа от вечной песни.

Мать подала ей через стол газету.

«Алмазов любил красивую жизнь…»

В фельетоне были описаны любовные похождения Алмазова. Наташа, стиснув зубы, вся напрягшись, пронеслась по строчкам — вдруг и она есть в его

списке? Но нет, ее не было, газета, как всегда, знала не все…

— Герой не столько моего, как твоего романа, — сказала она, со злостью швырнув газету.

— Что ты только говоришь? — взмолилась Ольга Ивановна. — Это ты должна подумать, почему каждый раз вляпываешься с женихами…

Удар был больной — Наташа выбежала из столовой, вслед ей с телевизионного экрана очередной певец, воткнув в рот микрофон, громко кричал:

Ты полюби меня однажды
И потом всю жизнь меня люби…

Спустя неделю Наташу пригласили повесткой в прокуратуру. Она пошла туда. По совету многоопытной матери захватила с собой кольцо.

— В конце концов, кроме этого колечка, тебя ничто с ним не связывало, — говорила мать, провожая ее. — Отдай им колечко, и делу конец…

— Никакого романа у нас не было… — со спокойным видом говорила Наташа следователю, отворачиваясь в сторону, будто от солнца, бившего в окно. — Пожалуй, он был ко мне неравнодушен, даже сделал мне в день рождения дорогой подарок. — Она вынула из сумочки кольцо и положила его на стол. — Солнце вспыхнуло и погасло в бриллианте. — Мне не нужен его подарок…

— Вас не смутила стоимость подарка? — спросил следователь, разглядывая кольцо.

— Я цены его не знала. Только когда показала вашу повестку маме, она сразу сказала, что вызывают из-за колечка, и объяснила, что оно дорогое.

Следователь посмотрел на нее с непонятной грустью, вздохнул и, оформив, как положено, сдачу

кольца, отпустил ее.

— Надеюсь, меня больше таскать не будут? — спросила Наташа.

— Если понадобится, вызовем, — ответил следователь.

Больше не вызывали. Спустя месяц она уже не чувствовала ни горя, ни жалости. Одна злая пустота. Сказала маме: «Ты говорила возраст — это опытность и мудрость. Запомни — ты толкнула меня в этот позор…» Единственным, чего она лишилась в результате этой истории, были игры в теннис по утрам на Петровке — она стыдилась показаться там.

Прошло после этого почти два года, и вот в буфете министерства Наташа Невельская случайно встретилась и познакомилась с Евгением Максимовичем Горяевым, который вскоре стал ее мужем.

Глава третья

Сергей Акимович Гурин очнулся утром. Увидел над собой белый потолок и висевший высоко стеклянный шарик абажура, скользнул взглядом вниз по стене: электрический выключатель над белой тумбочкой, какая-то рогоза с подвешенными на ней стеклянными колбами и резиновыми трубками, а дальше — дверь с забеленными стеклами — больница!

Да, да, конечно, больница. Гурин подумал об этом спокойно. Что ж тут удивительного? Последнее время сердце качало все хуже. Сколько он заглотал нитроглицерина — откроешь левый ящик служебного стола, а там гремят пустые стекляшки от лекарства. Врачи давно говорили — надо лечь в больницу, серьезно подлечить сердце. И в горкоме это говорили. Конечно, надо было, но что теперь об этом вспоминать? Вот она,

больница, он здесь и вроде жив. Гурин захотел повернуться на бок, и все исчезло…

Прошло еще несколько томительных длинных больничных дней, когда счет времени шел по градусникам, по завтракам и ужинам да по обходам врачей. Сколько он здесь? Пожалуй, больше недели — Гурин точно определить не мог. Он уже знал, что у него двусторонний инфаркт, что положение у него было тяжелое, осложненное тем, что его нашли лежащим на полу с запозданием на целый час. Пришлось прибегнуть к сложной аппаратуре реанимации, и он лежал в этой специальной больничной палате…

— Мы, батенька, вас воскресили, а теперь обязаны поставить на ноги и вернуть в строй, — сказал ему профессор Струмилин. — Но помогайте и вы. Пока не разрешим — никаких движений, лежать по стойке «смирно», не волновать себя никакими посторонними мыслями.

Но однажды профессор сказал:

— Опасный рубеж, батенька, пройден, завтра вас перевезут в обычную палату.

С вечера накануне волновался, плохо спал ночью… Когда стали перекладывать с кровати на каталку, застыдился своей беспомощности. Но вот его повезли по длинному коридору, вкатили в маленькую палату и переложили на кровать. Он полежал несколько минут с закрытыми глазами и стал осматривать комнату. Немного справясь с волнением, повернул голову и встретился взглядом с соседом по палате. И оба рассмеялись: они знали друг друга давно.

Гурин издали симпатизировал Лукьянчику, его удачливой судьбе. На сессиях горсовета, когда слово предоставляли Лукьянчику, в зале неизменно возникало оживление. Выступал он смело, с хлестким украинским юморком, вызывая то смех, то аплодисменты. Пожалуй,

лучшего соседа по больничной палате Гурин не мог себе желать, по крайней мере, скучно не будет.

— Ну что, прокурор, инфаркт? — тихо спросил, улыбаясь, Лукьянчик.

— Выходит, что так, — ответил Гурин. — А я и не знал, что вы тоже здесь.

— Откуда же знать-то? Бюллетеней о состоянии здоровья лиц среднего звена в газете не печатают. С нами все проще. Вчера навещал меня мой зам Глинкин. Рассказывает — позвонил Митяев: где Лукьянчик? В больнице. Что он там делает? Лежит вроде с инфарктом. Нашел время... и вешает трубку. Митяев в своем репертуаре. — Лукьянчик тихо и беззлобно рассмеялся. Председатель облисполкома Митяев действительно был человек сухой, исповедующий святую уверенность, что с людей должно только требовать. Но надо сказать, сам работал как вол и со знанием дела, за что ему прощали и его жесткость...

— Давно лежите? — спросил Гурин.

— Вторую неделю завершаю, а конца не видно. А вы?

— Почти месяц. Лежал в палате, где воскрешают.

— А-а! — рассмеялся Лукьянчик. — Я тут у нянечки интересовался, что это за палата. Она сказала — там вашего брата за ноги с того света на этот тянут. У меня главное — не ко времени: самый разгар стройки...

— Болезнь, наверно, всегда не ко времени, — отозвался Гурин.

— Меня-то свалил скандал с моим бывшим стройуправлением. План первого квартала сорван, обнаружены приписки, а мой преемник Вязников оказался провокатором, говорит, что я критикую его за недостатки, которые в свое время сам в управлении насадил, и тому подобное. Я с ним схватился, и тут-то меня и трахнуло... — Лукьянчик тяжело вздохнул и замолчал.

На самом деле все было совсем не так, как сказал он Гурину.

В исполком уже давно поступали жалобы на начальника второго строительного управления Вязникова, что он ведет себя как удельный князь: не терпит критику, хамит подчиненным, поощряет подхалимов, а непокорных вынуждает увольняться. Лукьянчик мог бы решительно призвать самодура к порядку, но дело в том, что, уходя из стройуправления, он сам рекомендовал на свое место этого Вязникова, который при нем был главным инженером.

После каждой жалобы Лукьянчик вызывал его к себе в исполком и с глазу на глаз воспитывал, пугал, советовал образумиться. Вязников слушал, не спорил, не оправдывался и произносил в ответ одно слово «учту»…

И вдруг скандал. В исполком к Лукьянчику является бухгалтер стройуправления Когин, работавший там и при нем.

— Иду в народный контроль с «телегой» на Вязникова, — объявил он.

— Что случилось? — спокойно спросил Лукьянчик, хорошо зная бухгалтера, он был уверен, что тот попусту шум не поднимет.

— Обнаглел ваш Вязников, — продолжал Когин. — Приписки бывали и при вас, бухгалтерия тогда проспала. Но Вязников потерял всякую меру. Я ему сказал, что прикрывать не буду, а он взял и уволил меня… за непригодность. Но я ему пригожусь… в последний раз пригожусь. — Когин показал на папку с «телегой».

— Но вы тоже премии небось получали? — напомнил Лукьянчик. Но не тут-то было…

— А как же?! Если бить посуду, так всю.

— Подождите до завтра, — попросил Лукьянчик. — Он приказ отменит.

— Ну, нет… — Когин поднял папку над головой. — Это будет там еще сегодня.

Когин ушел.

Лукьянчик немедленно разыскал Вязникова и рассказал ему о визите бухгалтера.

— Беги в народный контроль, перехвати его во что бы то ни стало. Отменяй приказ о нем. Если контроль начнет трясти стройуправление, тебе несдобровать, и я тебя не помилую.

— Никуда я не побегу, — заявил Вязников. Он был явно во хмелю. — А если меня возьмут за шкирку, я скажу, что всем этим хитростям я учился у всеми уважаемого товарища Лукьянчика.

Лукьянчик пошел советоваться к своему заму Глинкину, и там-то и было решено лечь Лукьянчику в больницу, а погасить опасную ситуацию взялся Глинкин…

Расстались Гурин с Лукьянчиком вполне дружески, даже обнялись и расцеловались.

— Давайте и вы поскорее отсюда, отъелись тут, как на курорте. — Лукьянчик легко подхватил сумку и ушел быстрым, энергичным шагом.

Гурину пришлось пробыть в больнице еще больше месяца. Однажды не выдержал, изменил своей сдержанности и раздраженно сказал профессору Струмилину, что его держат в больнице в порядке перестраховки.

— Почему вы это решили? — сухо спросил профессор.

— Лукьянчик ушел почти месяц назад, а болезнь у нас с ним одна и та же.

Профессор усмехнулся:

— По-вашему, советской власти мы не боимся, а перед прокурором дрожим? Несерьезно, товарищ Гурин. И я бы искренне желал, чтобы у вас было то же, что у

товарища Лукьянчика. Но, увы, у вас двусторонний тяжелый инфаркт, а у него… — профессор замялся и добавил: — В общем, я бы желал вам его вариант. Кстати, после больницы вам крайне необходимо по крайней мере две недели провести в санатории. Я горком об этом предупредил. Потом я вас посмотрю, проверим ваше сердце, и только тогда я смогу сказать, сможете ли вы продолжать свою работу, насыщенную отрицательными эмоциями. Извините, но вы меня на этот неприятный разговор вызвали сами.

В эту ночь Гурин почти не спал, в голову ему лез Лукьянчик… Почему профессор о его болезни сказал пренебрежительно?

В одиночку стал думать о самом страшном: неужели его могут спихнуть на пенсию? Он был из тех работников, которые проживают жизнь в работе, а когда приходит грустная пора остановиться, присесть или, не дай бог, прилечь, они об этом не умеют даже думать и отмахиваются от неизбежного, словно не зная, что от старости отбиться нельзя. Гурин просто старался об этом не думать, но сейчас уже нельзя не думать, это стоит за дверью больницы, профессор Струмилин сказал достаточно ясно. И вдруг — проблеск надежды: а может, горком партии сейчас не согласится на его уход и попросит его остаться хотя бы до лучшей ситуации с заменой? Гурину представился даже его разговор с Лосевым… Как он приходит к нему и говорит: так и так, отправляет меня медицина на пенсию. А Лосев в ответ: ну это вы, Гурин, бросьте. Удивительно, что Гурин при этом не осознает призрачности этой надежды — да разве может горком, да еще Лосев, заставить или даже просить работать больного? А вдруг профессор Струмилин ошибается? Можно ведь пойти к другим врачам. И снова Гурин будто забывает, что профессор в здешних местах непререкаемый специалист по сердечным болезням, его частенько

вызывают консультировать даже в столицу республики...

Нет, лучше не думать об этом. Гурин силой заставляет себя уйти в мир воспоминаний... Как он вернулся с войны к себе домой в Москву, на Третий Смоленский переулок, — бравый лейтенант двадцати трех лет от роду. Позади — война, он прошел ее с десятого дня от начала и до последнего дня в Берлине, прошел с пехотой, пять ранений, все — тьфу! тьфу! — легкие и два боевых ордена на груди. А там далеко-далеко, еще раньше войны, — десятилетка и полузабытые мечты о будущем. Стыдно вспомнить — мечтал стать певцом, учитель музыки все твердил, будто у него прорезается дивный голос. Где он, тот голос? Погас, осип в Синявинских болотах. И вообще чушь — певец...

А осенью он уже был студентом юридического института. Почему именно юридического? Получилось вроде бы случайно — пошел в милицию получать паспорт, а там захотел с ним разговаривать начальник — седой дядька с погонами подполковника милиции. Спрашивает: куда пойдешь? А он еще и не знал, куда пойдет. Иди к нам, говорит подполковник. Очень, говорит, хорошая работа — выпалывать из жизни всякую дрянь, от которой людям невмоготу жить. И стал рассказывать, что это за работа.

Пошел он домой на свой Третий Смоленский, в свой старый московский дом с длинным коридором, где дощатый пол покосился еще до войны. Тут у него комнатуха, в которой он до войны жил у тетки. Недавно она померла, но комнату ему как фронтовику оставили, хорошо еще — никого не успели вселить... Подходит он к своей двери и видит — приоткрыта. Неужели с непривычки не запер? Да нет, вот оно — замок вырван с мясом. Быстро вошел в комнату и сразу — в угол за дверью, там — два чемодана с барахлом, которое из

Берлина привез. Нет чемоданов, а в них подарки на Рязанщину — матери, сестренкам. Бросился назад в милицию…

Вскоре вернулся домой вместе с уполномоченным розыска лейтенантом милиции Володей Скориковым. Тот взглянул на пустой угол за дверью и спросил: «Вещи были хорошие?» Гурин ответил: «Для меня самые лучшие в мире. Подарки близким. Трофеи». Скориков сказал: «Пятая кража за эту неделю». Гурин спросил: «Есть надежда, что найдете?» Скориков вдруг вспылил: «Какая еще тебе надежда? Кто я тебе — волшебник? Я такой же, как ты, армейский лейтенант, только на год раньше тебя с войны списан с простреленным легким. Надежда… Надежда… Будем искать!»

Они искали вместе. И вместе стали жить в гуринской комнате, потому что у лейтенанта Скорикова жилья не было и он ночевал в отделении. Вместе они поступили в юридический институт, вместе ночами на Московском почтамте подрабатывали к стипендиям. Окончили институт и оба пошли работать в прокуратуру, оба там до сих пор и работают. А обоим им все помнится пустой угол за дверью в гуринской комнате на Третьем Смоленском, и не проходит унизительная досада, что воров так и не поймали… Но сколько с тех пор было тихой, спрятанной в душе радости, переживаемой в минуту подписания обвинительного заключения — начала торжества закона над преступностью! Ведь мало кто понимает, какая это счастливая работа — чистить жизнь от всяческой мрази! Так, уйдя в воспоминания, в приятное раздумье о счастливой своей профессии, Гурин и заснул, забыв о том страшном, что стояло за дверью больницы…

Утром его снова осматривал, выслушивал, выспрашивал профессор Струмилин. Гурин отвечал на его вопросы, не в силах подавить раздражение.

— Что это вы злитесь? Это вам вредно, — улыбнулся Струмилин, вглядываясь в его глаза. — А еще хотите вернуться к работе... — Струмилин вздохнул и, глядя в сторону, продолжал: — У меня, уважаемый, было два инфаркта, и первый такой, как у вас, — обширный. И видите — работаю. А если бы не работал, давно бы слег окончательно. Вот так, дорогой мой Сергей Акимович. Слушайте меня внимательно. Завтра мы вас отсюда выпихнем. Сразу же поедете в санаторий, а потом попробуйте вернуться к работе. Только хочу вас предупредить. Вы из той породы, что без работы дохнут. Но раз уж хотите работать, делайте это с разумом, все время помня, что у вас сердце было прострелено инфарктом. Не волноваться вы не можете, но волноваться меньше, сдерживать эмоции надо научиться. И никаких физических перегрузок! Последнее — каждый месяц свидание со мной. Режим я вам напишу особо. Все. — Профессор встал со стула, посмотрел на Гурина с хитроватой улыбкой: — Вопросы есть? Ну и прекрасно, а то меня ждет больной.

Глава четвертая

Ах, как хорошо было Лукьянчику дома после больницы! Жена — красавица его Таня — устроила ему ванну, сама его мыла, мыла и целовала. А потом угощала его ледяным клюквенным морсом. И тут же позвонил тот самый пресловутый Вязников.

— Михаил Борисович, извини меня, дурного, — просил он глухим виноватым голосом. — Наговорил я тебе тогда три короба, и все дурь сплошная. Забудь, Михаил Борисович, и знай — более верного человека у тебя нет и не будет. Прости. А если что понадобится по пароходству, только мигни — все сделаю.

— Ладно… проехало… — помолчав, сказал Лукьянчик и повесил трубку. На душе у него было легко и певуче. И вообще, в больнице можно было отлеживаться не так долго…

Лукьянчик задумался: почему это, в самом деле, Глинкин так долго держал его в больнице?

Позвонил ему на работу, и тот, не здороваясь, спросил:

— Вы дома?

— А где же еще?

— Я буду у вас вечером. — И положил трубку. Что это с ним? Будто он чего-то боялся и сейчас…

Ладно, вечером все выяснится. Лукьянчик сообщил жене, что вечером будет Глинкин.

— Мог бы хоть день без этого… желтушного, — рассердилась она.

— Ничего, Танюша, мне надо с делами разобраться, завтра уже пятница, а потом наши с тобой целых два дня… — Он обнял ее, прижал к себе: — Чего ты его так не любишь?

— Глаза у него двойные… — Она освободилась от него и ушла на кухню.

Лукьянчика немного тревожило — почему его жена так не любит Глинкина? Ему хотелось, чтобы гармония была и здесь. «Желтушный» — это, наверно, оттого, что лицо у Глинкина действительно желтоватое. А вот «двойные глаза» — это, пожалуй, зря. Они у него обладают свойством темнеть, когда он злится, это — есть, а так глаза вполне нормальные. Все-таки Лукьянчик тревожился и решил поговорить об этом с женой ночью.

Глинкин достался ему вместе с исполкомом, и поначалу он ему тоже не понравился, тем более когда узнал, что и прежний председатель с этим замом не очень ладил и однажды даже пытался избавиться от него, но вмешались влиятельные друзья Глинкина.

В Южном Глинкин не так давно, кое-кто помнит, что прибыл он сюда с какой-то высокой рекомендацией, и многим непонятно было, почему он пошел на хлопотную, и в общем, малоприметную должность зампредисполкома? Сам Лукьянчик думал об этом иначе, он очень ценил и любил власть, даже самую малую, но именно власть, а не ее бледную тень, как, например, было, когда он возглавлял строительное управление и у него не хватало власти даже уволить прогульщика. А райисполком — извините-подвиньтесь — это уже власть настоящая. И у его зама Глинкина — тоже власть, разве только чуть поменьше, чем у него. Одно распределение жилья чего стоит, какая это сладкая власть над людьми, только дураки того не понимают, — хотя дело это тяжкое, нервное, а иногда даже опасное...

Когда Лукьянчик занял этот пост, большое жилищное строительство в разрушенном войной городе только-только начиналось, многие люди жили в очень тяжелых условиях, и каждая выданная исполкомом квартира или даже комната вызывала раздоры, склоки и бесконечные кляузные письма. И вот тут-то Лукьянчик увидел работу Глинкина — быструю, уверенную, безошибочную, любую кляузу он гасил мгновенно.

Но это уже далекий вчерашний день. Глинкин теперь самый близкий ему человек во всем городе, они прекрасно делят власть и все, что она дает, а оба они убеждены, что власть должна давать. Без этого какая же она власть?

Глинкин пришел, когда начало темнеть. Как всегда — цветочки и комплименты Танюрочке. Лукьянчику стало смешно оттого, как неискусно фальшивила его жена, благодаря Глинкина за комплименты и цветы. Не знал Лукьянчик, каких сил стоило его Танечке отбиться от притязаний его зама, который, когда он лег в

больницу, чуть не каждый день являлся к ней с цветами и вином; дело дошло до того, что однажды она бросилась к телефону, вызвать милицию… Только после этого он свои пылкие визиты к ней прекратил.

Но вот Таня ушла к себе, и Глинкин повернулся к хозяину дома.

— Ну, Михаил Борисович, вы здоровы? — весело спросил он, протянув руку, и Лукьянчику не понравилось, что он над ним издевается. Не дождавшись ответа, Глинкин поинтересовался: — Звонил тебе Вязников, в душу его…?

— Звонил, звонил, — не скрыл раздражения Лукьянчик. — Что-то показалось мне, что ты передержал меня в больнице.

— Тут лучше было пересолить, — серьезно сказал Глинкин, но, увидев на лице хозяина дома удивление, добавил мягко — Давай-ка лучше обмозгуем повестку ближайшего заседания исполкома.

Повестка получилась длиннющей — семнадцать вопросов; правда, половина их были, по терминологии Глинкина, скорострельными.

— Выдержим! — сказал Лукьянчик, он изголодался по работе, ему хотелось поскорее ринуться в карусель привычных дел.

Скромно выпив, вкусно и сытно закусив, они перешли в кабинет, выгороженный в одной из комнат. Сели рядком на диван и около часа говорили тихо, еле слышно, и стороннему человеку не понять, о чем шла у них речь…

— Пока вы болели, я притормозил… — сказал Глинкин.

— Дом на Ключевой приняли? — поинтересовался Лукьянчик.

— Его лучше обойти стороной.

— Почему?

— В этот дом переезжают начальник нашей госбезопасности, председатель городского народного контроля, редактор газеты… Представляете? Бабы у подъезда сойдутся, и пошла информация. Зато нас порадует дом на Кузнечной.

— Каждый кузнец своего счастья… — тихо рассмеялся Лукьянчик.

— Именно. Но что-то воздух мне не нравится… — вздохнул Глинкин, однако, что он имел в виду, не пояснил…

Поднимаясь с дивана, Глинкин положил на столик конверт и, увидев на лице у Лукьянчика вопрос, пояснил:

— Это полагается вам по больничному бюллетеню, — и рассмеялся. — Завтра в исполкоме будете?

— Обязательно.

— Днем к вам будет рваться некто Буровин. Примите его… Ответ — «подумаем». А гусь жирный.

Когда Глинкин ушел, Лукьянчик некоторое время сидел один в кабинете, погасив свет и включив тихую радиомузыку. «Все-таки жизнь прекрасна», — подумал он, и, точно подтверждая это, в дверях появилась его Таня в ярком халатике, не совсем запахнутом:

— Ты что, в больнице спать разучился? Идем-ка…

Жизнь действительно прекрасна. Особенно после больницы. Дни покатились быстро, один за другим, — вроде бы и похожие, и такие разные. Очень разные…

Начинался тихий и теплый день, первый такой теплый после почти двухнедельного похолодания. Лукьянчик побрился, принял холодный душ, на завтрак выпил кружку холодного молока с хрустящей домашней булочкой и вышел во двор, где в густой тени акаций стоял его красный «Москвич», купленный еще во время работы на стройке. Квартира Лукьянчика была на

первом этаже, он сам в свое время попросил именно эту квартиру, что произвело тогда хорошее впечатление — от первого этажа все норовили отказаться... В его квартире всего две комнаты. Правда, вряд ли кто знал, что, когда дом еще строился, Лукьянчик позаботился о том, чтобы в его будущей квартире две комнаты образовались фактически из четырех, и пробил дверь во двор. После переезда (заранее предусмотрев и это) он отгородил себе позади дома тупичок, засадил его акациями, которые скрыли и забор, и ворота, и начатую постройку там гаража...

Лукьянчик завел двигатель и прислушался к его ровному рокоту. Жена — это происходило каждое утро — вышла из дома проводить его, и он с приятностью в душе смотрел на свою несколько раздобревшую, но по-прежнему моложавую и желанную жену. Она прошла к воротам и долго манипулировала там с многочисленными запорами.

В общем, Лукьянчик уехал из дома в прекрасном расположении духа. Все было прекрасно в это утро: постовые милиционеры отдавали ему честь, а он одаривал их улыбками.

Оставив машину на исполкомовской стоянке, он вошел в здание. Начфин, который всегда приходил на работу раньше всех, приветствовал его у начала лестницы и добавил шепотом, сделав круглые глаза:

— Вас прокурор дожидается. Пошел к вам на этаж...

«Чего это он приперся спозаранку?» — думал Лукьянчик, поднимаясь по лестнице и стараясь погасить тревогу. Он, кроме всего, не любил своего районного прокурора — этот грузный молчаливый человек с тяжелым взглядом светло-серых глаз всегда держался так, будто он знает что-то такое, чего никто, кроме него, знать не может. Так чего же он пожаловал ни свет ни заря? К чертям тревогу! В конце концов, у прокурора может быть к нему тысяча всяких дел. О этой

мыслью он вошел в свою приемную и увидел широкую спину прокурора, полностью закрывавшую окно, так, по крайней мере, показалось Лукьянчику.

Прокурор медленно обернулся:

— Я к вам, Михаил Борисович... Извините, конечно, явился рановато.

— Прошу, прошу, товарищ Оганов. — Лукьянчик распахнул дверь в свой кабинет. Прокурор прошел вперед, Лукьянчик — за ним и тут же наткнулся на каменную спину Оганова, который остановился в дверях, так как в кабинете было темно. — Фу-ты, чертовщина! — Лукьянчик бросился к ближайшему окну, раздернул тяжелые гардины. — Дурацкая забота секретаря — она летом всегда, уходя из исполкома, закрывает здесь все окна, чтобы утреннее солнце не накаляло кабинет. Проходите... — Он раздвинул еще две шторы и сел за стол.

Прокурор присел к маленькому приставному столику, отчего тот стал еще меньше.

— А я с делом весьма неприятным, — медленно прогудел прокурор, поглаживая тяжелой ладонью полированный столик.

— Что еще случилось? — недовольно спросил Лукьянчик, передвигая лежавшие на столе предметы, будто подчиняя их какому-то раз и навсегда установленному порядку.

— Минувшей ночью мы задержали вашего заместителя Глинкина.

— Как это задержали? — Лукьянчик впился напряженным взглядом в Оганова. — Он же депутат?

— К тому же еще и ваш зам, — подхватил прокурор и добавил: — Согласовано с горисполкомом.

— За что? — еще один нелепый вопрос, и Лукьянчик это сам понял, но с запозданием.

— За получение взятки. Но дело не только в этом.

— Таа-аа-ак… — протяжно произнес Лукьянчик, мысли его в это время метались, как мыши в клетке.

— Я понимаю, вам, конечно, неприятно… — прогудел прокурор, и этой фразой он как бы отрезал все тревоги Лукьянчика — против него они ничего не имеют.

— Столько вместе работали — подумать не мог, — тихо сказал Лукьянчик.

— А у нас на глазах он еще больше, он же был замом и при прежнем председателе.

— Ну и что же он вам сказал? — небрежно спросил Лукьянчик, исподволь уголком глаза следя за прокурором, а тот прикрыл тяжеленные веки и молчал. «Не имеет права рассказывать», — подумал Лукьянчик и в это время услышал:

— А ему говорить еще и времени не было, да и что говорить-то? Сами подумайте… — Светлые глаза прокурора сверкнули, как два лезвия в темных нишах, и он встал: — Ну, я пойду трудиться.

Прокурор кивнул Лукьянчику и тяжело понес свое громоздкое тело к дверям и уже оттуда прогудел:

— Секретарь горкома Лосев тоже информирован… — и наконец ушел.

Тишина.

Лукьянчик вздрогнул от телефонного звонка, как от выстрела, и не сразу снял трубку:

— Лукьянчик слушает.

— Товарищ Лукьянчик, очень сожалею, ибо уважаю вас, но я должен пожаловаться вам на вашего зама… — Слабый, но въедливый мужской голос был очень плохо слышен.

— Говорите громче. Что случилось?

— Я инвалид Великой Отечественной войны Панков, по моему делу, если помните, вам было указание первого секретаря горкома партии товарища Лосева, вы передали тогда мое дело товарищу Глинкину, вашему

заму, и я видел вашу резолюцию: «Обеспечить». Но прошло уже пять месяцев, и ничего не обеспечено…

— Позвоните мне завтра, — прорвался в паузе Лукьянчик и, положив трубку, написал на календаре: «Дело Панкова». Сейчас терять уважающих его людей было неразумно. Но стоп! Надо думать не об этом!

Лукьянчик вышел из-за стола и, открыв дверь в приемную, крикнул:

— Меня нет!

К столу не вернулся, сел на диван в глубине кабинета.

И задумался… задумался…

Глинкин за решеткой! Как же это он промахнулся? Казалось бы, странно, но арест Глинкина не обжигал его душу тревогой. Неприятно, конечно, но не больше. И совсем никакой к нему жалости, — может быть, чуть-чуть сочувствия. Произошедшее не было невероятным, у Глинкина была даже любимая приговорочка: «Наша дорожка все время мимо тюрьмы», и смеялся при этом легко и весело… У них — клятвенная договоренность: если что случится с Глинкиным, другому не предпринимать ничего, по неопытности тут только напортить можно и вдобавок себя завалить… Но зато, если это случится с ним, жди руку помощи от Глинкина. Однажды Лукьянчик спросил: а если обоих? «Все равно — помогу», — твердо ответил Глинкин. И вообще, о возможной беде с ними Глинкин говорил просто, без надрыва, как о чем-то таком, что в жизни может быть с каждый… Если он споткнулся на одной взятке, выкрутится в два счета, надо знать, какие у него связи в республиканской столице… Но у него есть еще что-то — Оганов сказал непонятную фразу «дело не только в этом». В чем же еще? Неужели Глинкин делал что-то один? Нет, этого не может быть. Не такие у них отношения.

И Лукьянчик стал вспоминать давнее-давнее — начало их дружбы…

Поначалу Глинкин ему не понравился, уж больно настырный и неуступчивый, держался с ним так, будто он, Лукьянчик, работает у него замом, дело доходило до того, что Глинкин несколько раз отменял решения председателя. Наиболее острый конфликт произошел между ними в связи с приемом населения. Лукьянчик, придя в исполком, решил сделать прием целиком своим делом — ему хотелось этого прямого проявления власти над людьми. Но тогда большое жилищное строительство только-только начиналось, и Лукьянчику хотелось быть добрым.

— Подождите, через годик мы вам поможем, — утешал он просителей.

Глинкин однажды пришел на прием и, когда очередной проситель вышел из кабинета, сказал:

— Михаил Борисович, вы лезете в петлю. Никому вы через годик не поможете, да и годик ваш вот-вот уже и пройдет. Поймите, вы сами подрываете собственный авторитет, вас больше не выберут…

Лукьянчик задумался. К тому же выяснилось, что это ощущение власти над людьми весьма сомнительно, наоборот — чаще он чувствовал себя виноватым перед людьми…

В общем, не прошло и трех месяцев, как Лукьянчик прием посетителей возвратил Глинкину и потом не раз дивился, как умно и ловко тот это делал. Он все лучше понимал, что в лице Глинкина получил толкового учителя, а Глинкин, в свою очередь, мог убедиться в толковости ученика. Они частенько засиживались в исполкоме допоздна, и тогда в аппарате зло шутили: «Зам осваивает нового шефа». Работники исполкома симпатий к Глинкину не испытывали, более того — боялись его. Этот энергичный желтолицый мужчина, с улыбчивыми глазами, с густой сединой при сорока пяти

годах, умел быть грубым и беспощадным, никакой оплошности в работе не прощал никому.

— Вы забыли, что вы советская власть, а народная власть опаздывать на работу не имеет права. Ищите себе работу, где дисциплина не обязательна…

Или:

— Вы забыли, что вы советская власть, а народная власть хамить народу не имеет права. Идите в торговлю… — Это была его любимая форма поучения.

Когда говорили, что Глинкин в исполкоме создал образцовый аппарат, в этом была своя правда, но дисциплина, основанная на одном страхе, не прочная дисциплина, в этом уже не раз убеждались многие руководители.

Глинкин учил Лукьянчика.

— Хотите знать, Михаил Борисович, в чем главный секрет хорошей работы? — вопрошал он, испытующе глядя ему в глаза. — В своевременном, а еще лучше — в преждевременном чувстве опасности, точнее — в понимании опасности. Вот возьмем, к примеру, сегодняшнюю историю с ремонтом музыкальной школы. С одной стороны, вполне можно было ограничиться только косметическим ремонтом, ничего бы не случилось, и мы сохранили бы рабочую, силу и стройматериалы для другого. Но! — Глинкин поднял палец. — Во-первых, в школе той учится внучка секретаря горкома Лосева — такие детальки мы с вами обязаны знать. Во-вторых, у нас есть традиция — в августе газеты начинают писать о строительстве и ремонте школ, об их готовности к учебному году. И вот этот сегодняшний наш директор-крикун — голову даю на отсечение, — если бы мы не пообещали ему ремонт, завтра накатал бы в «Правду» сочинение под заголовком «Подкрасили вместо ремонта», и покатилась бы на нас с горы такая колымага, что у нас

потом целый год бока болели бы. А вы хотели подкрасить...

— Так вы же вначале сами сказали то же самое! — воскликнул Лукьянчик.

— В разговоре, в споре, дорогой Михаил Борисович, можно сказать все, но когда наступает миг решения — оглянись по сторонам! Закон, — рассмеялся Глинкин. И продолжал: — Знаете, какие бывают ситуации? Гражданину Икс по всем статьям надо давать квартиру. И такая квартира у вас есть. А лучше сразу не дать и с полгодика потянуть. Почему? Только потому, что гражданин Икс фигура пробивная, а в городе, с такими же правами, как у него, есть еще сотни две игреков, которые спокойно сидят себе у моря и ждут погоды. Дал сразу Иксу, все игреки встрепенутся, и тогда тебе капут. А когда Икс за своей квартирой полгодика походит, поплачется в разных кабинетах, побьется рожей об стол, тогда можно и дать. И игреки скажут: нет, мы на такое не способны. Усекаете смысл?

Лукьянчик все усекал, он был сообразительный...

В то серое, дождливое утро Лукьянчику позвонил сам председатель облисполкома Митяев:

— Сегодня же вам надо выехать на кустовое совещание председателей городских районных исполкомов.

Началась великая суета сборов в дорогу. Жена готовила чемодан с одеждой, а в исполкоме аппарат собирал материалы, готовил и различные справки.

От жены он получил указание — каждый день менять рубашки, чтобы знали... кто и что должен был по этому поводу знать, она не успела объяснить — Лукьянчик выбежал из дому. Захватив в исполкоме папку с материалами, он ринулся на вокзал. Его провожал Глинкин. Машина мчалась по городу,

поминутно нарушая правила, но милиционеры даже не успевали отдать ей честь.

На перрон вырвались за три минуты до отхода поезда, бежали вдоль вагонов, и вдруг Глинкин на бегу спросил:

— Сколько представительских денег взяли?

— Каких еще представительских? Взял на билет обратно, на гостиницу, на еду…

— Держите… — Глинкин сунул ему в руки конверт. — Эти деньги я одолжил на лодку, а сегодня выяснилось, что та лодка уже продана. Потом разберемся.

— Ничего не понимаю…

— Там поймете… — И Глинкин подсадил его в тронувшийся вагон.

Там, в большом городе, Лукьянчик действительно все понял…

Кустовое совещание проходило вяло, неинтересно, и его бесполезность ощущали все, даже Лукьянчик, впервые попавший на такой сбор. Просто кому-то надо было поставить «галочку» в плане по разделу «обмен опытом», а подумать, что такое совещание надо особенно требовательно готовить, забыли. Вот и выступали председатели исполкомов не с интересным и полезным опытом в своей работе, а с казенными отчетами о количестве заседаний и рассмотренных на них вопросов.

В конце первого дня совещания, в последнем перерыве на перекур, к Лукьянчику подошли четверо таких же, как он, председателей. Предводительствовал у них узкоплечий, сухощавый мужчина с острым как нож лицом, с веселыми глазами по бокам горбатого носа. Фамилия у него была сразу запоминающаяся: Трубецкой. Так он и представился Лукьянчику, тут же пояснив, что к именитым Трубецким он отношения не

имеет, фамилия получена его дедом за трубный бас, он был дьяконом.

— А вы ведь новенький? Откелева? — шутейно спросил Трубецкой.

— Город Южный, — ответил Лукьянчик.

— Заменили ушедшего в иной мир Савушкина? — поинтересовался другой из четверки и добавил: — Вот, за упокой полагается…

— Короче — мы тут сколачиваем ужин, — пояснил Трубецкой. — Не будете же вы умирать от тоски в своем гостиничном номере, слыша отдаленную музыку из ресторана? Предлагается организовать безмятежное застолье без протокола. А?

— И есть, между прочим, такая традиция, — добавил третий.

— Ну, если есть и традиция, я согласен, — рассмеялся Лукьянчик.

Перед возвращением домой Лукьянчик подсчитал, что двести рублей, которые дал ему на перроне Глинкин, уже истрачены. Подошли к концу и его собственные деньги. В общем — хватило в обрез.

Он вернулся в свой город с самым скверным впечатлением от совещания; впрочем, думал он больше не о нем, а о том, как вернуть Глинкину двести рублей. В день приезда Глинкин зашел к нему в кабинет и, не здороваясь, спросил:

— Хватило?

— Только-только… — ответил Лукьянчик и поспешил добавить: — Долг отдам в самое ближайшее время.

— Не торопитесь, — махнул рукой Глинкин. — Тот, у кого я одолжил, человек денежный — потерпит. А вы тратили те деньги не на себя, на традицию, — рассмеялся он и перевел разговор на исполкомовские дела.

Вернуть деньги из ближайшей получки Лукьянчик не смог — жена покупала дочери к осени пальто. В следующую получку — тоже не получилось. Спросил у Глинкина;

— Как твой приятель, еще потерпит?

— Ему бог велел терпеть, — рассмеялся Глинкин.

Но когда после поездки на совещание прошло уже больше двух месяцев, Глинкин однажды сказал как бы между прочим, что его приятель что-то начал напоминать о тех деньгах. На другой день снова сказал об этом. Лукьянчик уже решился попросить денег у жены, знал, что у нее есть заветная сберкнижечка, с которой она поклялась не брать ни копейки до совершеннолетия Наташки. Но все решилось по-другому. Вечером пришел к нему в кабинет Глинкин, как всегда с толстой папкой всяких исполкомовских дел. И начал разговор с утверждения списка членов жилищно-строительного кооператива «Наука».

Бегло просматривая список, Лукьянчик спросил:

— Все бесспорные?

— Один не бесспорный, — ответил Глинкин и, встав со стула, подошел к Лукьянчику и показал на предпоследнюю фамилию в списке: — Вот этот. Никакого отношения к науке не имеет, но сами деятели науки говоря, что без него они дом не построили бы. И вообще человек, говорят, хороший, полезный, и, между нами говоря, непонятно, почему нельзя ему помочь за собственные деньги решить жилищную проблему?

— Если правление не возражает, почему бы и не помочь?

— На мое решение, я бы помог… кстати, это тот самый человек, у которого я одолжил деньги на лодку. Вот я ему утверждение за ту сумму и продам… — весело рассмеялся Глинкин, а Лукьянчик точно с обрыва бросился в холодную воду — размашисто подписал список и сказал облегченно:

— Пусть живет…

Вот и все. С этого все и началось… Началось и пошло — легко и приятно. Только иногда чуть-чуть страшно…

И вдруг однажды — приглашение в районную прокуратуру. Странное дело — приглашение не испугало, была полная уверенность, что зовут не по их с Глинкиным тайным делам. Все же, уходя, на всякий случай зашел к своему заму, сообщил, куда идет. Глинкин на мгновение задумался и сказал:

— Я знаю, в чем дело, они будут трясти за жилищные кооперативы.

С Лукьянчиком разговаривал молодой следователь Арсентьев — цепкий, ироничный, с неприятными глазами — карими, с крапинками вокруг зрачков. Разговаривать с ним было не легко, да и не разговор то был, а форменный допрос с протоколом. Лукьянчик обозлился — мог бы разговаривать с ним и сам прокурор. И без протокола.

Но надо было отвечать на вопросы следователя. Арсентьев своими немигающими глазами смотрел на Лукьянчика:

— Нас тревожит, что в ЖСК все время пролезают какие-то подозрительные люди, формальных прав на то не имеющие. Нельзя ли это остановить?

— Факт — пролезают. — согласился Лукьянчик, но затем объяснил: — Кооперативное строительство часто ведется без твердо запланированных фондов, и тогда кооперативы вынуждены выклянчивать помощь у каких-то организаций, а те за услугу просят принять в кооператив их человечка, и не просто просят, а официально рекомендуют. А потом оказывается, что человечек-то жулик.

Следователь с ним согласился и высказал мысль, что надо бы упорядочить всю организацию этого вида

строительства и обеспечивать его всем, как другие стройки.

— По идее это так и есть, а в практике не выходит. И мне изменить сие неподвластно, — сказал Лукьянчик. — Проблему фондов надо решать в республиканском масштабе.

Следователь согласился и с этим. Тогда Лукьянчик добавил:

— И с кадрами в кооперативах неладно. Надо взять опытного бухгалтера или инженера, а те ставят условие — принять их в кооператив, а это еще одна лазейка…

— Что обращает на себя внимание… — задумчиво сказал следователь. — Как попадется нам какой-нибудь жулик из торговли, он непременно член ЖСК.

— Денежный народ, что ж тут удивительного, — ответил Лукьянчик, испытывая легкую тревогу.

— Так, может, их берут за взятки, а не по чьей-то просьбе? — быстро и жестко спросил следователь.

— Все может быть, — не сразу произнес Лукьянчик, ему понадобились секунды взять себя в руки.

— Вам знакома такая фамилия. — Гитальников? — спросил следователь.

Еще бы! Это был как раз тот тип, который давал взаймы деньги Глинкину на лодку, а он, Лукьянчик, этими деньгами оплачивал счет в ресторане, спасая честь Южного во время совещания.

— Как вы сказали? Метальников?

— Ги… Гитальников. — подчеркнул первый слог следователь.

— Нет, не знаю. А кто это такой?

— Он с вашей легкой руки, Михаил Борисович, стал членом жилищного кооператива научных работников, а несколько дней назад арестован за спекуляцию.

Лукьянчик все это уже знал от Глинкина, и они договорились, как реагировать.

— Только спекулянтов мне и не хватало, — вздохнул он. — Ну что ж, тут явно оплошал мой заместитель Глинкин, комплектование кооперативов наблюдает он, и на него будет наложено строгое взыскание. Но, с другой стороны, как он мог знать, жулик этот человек или честный, если само правление кооператива этого не знало?

— А вы не допускаете, что тут могло быть не чисто? — спросил следователь.

— Ну, знаете... — Лукьянчик возмутился, и так искренне, что лицо у него пошло красными пятнами. — Вы что же, хотите сказать, что я держу у себя замом нечистого человека? А может быть, мы с ним махлюем вместе? Нет, я такой разговор не понимаю, не принимаю и буду просить прокурора...

— Я сказал чисто предположительно... Извините, — смутился следователь...

От этого посещения прокуратуры все-таки надолго осталось безотчетно тяжкое впечатление.

— Да не придавайте вы значения чепухе, — успокаивал его Глинкин. — Ну, распутают они эту историю с Гитальниковым, объявите мне выговор, а то и поставьте вопрос об освобождении. Я честно говорю — зла иметь на вас не буду, важно, чтобы и тень тени не пала на вас.

Тогда все рассосалось, и дело ограничилось только тем, что на президиуме исполкома он сделал замечание Глинкину за невнимательный контроль над кооперативным жилищным строительством...

Теперь Глинкин в тюрьме, и следователи небось впились в него, как клещи. Но Лукьянчик спокоен — во-первых, то клятвенное с ним условие и, наконец, сам он ни у кого копейки не взял. Брал только Глинкин, а то, что Глинкин делился с ним, это уж их личное дело.

Сколько им получено от Глинкина, теперь уж и не сосчитать, но это его чистый личный долг.

...Три года все шло как по маслу. И сейчас Лукьянчик еще не верит, что для Глинкина все кончено, он всегда говорил — доказательств нет и не может быть! Те, кто давал ему сотни и даже тысячи, во-первых, сами могут оказаться в суде на той же скамейке, давать — тоже преступление. Во-вторых, кому из них, получив хорошую квартиру, захочется омрачать праздник доносами, беготней по повесткам и так далее?

Однако надо было работать.

Лукьянчик раздернул две последних гардины и сел за стол. Рука привычно нащупала упруго пружинную кнопку, приглушенно слышался звонок у секретаря, и тотчас в дверях возникла его верная Лизавета Петровна, Лизочка, а иногда и Лизок. С первого дня она с Лукьянчиком — старая секретарша, когда умер председатель, ушла на пенсию, а Елизавету Петровну он спас — взял из райфинотдела, где она была намечена под сокращение штатов.

— Соедини меня с народным контролем.

— Вас ждет Русланов.

— Ладно, давай его сюда, а потом соединишь с контролем.

Начальник ремстройтреста Русланов был почти ежедневным визитером у Лукьянчика; слывя в районе безудержным оптимистом и весельчаком, он был еще и порядочным хитрецом. Вот и его частые визиты в исполком тоже от хитрости. Интересно, что у него за предлог на этот раз?

Будто вломившись в кабинет, Русланов, еще идя к столу, начал говорить о каком-то подкинутом ему объекте, ремонтом которого должны заниматься железнодорожники, а не он.

— Вы скажите мне, разве у нас своего недостаточно? — энергично говорил он; пожимая руку Лукьянчику и садясь. — Так вот же — взваливают на нас, на нас все валят, кому не лень.

— Что за объект? — спросил Лукьянчик и вдруг подумал, что ему хотелось бы быть сейчас на месте Русланова, заниматься своими, черт бы их побрал, даже не своими объектами и иметь все выговоры, вклеенные в его личное дело.

— Помните мост у кирпичного завода? Так завод на том берегу, а на этом я строю торговый павильон. По мосту проложена заводская железнодорожная ветка для вывозки кирпича. Кому мост нужен? Конечно же железнодорожникам и кирпичникам, а поскольку и те и другие относятся к железнодорожному райисполкому, пусть в том исполкоме и чешутся. А они кладут тот мост на нашу спину. Какого черта?

— Кто кладет? — Лукьянчик с трудом улавливал логику разговора и хотел одного — поскорей его закончить.

— Я же сказал — железнодорожный исполком.

— Чем они это мотивируют?

— Что мой торговый павильон будет больше всех нуждаться в хорошем мосте. И будто секретарь горкома товарищ Лосев их в этом поддерживает.

Лукьянчик резко повернулся к столику с телефонами и замер — сейчас он услышит, как всегда, ровный голос Лосева, который уже, конечно, знает об аресте Глинкина. С чего же сейчас начать — с Глинкина или с этого дурацкого моста? Нет, нет, надо начинать с дела, как будто ничего не случилось — жизнь продолжается, и надо работать.

— Добрый день, товарищ Лосев. Извините, вас беспокоит Лукьянчик. Я к вам с жалобой на железнодорожный район — они перебрасывают на нас ремонт моста у кирпичного завода, когда это целиком

их объект, а у Русланова и без того план трещит. Но они уверяют, будто вы это санкционировали.

— Здравствуйте, во-первых, — прорвался наконец секретарь горкома. — Во-вторых, я ничего похожего не санкционировал, и вообще это не мое дело, разберитесь, товарищ Лукьянчик, в этом сами, — с оттенком раздражения сказал Лосев и без паузы спросил: — Что же это Глинкин ваш? А?

— Что именно, я еще не знаю, но, надеюсь, теперь зря не арестовывают, — мгновенно окостеневшим голосом ответил Лукьянчик и услышал:

— Как ни противно, придется разбираться в этом на горкоме.

Лосев положил трубку.

— Кого посадили? — жадно заинтересовался Русланов.

— Он говорит, что никаких санкций железнодорожникам не давал, и рекомендует разобраться в этом нам самим.

— Ну вот видите, какие они гады... Так кого же посадили?

— Кого-кого? — Лукьянчик отвел глаза в сторону, но решил, что уклоняться от ответа, пожалуй, неумно. — Глинкина, зама моего, посадили!

— Ух ты! — смешно, по-бабьи всплеснул руками Русланов. — А я тут к вам с этой ерундой...

— А по-вашему, я что — должен закрыть исполком?

— Нет, отчего же... — рассеянно отозвался Русланов и вдруг захохотал в голос: — Хо-хо-хо! А я ему как раз позавчера говорю — как бы по вас тюрьма не заплакала.

— За что же это вы его так? — небрежно спросил Лукьянчик, перекладывая лежавшие на столе бумажки и кося глаза на Русланова.

— Да это по поводу его решения надстраивать больницу. Тот корпус там, что зовется новым, строился сразу после войны, на живую нитку, я прораба знаю,

который строил, он говорит: фундамент там никакой, на один этаж, и то с натяжкой. Вот я возьми и скажи Глинкину — не настаивайте, а то надстроим, стена завалится, а по вас тюрьма заплачет. Хо-хо-хо!

— Да, вовремя пошутил… вовремя, — вздохнул Лукьянчик. — А ему сейчас не до смеха.

— Кому это?

— Глинкину — кому же еще?

— Ну, это как по пословице: «Что хотел, то и съел».

— У вас есть ко мне что-нибудь еще? — мягко спросил Лукьянчик.

— Все. Все. Все, — по-индийски сложив ладони, ответил Русланов. — Лады, я пошел… — И он почему-то на цыпочках вышел из кабинета.

Лукьянчик хотел заняться чем-либо, но почувствовал — не может. Тревога все-таки точила ему душу…

Странное у него было ощущение. Что бы там ни говорил Глинкин и как там ни страховаться, а ожидание расплаты всегда было с ним. Правда, иногда оно становилось похоже на то, как человек видит ночью зарницу и думает: эта гроза до нас не дойдет. Кроме того, с течением времени, когда проходили годы и ничего не случалось, чувство опасности притуплялось. В общем, страх был, но он никогда не был таким сильным, чтобы его остановить.

Глава пятая

Прокурор Оганов и пришедший к нему начальник районного ОБХСС Травкин сидели перед распахнутыми окнами и вели вялый, обоим неприятный разговор о деле Глинкина.

Конечно, им было неуютно оттого, что преступником оказался человек, который не один год работал рядом с

ними. Но была у этого дела особо неприятная сторона — они тревожные сигналы о Глинкине имели, а арестовали его теперь по указанию из Москвы, и выяснилось, что еще в пятидесятые годы он, работая в Брянске, привлекался к уголовной ответственности и сюда, в Южный, приехал, отбыв небольшое наказание, но теперь привлекался к ответственности по новым открывшимся обстоятельствам, и, видать, достаточно основательным, если спустя несколько лет предложено его арестовать и этапировать в Брянск.

Сейчас Оганов и Травкин пытались для себя выяснить, почему не сработали сигналы о Глинкине, которые они имели? Все-таки сигналы были глухие: один безымянный телефонный звонок в ОБХСС и два — в прокуратуру, да еще анонимка в ОБХСС, в которой, правда, подробно описывалась пятисотрублевая взятка, причем автор утверждал, будто сообщником Глинкина является Лукьянчик. Телефонные звонки к делу не пришьешь, а анонимку проверили формально и, ничего толком не выяснив, положили под сукно. Травкин как следует проверять анонимку не захотел, и без нее работы было под самую завязку. Сейчас ему сказал об этом Оганов, но в ответ Травкин напомнил Оганову про письмо учителя Ромашкина, о котором тот вроде забыл…

Действительно, месяца три назад в прокуратуру поступила подписанная жалоба учителя Ромашкина. Его пригласили на беседу, и он подтвердил, что давал Глинкину взятку за квартиру, но на другой день, когда Оганов уже собирался с этой жалобой пойти в райком партии, учитель явился снова и жалобу свою забрал, сказав, что он написал ее сгоряча и теперь от нее отказывается…

— Все-таки вы могли поработать с этим учителем, убедить его, — сказал Травкин.

Оганов недовольно поморщился и, взяв со стола анонимку, начал ее перечитывать.

— А вы разве не могли поработать с этой анонимкой? — проворчал он своим густым басом, испытывая, однако, неловкость оттого, что они сейчас так откровенно и несолидно отфутболивают свою вину друг другу.

Но в анонимке действительно было кое-что доступное проверке. Автор сообщал, например, что он своей жилплощади лишился летом прошлого года при чрезвычайных обстоятельствах. Он, правда, не уточнял, при каких, но покопать здесь можно было…

— И еще есть щелочка, — гудел Оганов, продолжая читать анонимку. — За взятку он жилплощадь получил, только они обманули его и дали квартиру похуже. Ведь можно было проверить все ордера за прошлое лето? И найти тот, который был выдан без основания? Наконец, можно было найти документацию выдачи квартиры по чрезвычайным обстоятельствам?

— А если они дали эту квартиру без всяких ссылок на обстоятельства? — начинал злиться Травкин.

Оганов почувствовал это и, шевельнувшись в кресле всем своим грузным телом, повернулся к Травкину:

— Злиться не надо, мы оба на этой истории учимся.

— Анонимку я доложил тогдашнему начальнику райотдела милиции, и он сказал, что если мы пустим дым, а это окажется клеветой, нам не поздоровится.

— Это было еще при Пушкареве?

— Да.

— Так они же с Лукьянчиком были первые друзья по рыбалке.

— По рыбацкой пьянке, — уточнил Травкин.

— Ну, видите? Все это следовало тогда учесть.

— Вы, товарищ Оганов, я вижу, большой мастер заднего ума, — уже совсем разозлился Травкин, а

Оганов вдруг качнулся своим тяжелым телом — засмеялся:

— Ну, ну, давайте теперь мяч мне — про учителя Ромашкина.

Теперь они засмеялись оба, но засмеялись невесело…

Жара проникла и в тюрьму. Камера, в которой сидел Глинкин, располагалась над кухней, и в раскаленном воздухе были густо замешены кухонные запахи. А он гурман: уж на что вкусно готовила жена Лукьянчика и то он, бывало, куражился у них за столом — или ему в жареных грибах хруста мало, или тесто в пироге переслащено. А тут глотай тяжкий дух тюремной похлебки. Глинкин дважды за утро поднимал шум, вызывал надзирателей и требовал устроить в камере сквозняк. Ему объясняли, что здесь не санаторий и не гостиница, и запирали дверь.

Вонючая духота мешала думать. Впрочем, пока и думать-то было не о чем, он же еще не знал толком, за что взят, а главное, какими уликами против него вооружено следствие. Пока не вызовут на первый допрос, лучше не ломать голову попусту. Он стал вспоминать о том, что было раньше… там, в Брянске.

Вот где в свое время было заварено славное дельце. Если б не случайное осложнение, за год они бы на троих имели около миллиона. Но из-за одного дурака дело завалилось на самом разбеге. Про грузин говорят, что у них много денег, но еще больше темперамента, и это очень верно. Такой вот грузин неожиданно влез в их дело со стороны и начал пороть горячку, а потом и шантажировать. Испугаться его — означало бы потерять добрую половину дохода. Тогда решили его убрать. Наняли умелого паренька из уголовников, и тот грузина укоротил. Но одна же беда не приходит. Только обезвредили грузина, прокуратура выходит на всю их

троицу: какая-то ревизия в бухгалтерии Облпотребсоюза наткнулась на подозрительные документы — двоим из них замаячила тюрьма года на четыре, а то и больше. Но в бой ринулся третий: он привез из Москвы опытнейшего в подобных делах адвоката, который за три дня вконец запутал следствие, опроверг большинство улик и добился детского приговора — по году. Под следствием они просидели девять месяцев, так что на том все дело и кончилось. Но тут новая беда — опасно зашевелился уголовный розыск с тем укороченным грузином. И тогда они решили — всем разъехаться в разные стороны. Глинкин воспользовался одним своим старым знакомым, занимавшим высокий пост, и тот, дабы Глинкин не мозолил ему глаза с их знакомством, дал ему звонкую рекомендацию, с которой он и перебрался в город Южный…

С тех пор у Глинкина не меркнет вера в силу дружбы и еще в адвокатов. Сейчас он уверен, что Лукьянчик его не подведет и слова лишнего на него не скажет. А насчет хорошего адвоката он позаботился заблаговременно: местный, приручeнный им, адвокат Сверчевский будет действовать не хуже того московского. Но посмотрим, может, обойдемся и без него…

В комнате следственного изолятора, куда привели Глинкина на допрос, похлебкой не пахло, но жара была тут почувствительнее. Рубашка противно прилипала к спине, пот струйками сбегал по шее за воротник. Голос следователя доносился до него как бы издалека, его заглушал врывавшийся в раскрытое окно пронзительный крик галок…

Следователь прокуратуры Арсентьев читал Глинкину заявление на имя прокурора от учителя Ромашкина, которого Глинкин хорошо помнил — тихий

такой учителишка математики из школы фезеушников, но почему-то вызывавший у него безотчетное беспокойство. Чуяло сердце!

Глинкин сидел с мрачным, низко опущенным лицом и отрешенно слушал. Один только вопрос тревожил его сейчас — что у них против него еще, кроме этой дурацкой взятки у Ромашкина?

Заниматься громким чтением Арсентьеву пришлось неожиданно — доставленный на допрос Глинкин заявил, что он нечаянно раздавил очки и читать сам не может. Вранье — очки он нарочно оставил в камере. Сейчас у него главная задача — протянуть время: все-таки должен вступить в дело Григорий Михайлович Сверчевский, который все и решит, в том числе и то, нужно ли ему врезаться в дело.

Сверчевский появился возле него несколько лет назад, вскоре после того, как он стал заместителем председателя райисполкома. Однажды к нему на прием пришел мужчина необычайно благородного вида: осанистая фигура, одет строго — черная тройка, университетский значок на лацкане, черный галстук с жемчужиной, падающая на плечи грива седых волос, глянцево выбритое лицо, белые холеные руки, на безымянном пальце массивное обручальное кольцо и глаза — крупные, светло-карие, внимательные, спокойные… Пришел он к Глинкину на прием по квартирному делу, которое коротко изложил своим мягким, вкрадчивым голосом. Прямо скажем, просьба у него была нахальная: он разводился со старой женой и сходился с новой, помоложе… «Любви все возрасты покорны», — сказал он с печальной улыбкой. Старой жене — «чтобы молчала», объяснял он с подкупающей прямотой, — нужно оставить старую квартиру, а у новой жены есть дочка-школьница, и поэтому ему нужна трехкомнатная квартира. Первый раз Глинкин тотчас выпроводил его с категорическим отказом, но он знал,

что этот седогривый придет еще раз, чувствовал, что придет. И не ошибся. На этот раз они поняли друг друга...

Григорий Михайлович Сверчевский в городе Южном был популярным адвокатом. Про него говорили: «Ловок как черт, денег у него мешок». Он первый в городе имел собственную автомашину, а на берегу Сыпяти выстроил дачу-замок с башнями по углам и обнес ее высоким начальственным забором темно-зеленого цвета. По его даче объясняли дорогу приезжим: «Дойдете до адвокатской дачи с башнями, поворачивайте направо...» Однако недавно он, по состоянию здоровья, беспокойную адвокатскую деятельность бросил и стал юрисконсультом в местном отделении «Сельхозтехники». А вскоре после знакомства с Глинкиным по совместительству начал работать юристом и в райисполкоме. Но в действительности главным и хлебным его делом оставалась... адвокатура. Только уже не честная, официальная, заканчивающаяся речью в суде, а никому не видимая, подпольная. Последние годы они с Глинкиным работали на пару, выручая попавших в беду денежных людей.

Об этой их деятельности Лукьянчик не знал.

Договорились они и о том, что предпримет каждый из них, если другой попадет в беду. Сейчас Глинкину нужно тянуть время, дать возможность Сверчевскому решить, как повести борьбу за его спасение...

Пока же он слушал, как следователь Арсентьев читал ему заявление того учителишки Ромашкина.

— Ну, Семен Григорьевич, что скажем?

— Оговор, больше и говорить нечего.

— Не надоела вам эта канитель? — вытерев платком вспотевшее лицо, спросил следователь, пододвигая к себе протокол допроса, начатого им часа два назад.

— Для вас, конечно, это канитель, а для меня судьба… — Глинкин помолчал и продолжал: — И что говорить? Вот этот ваш учитель Ромашкин попросил на приеме понравившуюся ему квартиру, и я ему дал ее. Так это только о том и говорит, что в исполкоме внимательно относятся к просьбам трудящихся. Проверьте. А главное — не брал я у него денег, и у вас нет и не может быть свидетелей доказать что-то другое.

— Ну, а если мы вот в этой вашей, найденной у вас при обыске записной книжечке расшифруем все ваши хитрые пометочки с цифрами? Что тогда? Кстати, время, когда вы получили взятку у Ромашкина, совпадает с пометкой в вашей книжечке, и здесь стоит цифра «двести». Как вы это объясните?

— Я скажу, что расшифровано неправильно, а так, как нужно следствию, — он кивнул на свою записную книжку. — Мало ли по какой фантазии и о чем я делал эти условные записи.

— Ладно, о книжечке в свой час. Значит, от дачи показаний отказываетесь? Запишем… Подследственный Глинкин давать показания отказался. Подпишите. Вот здесь. Спаибо.

Арсентьев вызвал конвой. Пришла молодая беловолосая женщина, выводная следственного изолятора, и увела Глинкина. Уже в дверях он обернулся:

— Я понимаю, Дмитрий Сергеевич, как вам досадно и обидно, но пока, — он подчеркнул «пока», — иначе вести себя не могу. Привет.

«Почему сказано это „пока“? Что будет за этим „пока“?» — задумался Арсентьев… Так или иначе долго ждать нельзя, его нужно этапировать в Брянск, где займутся старыми его делами.

Глава шестая

Войдя в дом с налаженной комфортной жизнью, Горяев целыми вечерами просиживал у телевизора. Смотрел главным образом футбольные матчи да разве еще эстрадные концерты, когда перед ним, как на демонстрации мод, сменялись красивые, сосущие микрофон девицы и песни с одним и тем же сюжетом — «Ты пришел, ты ушел»… Служба — дом. Дом — служба. Сегодня как вчера. Завтра как сегодня. Образовался своеобразный ритм жизни, который укачивал его все сильнее, уводя все дальше от давно чуждой ему суетной жизни.

На работе в министерстве он держался подчеркнуто обособленно. Однако это еще не означало независимость. Рядом был начальник отдела, был еще старший инженер, в группе которого Горяев работал и с которым он вынужден был общаться каждый день. Но он скоро понял — общение может быть чисто условным: приказано — сделано, и до свидания.

Так он и работал — ровно, хорошо, получал благодарности и премии и ни о чем более не помышлял. Женитьба внесла в его личную жизнь спокойный ритм и ощущение прочности его положения.

Из этой жизни он однажды шагнет в преступление и сделает это совершенно спокойно, ибо и это он сочтет своим сугубо личным делом.

Только однажды его обдало холодным ветром…

Случилось это почти два года назад. Его тестю Семену Николаевичу Невельскому был объявлен выговор за срыв каких-то плановых сроков на стройке, и он был вызван в Москву для объяснений. В семье ничего об этом не знали. Он явился домой на рассвете, его привел громадный дядька в брезентовой куртке и болотных сапогах. Семен Николаевич был пьяненький,

глупо подмигивал выбежавшим в переднюю жене, дочери и зятю, тихо хихикал, и лицо его кривилось в дурацкой ухмылке.

Евгений Максимович смотрел на тестя и тихо смеялся.

Впервые он увидел его таким живым и симпатичным, способным на мужские проказы и будто забывшим о своих бетономешалках. А Невельской тоже смотрел на него не как всегда, а с тревогой.

— Соболезную тебе, Евгений, — вдруг сказал он трезво и печально. — Ничего подобного ты пережить не можешь — ни выговора получить, ни напиться с досады иль с горя. Ты как лабораторная мышь — в отличие от обыкновенной, попадаешь в беды чисто искусственные и кушаешь по звонку, неприятности тебе как бы прививают… А я каждый день могу схватить горячую беду своими собственными голыми руками, — он тяжело и протяжно вздохнул. — Ну что ж, нравится тебе, живи так, с единственной реальной опасностью, что по дороге на дачу колесо в «Волге» спустит. Но я бы так жить не смог… — он умолк, резко встряхнул головой и тронул виновато руку зятя: — Лишнего я наговорил… Извини.

— Вы сказали правду, — тихо ответил Евгений Максимович. Он хотел уйти, но Семен Николаевич удержал его за руку.

— Если сейчас ты сказал искренне, не все пропало, Женя. Знаешь, что меня тревожит — на работе тебя хвалят. Очень хвалят, но как-то неконкретно. У меня дружок в вашей коллегии… Но я тебе посоветую для начала: будь бдителен к похвалам и к хвалящим. А еще лучше… — он рассмеялся, — давайте-ка вместе с Наташкой ко мне… — Он помолчал. — Знаю, что не поедете, знаю, — и вдруг заключил со злостью и болью: — Вы оба домашние животные!

Через час он улетел на свою стройку. А Горяев вместе с Наташей поехал на службу.

Вел машину молча — все-таки последние слова тестя его задели.

— Ой, папка мой… — рассмеялась воспоминанию Наташа. — За всю нашу жизнь я таким пьяным его не видела.

Евгений Максимович молчал.

— Что с тобой? — почувствовала неладное Наташа. — Не с той ноги встал?

— Сегодня утром я говорил с твоим отцом, знаешь, как он назвал нас с тобой? Домашние животные.

— Аааа, догадываюсь… — Лицо Наташи стало суровым, и она неподвижно смотрела вперед. — Он и мне это говорил, и уже не раз. Он же искренне убежден, что все стоящие люди должны работать на его стройке, если не хотят захлебнуться в мещанстве. Не думала я, что ты такой чувствительный к подобной романтике.

Он уже сворачивал к министерству и не ответил.

Именно в этот же день на работе произошло событие, которое сильно его встряхнуло и помогло забыть злые укоры тестя…

Утром его пригласил к себе заместитель начальника главка Сараев, и был он отменно любезен, даже ласков.

— Дорогой Евгений Максимович, начинаем вашу подвижку вверх, — заговорил он весело и вместе с тем деловито, напористо. — На уровне нашего главка все решено — мы выдвигаем вас на пост начальника оперативно-диспетчерского отдела. Суть дела вы уже прекрасно знаете, а руководить этим отделом должен современно образованный и по возможности еще молодой и энергичный человек.

— Какой же я молодой? — усмехнулся Горяев, испытывая, однако, весьма приятное ощущение — он уже не раз думал, что должен же продвинуться по

службе, и вот н *а*тебе, пожалуйста — сразу большой скачок.

Сараев вышел из-за стола и, остановившись перед Горяевым, сказал, смотря ему в глаза:

— Евгений Максимович, у меня к вам только одна просьба: говорите мне всю правду… какой бы обидной она ни случилась. Обещаете?

— Мне кажется… я вообще лгать не умею, — сказал Горяев, тоже смотря в глаза Сараеву.

— Ну, и прекрасно! — Сараев вернулся за стол. — Анкетная справка на вас уже заполнена, и сейчас я передам ее замминистра Соловьеву. Он, наверное, захочет поговорить с вами, так что не отлучайтесь сегодня надолго.

К замминистра его позвали спустя час.

Пригласив присесть, Соловьев взял из папки бумаги:

— Горяев Евгений Максимович — точно?

— Да.

— Год рождения тридцать пятый?

— Да.

Переспросив его по всем основным анкетным данным, объяснив, что бумага с этими данными пойдет в такое место, где недопустима самая малая неточность, замминистра вернулся к графе «партийность»:

— Как вы понимаете, никто не может винить вас в том, что вы не вступили в партию, но хочу вас спросить, в порядке чистого любопытства: почему все-таки ваши пути с партией однажды не скрестились?

Не в первый раз Евгений Максимович слышал этот вопрос и знал, где и как следует ответить. На сей раз он решил вначале кольнуть замминистра:

— Ну все-таки партия для меня не прохожий, с которым можно встретиться или разминуться. Но не в этом дело…. До недавнего времени я вел, может быть, излишне свободный образ жизни холостяка… — Он

помолчал и добавил с улыбкой: — Понимаю ваше недоумение, но это полная и искренняя правда.

Заместителю министра, как видно, его откровенность понравилась, он рассмеялся:

— Прекрасно, если расхождение только по этому вопросу… — Соловьев закурил сигарету и, выпустив дым вверх, проследил за ним и потом перевел внимательный взгляд на Горяева: — Но, между прочим, исправить сие не поздно. Ведь с холостяцкой вольницей, судя по справке, покончено?

— Я уже думал об этом, — тихо ответил Горяев.

— Так что я могу сказать… там, что этот пункт анкеты будет исправлен в самое ближайшее время?

— Но не завтра же? — улыбнулся Горяев.

— Ясно, ясно, — ответно улыбнулся Соловьев и подвинул к нему пачку сигарет. — Не курите?

— Спасибо… Как-то миновала чаша сия.

— А чаши иные? — без теки улыбки спросил Соловьев.

— Не знаю, какие вы имеете в виду… но какие-то не миновали, — тоже вполне серьезно ответил Горяев.

— А такой тяжелой чаши, чтобы мешала работать, в руках не держите?

— Думаю — нет.

— Ваш тесть — знаменитый строитель Невельской?

— Я не люблю напоминаний об этом, — смотря в сторону, обронил Горяев.

— Это еще почему?

— Мне рассказывали про одного крупного военного, который женился на знаменитой балерине, и с того дня о нем говорили — не герой войны, а муж балерины, и в этой ипостаси он стал гораздо больше известен.

— О-хо-хо! Хо-хо! — смеялся заместитель министра. — Так вы, оказывается, тщеславный?

— Здоровое тщеславие, товарищ заместитель министра, не порок…

Горяев видел, что нравится Соловьеву.

— Ну что же, Евгений Максимович, будем считать неприятную процедуру законченной.

— Почему же неприятную? — удивленно улыбнулся Горяев. — Мне она весьма приятна.

— Когда ведешь такой, анкетный, разговор, хочешь того или не хочешь, в основе разговора недоверие. Вот вас, например, горячо рекомендовал Сараев, вы работаете у него в главке, он вас прекрасно знает, а я, говоря с вами, должен исходить из предположения, что Сараев в вас ошибается. В общем, я страшно не люблю такие процедурные разговоры с кандидатами на повышение. Наконец, скажу вам откровенно — довольно часто руководители среднего звена умышленно, чтобы разделить с нами ответственность за назначение, волокут своих кандидатов в наши кабинеты. — Заметив, что Горяев нахмурился, заместитель министра поспешно добавил: — Я Сараева в виду не имею, и я сам хотел на вас посмотреть. Ну ладно, разговор позади, и я думаю, что в понедельник вы можете перейти в свой новый кабинет.

— А куда, кстати, уходит прежний начальник отдела? — поинтересовался Горяев.

— Вы знаете, он уже в летах, все время болеет, до пенсии ему два года, и на это время мы переводим его, с сохранением оклада, в секретариат министра. Он уже не тянул, а руководство министерства считает ваш отдел своими глазами, ушами и руками.

— А ум не нужен? — рассмеялся Горяев.

— Что? А! — Соловьев тоже посмеялся. — Такие глаза, уши и руки, которые действуют без ума, нам не нужны. В общем, продумайте наиболее продуктивную работу отдела, помогайте оперативности всего министерства. Желаю успеха…

Ну что ж, в этот день Горяев мог считать, что избранный им образ жизни не так уж плох и,

оказывается, совсем не мешает идти вверх…

Глава седьмая

Глинкина вела в камеру дежурная выводная — Галина Бутько, и он то и дело оборачивался к ней и повторял одну и ту же фразу: «Ой-ой, мой следователь теряет терпение, а я гуляю с такими красавицами!»

— Давай без самодеятельности, — строго сказала конвойная.

Два дня назад к ней в домик на окраине города, где она жила с матерью, утром пришла пожилая симпатичная женщина с чемоданом. Мать уже ушла на дежурство в больницу, и дверь незнакомке открыла она сама.

— Ты Галя? — спросила женщина с чемоданом.

— Ну, допустим, — насторожилась Галя, — а что? — Все-таки на семинарах в тюрьме ее учили и бдительности.

— Я приехала с Дальнего Востока. Сын мой Сенечка Глинкин сидит у вас в тюрьме. Ничего мне не надо, только скажи, каков он с виду? И все.

— Не помню я никакого Глинкина, — сказала Галя и хотела уже закрыть дверь, но ее остановило чисто бабье любопытство — что тут за дело такое? Она, конечно, помнила Глинкина, ей говорили, будто он в большом начальстве ходил…

— Дай хоть водички глоток, — пересохшим голосом попросила седая женщина.

— Заходите, — буркнула Галя и провела гостью в дом, в столовую-кухню.

Седая женщина, поставив чемодан на пол и откинув платок с головы на плечи, жадно пила воду, а Галя разглядывала ее полностью открывшееся дородное

лицо и чуяла — сейчас ее будут просить, может быть даже умолять…

Женщина поставила кружку на стол и заговорила глубоким грудным голосом:

— Господи, когда я рожала его, когда учила ходить, говорить, когда первый раз в школу отправляла, когда первый раз мужика в нем увидела — разве я думала, что для тюрьмы его растила? Он же начальником в советской власти, и вдруг тюрьма. Все ли тут справедливо? Не по злу ли его за решетку сунули? Вы, дорогая, добрая, красивая, вы только поглядите, какой он был! Уважьте мать — поглядите. — Женщина повалила чемодан на бок и раскрыла его. Сверху лежали оранжевый японский зонтик и ярко-синий шерстяной джемпер — тоже японский, новенькие, еще с ярлыками, это Галя увидела мгновенно и точно. А еще сверху лежал семейный фотоальбом. Женщина взяла его, раскрыла и, не выпуская из рук, торопливо стала перелистывать перед глазами Гали:

— Это когда ему было пять…

— Это когда десять…

— Это когда в комсомол приняли.

Мальчик словно стремительно рос на глазах у Гали… И вот альбом уже закрыт.

— Галочка! Я все отдам, не пожалею, только бы помочь сыну.

— Как же я ему могу помочь? — спросила Галя насмешливо, запомнив, однако, те два слова — «все отдам».

— Можешь… — напористо прошептала женщина и, взяв Галю под руку, отвела ее к дивану, они сели там рядком, плотно…

Глинкину в тюремной камере приходилось туго. Кроме него там находилось, еще четверо, уголовников, которые быстро пронюхали, что Глинкин попал из князя

в грязи, а у них к ворам с чинами, как правило, отношение злое. Главарем в камере был совсем молодой парень по имени Валера, а по кличке «Колобок». Кличку эту ему дали за то, что, по его рассказам, он за свою долгую жизнь только тем и занимался, что убегал от грозивших ему судов. Бежал будто бы из Смоленска, из Харькова, из Одессы и еще откуда-то. Поди проверь. Но парень он был лихой, и заключенные его боялись. Теперь, попавшись и ожидая суда, Колобок все еще верил в какую-то свою удачу, но чем ближе был день суда, тем злее он становился. И он взялся за Глинкина. Показав на него, сгребавшего мусор в ведро, сказал с яростью:

— Воры с чинами, как этот, вот кто законы придумал, кого из нас и на сколько припаивать. Эй, вор с чином, поди-ка сюда!

Глинкин послушно подошел, он по прежнему опыту уже знал, что распоряжения таких, как Колобок, надо выполнять.

— Ну, чего понадобилось?

— Во-первых, раз ты дежурный, работай лучше, вон в углу пылинка лежит, возьми и принеси сюда…

Выполнил Глинкин и это — вернулся, показал, кончик пальца — грязный.

— Ну, видишь, какое безобразие? Тут, братец, работать надо, это тебе не на черных «Волгах» ездить. Давай кончай уборку, надоело глядеть, как ты ползаешь. Углы проверь, их четыре… Давай работай!

Глинкин схватил ведро и веник с совком.

Высыпав мусор в общий мусороприемник, он возвращался с ведром в камеру и на лестнице встретился с Бутько — посторонился, прижался к стене. Она с непонятным удовольствием на лице посмотрела на него и тихо сказала: «Поделитесь с везучим» — и пошла вниз по лестнице.

Глинкин чуть не бегом ворвался в камеру, поставил ведро в угол и прилег на свою койку.

— Эй, вор с чином! Чего разлегся среди бела дня? Санаторий тебе тут?

Глинкин послушно поднялся, спустил ноги на пол и сел. И нисколечко не обиделся на проклятого Колобка, его мысли сейчас были далеко, далеко… Цепочка заработала! Глинкин не знал, кто в этой цепочке, но то, что она начиналась с юриста райисполкома Сверчевского и кончалась этой красоткой разводящей, в этом он уже убедился…

Спасением Глинкина Сверчевский занялся сразу же, как только узнал о его аресте. И это он нашел и Галю в следственном изоляторе, и ту седую женщину, сыгравшую роль матери арестованного Глинкина, построил из них цепочку в тюрьму, к Глинкину, и начал им руководить….

Сейчас, дав ему совет поделиться с «везучим» (так они между собой называли Лукьянчика), Сверчевский знал, что делал, — свой план спасения Глинкина он назвал «цепная реакция»…

Когда следователю Арсентьеву сообщили, что Глинкин просит срочно его допросить, он подумал, что кончилось то самое «пока». Но что он надумал взамен молчания?..

Ожидая в кабинете следственного изолятора, когда приведут Глинкина, Арсентьев смотрел в окно — во дворе наголо остриженные парни в белых поварских куртках (очевидно, дежурные по кухне), сидя кружком, чистили картошку, то и дело там взрывался хохот. Удивительная штука жизнь: люди лишены свободы — казалось, главной приметы истинной человеческой жизни, а вот они хохочут, сидя в тюремном дворе вокруг ведра с картошкой. У них там тоже все время

что-то происходит, одно их огорчает, другое радует, третье смешит. Интересно, чему они могут смеяться?..

За спиной Арсентьева скрипнула дверь, он обернулся и увидел Глинкина. Присев как-то боком к маленькому столику, Глинкин сказал тихо:

— Берите протокол…

— Камни заговорили, — усмехнулся Арсентьев несколько раньше времени. Протокол допроса, однако, пододвинул к себе. — Ну, Семен Григорьевич, — вперед…

— Я признаю взятку у Ромашкина — он вручил мне те двести рублей при встрече…

— У кинотеатра «Октябрь»? — быстро уточнил следователь.

— Это не имеет значения. Главное не это. Главное, что были взятки еще. Но самое главное, что я делился с товарищем Лукьянчиком.

Арсентьев перестал писать и взглянул с интересом.

— Пишите, пишите, пока я не передумал… делился с товарищем Лукьянчиком.

— Повт *о*рите это на очной ставке?

— Всенепременно.

— Какие взятки еще признаете?

— Это потом, потом… На сегодня — все. Я сделал нелегкое для себя признание, достаточно долго мучился и теперь хотел бы вернуться в камеру.

— Но у меня есть вопросы, — возразил Арсентьев.

— Потом, Дмитрий Сергеевич, потом. Сейчас — в камеру.

Оформив протокол допроса, Арсентьев вызвал конвой, и Глинкина увели.

Вот так номер! Лукьянчик! Арсентьев вспомнил анонимку — нет, нет… это ничего не значит!

Секретарю горкома Лосеву всю эту историю докладывал районный прокурор Оганов.

Присутствовавший при этом прокурор города Гурин сидел сбоку и, скосив глаза, наблюдал, как секретарь слушает, и удивлялся, что тот не выказывает ни малейшего удивления. Еще в самом начале доклада Лосев встал и, бросив «продолжайте», прошел к сейфу, вернулся оттуда с папкой, положил ее на стол перед собой, развязал тесемки, откинулся на спинку кресла и прищурил глаза… Когда Оганов умолк, Лосев спросил жестко:

— Ваши предложения?

Оба прокурора промолчали.

— Основания для ареста Лукьянчика есть? — спросил Лосев.

— Необходимо провести следственную работу… — прогудел Оганов.

— Наконец зашевелитесь? — голос Лосева опасно зазвенел. — Я-то вам не указчик, но как коммунист у коммунистов я спросить могу: если бы вы не получили бумагу из Москвы, долго бы еще Глинкин орудовал у всех нас под носом?

— Не мы одни, Николай Трофимович… — начал было Оганов.

— С другими у меня будет особый разговор, и над ними я властен, а вы, товарищи законники, разве можете быть только регистраторами преступлений? Слово такое — «профилактика» — я от вас часто слышу. А где же в данном деле профилактика? Ведь что получается? Если бы преступник со стажем Глинкин не пожалел нас и не сознался, все стояло бы на мертвой точке? Ведь вы чуть ли не хвастались — четыре протокола с отказом Глинкина давать показания! Вот какие мы регистраторы-демократы! Что, не так, что ли?.. Знаете, на кого мы с вами сейчас похожи? На лежачие камни, под которые, как известно, вода не течет. Мы даже не используем тех средств борьбы, которые у нас есть в руках. Месяц назад у меня на

приеме был коммунист, каменщик со стройки. Рассказал, что на их стройке уже многие годы процветает нарушение финансовой дисциплины. Мы, говорит, уже давно у себя об этом говорим, но, бывало, еще Лукьянчик на это сильно сердился и говорил — хотите быть зрячее и умнее начальства, которое все знает?.. Ну вот, я потом спросил у народного контроля — что у них есть по этому стройуправлению? — Лосев хлопнул ладонью по лежавшей перед ним папке: — Вот! Целая папка! Чего тут только нет! Приписки, подчистки в финансовых документах. Фальшивая сдача неготовых объектов. Выплата денег мертвым душам с последующим их присвоением. И еще, и еще... Ведь нужен был только один телефонный звонок, и материал у вас. Но почему это до моей просьбы лежало камнем на дне болота? А? Председатель народного контроля говорит: мы однажды мылись в бане с товарищем Гуриным. Помните это, товарищ Гурин?

— Вроде припоминаю, — смущенно отозвался Гурин.

— Слава богу... Поскольку как раз тогда Лукьянчика снова выдвинули в депутаты, вы, попарившись в бане, решили, что вины за ним вроде не должно быть. Так? Молчите? Неловко, конечно... А мне, вы думаете, ловко? Да одно то, что наш Лукьянчик несколько лет держал своим замом афериста, якобы ничего не замечая и не подозревая. Теперь вы знаете, они орудовали вместе. А поговорили бы со вдовой прежнего предисполкома — она имени Глинкина не может слышать, ее покойный муж говорил о нем — прохвост. А молчал потому, что Глинкин оглушил всех высокими рекомендациями, и еще потому, что после операции собирался спокойно уйти на пенсию... Вот так... Любопытно, а был ли у Лукьянчика инфаркт на самом деле? Свяжитесь-ка с профессором Струмилиным. И вообще — не тяните!..

На следующей неделе Гурин доложил Лосеву о проведенной прокуратурой следственной работе по

Лукьянчику — были все основания оформлять привлечение его к уголовной ответственности.

— Я все думаю про лежачий камень… — пробасил присутствовавший при этом Оганов. — Точно, это уж точно, Николай Трофимович. И самое обидное, что мы ведь тоже ниточки к Лукьянчику имели.

— Что это за ниточки? — сердито спросил Лосев.

— Началось со всяких нечистых дел в жилищных кооперативах. По этим делам мы его даже приглашали к себе. Признал, что в кооперативы пролезают всякие темные личности, но и оправдывал это. Но главным виноватым выставлял, между прочим, Глинкина.

— Тут бы вам и спросить у него заодно про прежние делишки в стройтресте… — сказал Лосев, глядя на городского прокурора Гурина.

— Делю вину пополам с народным контролем, — угрюмо обронил тот.

— Не это меня волнует, товарищ Гурин, — продолжал досадливо Лосев. — У кого из нас какая мера вины — разберемся. Но требует изучения очень неприятный вопрос — на чем это жулье всякий раз проводит нас за нос и мы потом разводим руками? Надо точно установить, что за валюту они пускают в ход, чтобы купить наше доверие или сделать его слепым? Ведь этот наглец Лукьянчик почувствовал себя настолько неуязвимым, что в день ареста Глинкина позвонил мне как ни в чем не бывало по телефону и стал жаловаться на какие-то мелкие свои деловые обиды.

— Это он вас проверял, узнавал, чем пахнет… — сказал Оганов. — Но наглец он, однако, с волей. Об аресте Глинкина он узнал от меня лично, я ему в глаза при этом смотрел… хоть бы бровь у него дрогнула.

— Каждый раз подобные открытия буквально ставят меня в тупик, — продолжал Лосев. — Он же вырос у всех вас на глазах. Лукьянчик, наш Лукьянчик.

— Чего-то мы о нем не знали, — прогудел прокурор Оганов, глядя в пространство.

— Чего? — вскинулся Лосев. — Я изучил его анкеты, там вся его жизнь как на ладони! Он что-нибудь скрыл?

— Думаю, что нет. — Гурин невесело усмехнулся. — Один мой прокурор как-то выразился про анкету, что она всего лишь тень человека — точно повторяет его силуэт, а глаз человека не видно.

— Что же твой прокурор предлагал?

— Он считал, что никто не должен знакомиться с анкетой без присутствия при этом того, кто ее заполнил. Это, говорил он, как минимум. А вот если говорить о Лукьянчике... — Гурин немного затруднялся и добавил: — Я должен был встревожиться по одному поводу. Но сигнал был, если можно так сказать, теоретического характера... — невесело усмехнулся Гурин. — Мы с ним в одной палате в больнице лежали. Однажды крепко поспорили о политическом и нравственном воспитании. Он мне выдал теорию, что людям сначала надо дать приличный уровень жизни, а потом уже требовать от них нравственного совершенства... вроде ни к селу ни к городу приплел сюда Ленина, нэп. Очень еще ушибла его поездка во Францию. Он там жил у какого-то рыбака, и тот, по его словам, живет очень богато, и сильно тревожился, что ему теперь придется принять рыбака, когда тот приедет с ответным визитом, а уровень-то жизни у него, мол, совсем не тот, какой положен мэру. Я сперва ринулся спорить, но он как-то сразу в кусты — дескать, по образованию не гуманитарий и-де спорить ему со мной не по силам.

— Черт побери, а помните, с какой боевой и интересной речью о поездке во Францию он выступил на активе? Страна богачей и нищих! Вся жизнь — в кредит! Страх перед будущим! — вспомнил Лосев. — Я его похвалил.

— Я на активе не был. Значит, двуличен, имеет в кармане две правды, — сказал Гурин.

— Вот она, их главная валюта! — воскликнул Лосев. — Две правды, два лица! Одно для нас благопристойное, изготовленное по нашей же схеме положительного человека, а другое лицо — жулика, вора, мещанина, вонючего обывателя! Но как они не попадаются с этой игрой масок?

— Мы же видим людей главным образом на собраниях да на совещаниях, — ответил Гурин. — А здесь они сияют нам своим первым ликом.

— Вы правы… вы правы, — задумчиво произнес Лосев и вдруг снова энергично: — А Глинкин? Как выглядим мы тут? Приезжает в наш город с солидной рекомендацией преступник, вывернувшийся от наказания. Мы даем ему хорошую работу. Года не прошло, выдвигаем его в депутаты райсовета, и он становится зампредом райисполкома. Что нами двигало? Его какая-то особо выдающаяся работа или его солидная рекомендация?

— Боюсь — второе… — прогудел Оганов.

— Но тогда где наша хваленая бдительность? — подхватил Лосев.

Оганов не ответил.

— Я выяснил, — продолжал Лосев, — главным рекомендателем Глинкина был известный нам деятель Маковихин. А разве мы не знали, что еще в прошлом году этот Маковихин бесславно устранен со всех своих постов? Вот тут бы нам и вспомнить, кого рекомендовал нам этот Маковихин? И никто не вспомнил. Кстати, как там по вашим правилам — где будут судить Глинкина за здешние его делишки?

— Мы уже послали запрос, — ответил Гурин. — Но думаю, сперва нам придется его этапировать в Брянск, там у него что-то серьезное. Но Лукьянчика и его надо судить вместе и здесь.

— Глядите, чтоб не вывернулись…

— Так или иначе, народная мудрость сработала — сколько веревочке ни виться, конца не миновать, — успокоительно сказал гурин.

Лосев резко обернулся и, пристально глядя на него, отчеканил:

— Эта «веревочка» плохое утешение, и она очень похожа на наше национальное, «авось да небось»… — Лосев перекипел и сказал тихо: — В общем, надо разобраться в этой истории глубоко и тщательно. На пленуме горкома вы дадите анализ дела. — Снова замолчал, прошелся по кабинету, остановился перед Гуриным. — Вам ясно, в чем тут наш самый главный просчет?

— Нет, пока ясно не все.

— На мой взгляд, главный просчет — в нашей плохой связи с массами, а жулье прячется там, в массе чистых! — Лосев задумался, вскинул лицо и решительно рассек воздух ладонью: — Именно это! Вы скажете; я выступаю перед населением, пропагандирую, разъясняю советское законодательство, и я скажу, что я выступаю на пленумах райкомов, на активах, на собраниях и совещаниях. Но позвольте нас с вами спросить — как мы это делаем? Главное — насколько мы приближаемся так к народу? Почему бы нам с вами не проводить в рабочих клубах, в высших учебных заведениях, на стройках вечера вопросов и ответов? Прямых ответов на прямые вопросы! Товарищ Иванов, отвечаю вам на ваш вопрос… Придется к этому хорошо готовиться? Да! Я по себе знаю: если выступаю без хорошей подготовки, значит, говорю неинтересно, общо, фразерствую. А каждая наша с вами встреча с людьми должна быть без формализма, в открытую и взаимодоверительной. Тогда помощь народа мы почувствуем во всю силу — народ видит все.

Гурин кивнул, но не очень решительно. Лосев поднялся из кресла, молча прошелся по кабинету, остановился у своего стола.

— Знаете, что еще? Критики мы избегаем. Да, да! Вот в связи с этим грязным делом я приглашал к себе председателя комитета народного контроля. Знаете, на что он пожаловался? На плохое к нему отношение руководящих товарищей нашего города, к которым он обращался с разными неприятными делами и делишками, вскрытыми его народными контролерами. И к иным руководящим товарищам он по второму разу идти не спешит. Понимаете? Партия создала систему народного контроля, чтобы помочь всем нам чистить от мусора наш дом, а мы стараемся спрятать мусор по углам и в результате глухи к сигналам, идущим из народных глубин. Или мы с этим, товарищи, покончим, или останемся пребывать в сладком самозабвении, теряя веру и авторитет. И еще раз — необходима атмосфера доверия людям. Это они строят жизнь и про ту жизнь знают больше нас. Люди, замечательные наши люди, должны повседневно чувствовать наше к ним доверие, тогда они будут идти к нам со всем, что у них наболело. А мы их частенько рассматриваем только как просителей и жалобщиков и для них раз в неделю, а то и реже, устраиваем приемный час. Неправильно это! Я сам не знаю, как сделать правильно, но я буду об этом думать и сделаю. Атмосфера доверия людям… Да, да, именно! Об этом я буду говорить на пленуме и прошу меня поддержать…

Утром Гурин сам позвонил Лукьянчику:

— Михаил Борисович, просим вас зайти к нам в одиннадцать. Опять по кооперативам кое-что не ясно. Сможете?

— Какой разговор? Конечно, буду.

Распорядившись приготовить все к аресту Лукьянчика, Гурин раскрыл следственное дело…

Было видно, что следователи Арсентьев и Глушков поработали хорошо, особенно если учесть предоставленный им для этого сверхкороткий срок. Преступления Лукьянчика той поры, когда он руководил строительным управлением, были как на ладони. С особым интересом Гурин прочитал включенную в следственное дело старую докладную записку руководителя группы народного контроля. Сам он по основной специальности был крановщиком на стройке, а с какой точностью увидел и разгадал хитро спрятанные преступления! Вчера Гурин беседовал с ним. Тихий, по виду инертный мужичок со смешной фамилией Притирка, он страшно смущался, что его запиской заинтересовался городской прокурор.

— Как вы до всего докопались? — спросил у него Гурин.

— А я особо и не копал. С людьми разговаривал… а потом и сам думал… И опять к людям шел.

Гурин думал, что, каким простым и элементарным ни казалось это объяснение народного контролера, в нем были и главная правда и главный секрет его успеха. Но почему же слепой оказалась прокуратура района, где действовали эти воры? Гурин вынул из стола известную всем его сослуживцам толстую записную книжку в красном ледериновом переплете и, открыв новую страницу, записал: «Анализ работы Первомайской прокуратуры». Подумал и еще дописал: «Провести по-новому встречу с населением». И подумал: жизнь учит нас все время, надо только внимательно вслушиваться в ее голос…

Без десяти минут одиннадцать в кабинет Гурина пришли следователи Первомайской прокуратуры Арсентьев и Глушков. Оба рослые, только Глушков

пошире в плечах и немного сутулится, а Арсентьев, как всегда, спортивно подтянутый, смуглый. Это от его многолетней увлеченности альпинизмом. Гурин хорошо знал обоих — серьезные работники, на юридический пошли после армии, в студенчестве подружились и добились распределения в одно место, хотя Глушков мог остаться в Москве, там у него отец с матерью.

Следователи сели за большой стол, раскрыли свои папки. Гурин подошел к ним, сказал, тронув плечо Арсентьева:

— Естественно, дело поведете вы.

— Вдвоем?

— Будет необходимо, подключим кого-нибудь еще.

Глушков повел своими борцовскими плечами:

— Сергей Акимович, лучше создать следственную группу. Схема дел уже есть, и группой мы закончим его и быстрее, и глубже копнем.

— Ладно, подумаем. Многое решит, как поведет себя Лукьянчик.

— Мужик он хитрый, если и будет раскаиваться, то расчетливо, по маленьким частям, — продолжал Арсентьев.

— Посмотрим, посмотрим. Наряд милиции где?

— В соседнем кабинете. Обыск в служебном кабинете Лукьянчика проведет Глушков, а я — у него дома.

Помолчали.

Большие часы в углу стали размеренно отбивать одиннадцать, и в кабинет вошел Лукьянчик. Вошел энергично, деловито, точно явился сюда на совещание.

— Здравствуйте, Сергей Акимович… — это Гурину, а следователям только кивнул.

— Садитесь туда, — сухо предложил Гурин, показав на стол, за которым сидели следователи.

Заметил ли Лукьянчик, что ему не ответили на приветствие? Скорее всего, нет. Но видно было, что

волнуется. Его обычно румяное лицо было белым. Положив возле себя портфель с какой-то монограммой, нервным движением руки пригладил свои рыжие волосы и, взглянув мельком на всех по очереди, сказал Гурину:

— Я к вашим услугам.

Гурин посмотрел на Арсентьева. Тот неторопливо раскрыл свою папку, вынул из нее два листа бумаги и протянул их через стол Лукьянчику:

— Это санкционированные прокурором постановления о вашем аресте и о производстве обыска.

Лукьянчик взял бумажку и, не смотря на нее, повернулся к Гурину:

— Что?!

— Распишитесь, — сухо и настойчиво попросил Арсентьев.

— А основание? — повысив голос и со злинкой спросил Лукьянчик, теперь обращаясь уже к следователю.

Арсентьев бесстрастно смотрел на него:

— Это указано в постановлении.

— Я могу позвонить секретарю горкома? — привстал Лукьянчик.

— Там о вашем аресте знают, — сказал Гурин.

Лукьянчик быстро, напористо спросил:

— Вам нечего мне сказать?

— Только один совет: не тяните на следствии, чистосердечное признание учитывается судом, — ответил Гурин.

— В чем вы меня обвиняете? — так же напористо спросил Лукьянчик.

— Если коротко и вообще — злоупотребление своим служебным положением в корыстных целях, — Арсентьев отчеканил каждое слово и, остановившись на запятой, спросил: — Так понятно?

— Ничего себе, — покачал головой Лукьянчик. — Куда прикажете следовать?

Лукьянчика увели милиционеры.

— Я поехал к нему в исполком, — встал Глушков.

— Когда решили провести первый допрос? — устало спросил Гурин.

— Завтра утром, — ответил Арсентьев. — Пусть за ночь подумает, что к чему.

Следователи ушли. Гурин позвонил секретарю горкома:

— Мы его арестовали.

— Ну, и как он? — спросил Лосев.

— Ничего. В обморок не упал. И вообще — нахал. Боюсь, что теперь он все свои недюжинные способности обратит против следствия.

— Будьте сами в курсе следствия и звоните мне.

Гурин положил трубку и торопливо полез в карман за нитроглицерином. Сердце обозначилось тупой болью, заныло, заторопилось. Забросил в рот, прижал языком сразу несколько крупинок. Посидел неподвижно, прислушиваясь к сёрдцу. Постепенно боль растаяла…

Прокуроры тоже не из железа…

Глава восьмая

Дверь с железным клекотом закрылась, и Михаил Борисович Лукьянчик стал обитателем одиночной камеры. Он стоял у порога, ожидал, когда глаза привыкнут к сумеречному свету, скупо сползавшему в камеру из высокого узенького окна. Постепенно разглядел: четыре голых стены мышиного цвета, привинченный к передней стенке откидной столик, а к полу — табуретка. Койка застлана серым суконным одеялом. В углу, у двери, — параша, на фанерной ее

крышке плохо соскобленная надпись, сделанная каким-то уголовником-философом: «Туда уходит все».

Лукьянчик подошел к табуретке, присел, попробовал отодвинуться от жавшего ему в бок стола, но тщетно — фу, черт, забыл, что табуретка тоже привинчена к полу. Он наклонился и зачем-то внимательно осмотрел, как она привинчена, — железные косячки от всех четырех ножек были отогнуты в разные стороны. Откинул столик вверх, стало свободнее, и он подумал — вот, мне уже и лучше. Потрогал рукой одеяло — кусачее, грубошерстное, не то что дома — пуховое, Таниными руками сшитое и простеганное. Его обдало жаром — что там было с Таней, когда пришли с обыском?.. Нет, нет, не надо думать об этом... Что говорил следователь сейчас, во время ареста? Но странное дело — не мог припомнить ни то, что сказал следователь, ни то, что говорил сам. С той минуты, когда ему сказали, что он арестован и в чем его обвиняют, его мозг точно оцепенел, слова слетали с языка как бы сами по себе и выражали только жалкое и бессильное сопротивление только самому физическому акту лишения свободы... А здесь, ему казалось, само время остановилось.

Он не знал, сколько так просидел в полной прострации, когда мысли точно обходили его на цыпочках стороной, и он слышал только непонятный шорох по цементному полу, да еще щелкало иногда что-то позади...

Щелкал смотровой глазок. Тюремный надзиратель, по просьбе следователя Арсентьева, уже несколько раз смотрел, как ведет себя новый заключенный, и потом звонил в прокуратуру:

— Как сел, так и сидит в кручинушке...

Принесли обед. Лукьянчик отказался, молча покрутил головой и сделал жест рукой — уберите. Разносчик посмотрел на него сочувственно и сказал:

— Пожалеешь, голубь…

Как в воду глядел разносчик — вечером, когда надо было ложиться спать, ему зверски захотелось есть.

Начало смеркаться, и Лукьянчик перешел в некое, новое, но опять же странное состояние: он уже думал о своих делах, но в третьем лице, так думать ему было легче, будто речь шла о каком-то совсем другом человеке. Вот так он и думал… Что Лукьянчик совершил, конечно, преступление и пойман. Теперь тому Лукьянчику надо бы решить вопрос: каяться или отрицать? Это — классическая альтернатива для преступников всех времен и рангов, когда они схвачены…

Следователь наверняка спросит, что толкнуло его на преступление? А что, в самом деле? Началось, хочется ему думать, с тех денег, которые дал ему Глинкин, когда он ехал на совещание, потом он долго не мог вернуть ему эти деньги, мучился и вдруг вернул одной только своей подписью на списке членов жилищно-строительного кооператива, в котором был человек, по характеристике Глинкина, «вполне достойный», а оказался — жулик. Но ведь Глинкина тоже могли обмануть… Нет, нет, дело не в этом, не в этом… Долг был ликвидирован, и осталось ощущение легкости, с какой могут появиться у тебя деньги. Вот это — главное.

Память осторожно пробирается в недавнее прошлое..

Однажды он и Глинкин были на рыбалке. Сидели рядышком на берегу, поглядывали на струны заброшенных в озеро донок и попивали с растяжкой бутылочку коньячку, захваченную Глинкиным. Закусывали яблоками, сорванными прямо с деревьев колхозного сада.

— Хрен купишь такой коньячок, — хлебнув огненной влаги, говорил Глинкин. — Юбилейный… И не поймешь,

к чьему юбилею выпущен. А получилось, вроде к моему. Ходил ко мне по жилищному делу один зубной протезист. Дело у него верное — квартиру ему надо давать. А я его чего-то невзлюбил. Подъезжает, понимаешь, к исполкому на собственной «Волге», одет как герой из кино — весь в коже. И разговаривает со мной с усмешечкой, я ему — нет ничего, и весь разговор. Снова заявился, а я в это время по телефону с кем-то разговаривал о моем сорокапятилетии, договаривались, куда пойдем ужинать. Он все это усек и, выслушав очередное «ничего нет», сказал: «У вас, я вижу, юбилей, так я уж тоже откликнусь». Вечером приезжаю домой, жена говорит — приезжал какой-то на «Волге», вот — оставил... Гляжу — ящик с коньячком... вот с этим самым, с юбилейным. До сих пор его попиваю...

— Я б на вашем месте не рассказывал бы... — обронил Лукьянчик.

— А почему? Знаете, что эти зубники имеют в месяц? Мне наш зубной врач говорил — тысячу как минимум! А я на него работай? Пардон-извиняюсь!

Так начался на той рыбалке второй урок профессора взятки Глинкина. А через несколько дней провел он и практическое занятие, в результате которого на столе у Лукьянчика оказался конвертик с четырьмястами рублями. И деньги эти, помнится, оказались так кстати, что ничего лучшего вообще не могло случиться.

Ну, а потом это уже стало хорошо отработанным делом, не вызывающим никаких эмоций, кроме, страха. И то только иногда.

Но разве раньше, гораздо раньше, когда он еще работал начальником строительного управления, не бывало этого — деньги за одну подпись? А сколько раз он ставил свой стремительный автограф на липовых, полных всяких приписок, документах строек, и потом — шли премии за перевыполнение планов. А доплатные

ведомости с «мертвыми душами»? Было ведь, было! Деньги… деньги… Зачем они? Хотелось Тане делать дорогие подарки. Потом оказалось, что есть какая-то иная жизнь, чем та, которую он вел. Он постепенно узнавал о той жизни от новых своих друзей…

Знакомые, знакомые, знакомые — их становилось все больше, и были они самые разные. Иные становились потом друзьями. Ежемесячные визиты в финскую баню — это одна компания. Он вдруг отлично вспомнил, как образовалась эта банная компания…

Глава девятая

Лукьянчик выносил парашу. Занятие не из приятных. Надо все слить и вытряхнуть в сточную яму, потом взять квашу и тряпку, смоченную хлоркой, и протереть парашу добела. Особенно не с руки это делать первый раз в жизни, да еще когда над тобой измываются уголовники: один советует понюхать (не остался ли в параше запах?), другой уверяет, что ее надо просушивать на сквозняке, третий говорит, что парашу полагается протереть зубным порошком. Лукьянчик, сжав зубы, работал под их гогот…

А возвращаясь в камеру, он встретил красивую тюремщицу и даже застеснялся.

— Новичок? — остановила его Галина Бутько. — Что-то я тебя первый раз вижу. Какая камера?

— Седьмая, — пробормотал Лукьянчик.

Подмигнув, она уронила на пол скомканную бумажку.

— Подбери и посмотри хорошенько, что там, — негромко и совсем не строго приказала она и исчезла в боковой двери.

«Что за чертовщина?» — смятенно думал Лукьянчик. Он про такое читал что-то детективное: тюремщик, а на

самом деле подпольщик помогает узнику гестапо перед смертью связаться со своими… Чертовщина какая-то! Однако поднял скомканную бумажку. Только час спустя ему выдался удобный момент заняться бумажкой. Он сразу узнал почерк Глинкина, хотя писано было тупым карандашом и на плохой бумаге.

«Мих. Бор.!

Надо их смять в самом начале, что мы с вами и сделаем, на воле тоже об этом заботятся. Нам с вами будет очная ставка. Отрицайте все, кроме тех денег, что были истрачены вами в поездке на совещание, но вы знали только, что деньги те были мои. А затем ориентируйтесь по моему поведению, и тогда все будет как надо.

До встречи на очной ставке. Это уничтожьте. Крепко жму руку…»

Когда Лукьянчик только начал читать, подумал: ну, силен Глинкин — тюремная охрана на него работает! Ай да Глинкин!.. И ему сразу стало легче, — по крайней мере, он знал, что делать на той проклятой очной ставке.

…Когда следователи Арсентьев и Глушков рассказали прокурору Оганову, как они собираются провести очную ставку Глинкина с Лукьянчиком, тот некоторое время молчал, прикрыв тяжелыми веками свои светлые глаза. Потом сказал:

— Не из той Глинкин породы, чтобы требовать очную ставку только для того, чтобы разоблачить Лукьянчика и заодно себя. Тут у него есть какой-то замысел, и как бы мы не схватили брошенный нам голый крючок…

— А по-моему, все просто, — сказал Глушков. — Делился с Лукьянчиком и не смог примириться, что тот остался на свободе.

— А на миру и смерть красна, — добавил Арсентьев.

— Вот эта смерть на миру меня и тревожит... — задумчиво произнес Оганов. — И мне не нравится звонок из областной прокуратуры — с чего это они вдруг заторопились?

— Положим, это понятно, — возразил Арсентьев. — Это же они переслали нам затребование Глинкина по прошлым его преступлениям, и теперь они, естественно, интересуются, дело-то на контроле у них, а может, уже запрашивают у них, когда мы его туда этапируем.

— Дай бог, дай бог... — прокурор барабанил толстыми пальцами по столу и смотрел, прищурясь, в темный угол кабинета, будто ждал увидеть там какое-то чудо. И вдруг надвинулся борцовской грудью на стол, сказал энергично: — В этом деле не только Глинкин с Лукьянчиком, в нем может еще оказаться замешанным и честолюбивый господин мундир.

Следователи молчали, думали, Глушков повел головой:

— Глинкин преступник с давним стажем, притом пришлый, к местному мундиру он вообще отношения не имеет.

— Это вы так думаете. А если кто-то скажет, что этот случай подрывает чей-то авторитет?

— Что касается Лукьянчика, — сказал Арсентьев, — то тут я наблюдал совершенно неожиданное: все его вроде любили, во всяком случае популярен он был как никто, а сейчас я не слышу о нем ни единого сочувственного слова.

Зазвонил телефон. Оганов неторопливо повернулся всем своим могучим корпусом и взял трубку:

— Да... — Слушая, Оганов привлек к себе внимание Арсентьева, и тот подошел ближе. — Да, да, очную будет проводить Арсентьев... Да нет же! Зачем нам трогать его старые дела? Ими займутся там, в Брянске, куда мы его, не откладывая, и отправим... Ну, если он

сам заговорит по Брянску, запишем, но он же о том, что его ждут в Брянске, еще не знает и думает, что взят только по нашим делам… Конечно, конечно… Нет, я лично ничего особенного от этой очной ставки не жду, и даже опасаюсь, что тут какой-то трюк Глинкина… — Оганов глянул на часы. — Через час с небольшим. А вы заезжайте к нам за Арсентьевым. Хорошо… — Оганов положил трубку и некоторое время смотрел на телефон, обдумывая что-то, потом резко повернулся к Арсентьеву. — Как пишут в газетах, очная ставка вызвала большой интерес, общественности. На ней будут присутствовать прокурор следственного управления областной прокуратуры Фирсов — это он сейчас звонил. С ним будет еще и инструктор адмотдела обкома Щеглов.

— Они будут участвовать в допросе? — поинтересовался Арсентьев.

— Не думаю, — ворчливо ответил Оганов. — Все дело, я думаю, в обыкновенном любопытстве и желании появиться перед начальством информированными. А вдруг эти взяточники затеяли скандал и потянут за собой кого еще? Такое вполне может быть. Через час они заедут сюда за вами. Все же вы выгадали — на машине лучше, чем на трамвае. Скажете, нет? — Светлые глаза прокурора смеялись.

Арсентьев промолчал, ему было не до смеха…

Очную ставку проводили в кабинете начальника оперативной части следственного изолятора — эта комната была побольше. За столом сидел следователь Арсентьев, а в сторонке, будто занятые какими-то своими делами, сидели, переговариваясь, инструктор адмотдела обкома Щеглов и прокурор следственного управления областной прокуратуры Фирсов. Все ждали, когда приведут арестованных. Надо сказать, все трое чувствовали себя малость тревожно. Арсентьев, тот

просто не мог не думать, что сейчас ему предстоит вести сложный допрос на глазах у начальства. Тревожное чувство инструктора обкома и прокурора было посложнее. Они лично знали Лукьянчика и Глинкина, были с ними не первый год знакомы, и увидеть их сейчас, с руками за спиной, тоже было не очень приятно. Все трое молчали, и каждый думал о своем…

Привели сначала Глинкина, минутой позже — Лукьянчика. Они поздоровались только друг с другом и, не обратив особого внимания на остальных, выжидающе уставились на следователя… Еще недавно они были людьми примерно того же круга, как и все присутствовавшие здесь, но они уже прошли через тюрьму, пусть хотя бы двухдневную, как Лукьянчик, и ее печать лежала на их лицах, да и все в них выглядело как-то по-другому. Между этими двумя и остальными уже пролегал невидимый рубеж нравственного противостояния, и прямая борьба добра и зла проходила и здесь, в этой серой комнате.

Арсентьев как-то торопливо провел необходимый на очной ставке процедурный опрос: фамилия, имя, отчество… знают ли подследственные друг друга… и приступил к существу дела.

— Подследственный Глинкин, вы признаете факт получения взятки от учителя Ромашкина? — почти торжественно спросил Арсентьев.

— Да, признаю. Были взятки и еще, я только не помню, от кого. Если вы подскажете, я вспомню. И кроме того, признаю, что делился полученными деньгами с Лукьянчиком.

— Семен Григорьевич, как вам не стыдно! — театрально выкрикнул Лукьянчик, но Арсентьев остановил его.

— Подождите, Михаил Борисович, сейчас вы скажете, что хотите… — и закончил записывать

сказанное Глинкиным.

— Подследственный Лукьянчик, что вы хотели сказать?

— Глинкин говорит неправду. Он никогда со мной не делился.

— А не брали вы у меня двести рублей, когда ехали на кустовое совещание. Помните?

— Но это же я у вас одолжил.

— А отдали?

Лукьянчик молчал.

— Что это были за деньги? — спросил Арсентьев.

Глинкин повел головой и ответил с усмешкой:

— Это были очень грустные деньги. Главная печаль в том, на что они были истрачены. Не хотите рассказать? — обратился он к Лукьянчику, но тот отвернулся. — Хорошо, расскажу я. Существует дурацкая, но железная традиция: каждый участник подобных совещаний, в своей компании, обязан один коллективный ужин в ресторане взять на себя, иначе он подорвет честь своего города. Я говорю неправду? — снова спросил Глинкин у Лукьянчика.

— Это правда.

— Но раз это правда, признайтесь и в том, как мы этот ваш долг мне ликвидировали, — наступал Глинкин. Арсентьев еле успевал записывать их диалог. — Молчите? Ладно, снова расскажу я. Вы подписали, другими словами, утвердили предложенный мною список членов жилищного кооператива «Наука», в котором была фамилия человека, не имеющего никакого отношения ни к науке, ни к этому кооперативу. Но этот человек дал нам пятьсот рублей.

— Как пятьсот? — вырвалось у Лукьянчика. — Я у вас брал двести. Это во-первых, а во-вторых, между этими деньгами и моим долгом вам не было никакой связи. Наконец.

— Подождите. Триста рублей остались у меня, и я сейчас точно укажу, куда они пошли... Подарок завгорторгом товарищу Сивакову к его шестидесятилетию стоил сто сорок рублей. Не дарить было нельзя, все присутствующие здесь это знают. О шестидесятилетии Сивакова напомнил нам не сам именинник, а уважаемые организации, которые хотели отправить юбиляра на пенсию с музыкой, так сказать. Было это? Знаете: было!.. Дальше: двести рублей стоили подарки членам делегации соседнего города. На подарки для этой, как и для других делегаций, производилась разверстка по районным организациям, нам — исполкому — назначили двести рублей. Меня волнует вот что — здесь присутствует товарищ из обкома партии, — может, он скажет, что не знает о подобных разверстках? А если знает, то пусть скажет, где мы должны были брать на это деньги? Сейчас я полностью еще не готов, но к суду я подготовлюсь и дам полную картину подобных расходов.

Арсентьев обратился к Глинкину:

— Итак, мы фиксируем в протоколе очной ставки, что вы признаете факт получения взяток и то, что вы делились с Лукьянчиком.

— Я возражаю! — энергично заявил Лукьянчик. — Если уж на то пошло, я действительно занял у Глинкина двести рублей, когда ехал на совещание, деньги там истратил именно на то, о чем он говорил, и долго не мог вернуть Глинкину долг, а потом... я допускаю, что он погасил его тем способом, о котором он тут говорил. Но для меня... никакой связи между моим долгом и утверждением списка членов жилищного кооператива не было.

— Подождите, Михаил Борисович, — перебил Глинкин, — сейчас идет речь обо мне, свое вы скажете чуть позже. Что же касается меня, то я — пишите — от благодарных новоселов получал несколько раз подарки,

которые можете назвать взятками, но от кого именно, не помню и — повторяю — буду вам благодарен, если вы выясните. Но одну взятку — подарок от учителя Ромашкина — я признаю и на очной ставке с ним подтвержу…

Арсентьев все это записал, обернулся к Лукьянчику, и тот быстро сказал:

— Я свое заявление сделал. Хочу только прибавить, что я целиком солидарен с тем, что говорил Семен Григорьевич, и я тоже припомню на суде все случаи, когда мне давались указания свыше о предоставлении квартир лицам, не имевшим для того достаточных оснований, и как потом я выкручивался по поводу пропажи этой жилплощади из районных фондов…

Когда подследственных увели, в комнате долго стояло молчание.

Всем было ясно, какую защиту избрали взяточники. Их полупризнания ничего не стоили, так как у следствия не было улик. Взятка — такое преступление, улики которого добыть необычайно трудно, а когда речь идет о взятках, уже состоявшихся, то почти невозможно. Обвиняемый во взяточничестве может все отрицать, и следствие против этого бессильно, ибо улик у него нет. Даже признания самого взяточника для обвинения недостаточно. Конечно, Глинкин, а за ним и Лукьянчик явно решили этим воспользоваться. Но, кроме того, они предпринимают и маневр наступательный, грозятся поднять на суде разговор о незаконных поборах и указаниях.

Молчание прервал работник обкома.

— Неужели они вывернутся? — тихо спросил он, ни к кому не обращаясь.

В комнату вошел начальник оперативной части следственного изолятора:

— Извините, пожалуйста… — Он подошел к Арсентьеву и положил перед ним мятую бумажку. —

Уголовники из камеры, где содержится Глинкин, заметили, что у него какие-то странные дела с нашей конвойной Бутько. Проследили за ним и, когда его увели сейчас на допрос, отыскали в его постели вот эту бумажку.

Арсентьев быстро прочитал записку:

— Вот вам, пожалуйста, взяточников инструктирует подпольный адвокат. Послушайте. Обращение «Эс Ге» — ясно: Семен Григорьевич. «Спешу посоветовать: на очной ставке надо только намекнуть, что у нас с вами есть за пазухой, а то они могут подготовиться». Подпись — крючок с хвостиком.

— Покажи... — Фирсов взял записку и долго всматривался в ее строчки, написанные печатными буквами, потом вернул ее Арсентьеву. — Придется заняться этой конвойной и через нее искать подпольного адвоката...

— Эта Бутько давно у меня на подозрении, — заторопился тюремный работник, но его оборвал инструктор обкома Щеглов:

— Если давно, почему она до сих пор продолжает работать?

— Виноват, конечно... все недосуг заняться.

— А какая у вас еще может быть работа, кроме как наводить порядок в тюрьме? — разозлился Щеглов.

Но злись не злись, а дело дрянь, и конечно же виноват в этом не работник тюрьмы, в конечном счете дело и не в подпольном адвокате. Главная досада — неразрешимость создавшейся ситуации: Глинкина уже надо отправлять по этапу в Брянск, а Лукьянчик меж тем хорошо проинструктирован, будет от всего открещиваться и требовать доказательств.

А главное — тянуть с этим делом было нельзя...

...В тот же день, ближе к вечеру, Глинкина, теперь уже одного, привели к следователю Арсентьеву, и тот

без лишних слов дал ему прочитать бумажку из союзной прокуратуры. Он пробежал ее довольно небрежно, возвратил Арсентьеву и, может, целую минуту барабанил по столу пальцами и смотрел куда-то мимо следователя, потом спросил:

— Когда отправите?

— Не задержим, — ответил Арсентьев.

— Судя по дате на бумажке, вы ее получили не сегодня и, значит, вы собирались устроить мне два суда? Наивные люди! Берите-ка протокол и запишите мой отказ от всех ранее данных показаний, как вырванных у меня угрозами и другими способами принуждения. Ну, что вы застыли? Берите протокол. Я вполне серьезно…

На другой день в кабинете второго секретаря обкома Хохлова происходил разговор на повышенных голосах, в котором участвовали первый секретарь горкома Лосев и областной прокурор Кулемин. В отдалении, за большим столом, сидел, разложив перед собой бумаги, следователь Арсентьев. Он голоса не подавал, разве только когда от него требовали какую-нибудь фактическую справку.

Сейчас он с нескрываемой тревогой слушал спор секретаря горкома Лосева с областным прокурором Кулеминым.

— Дорогой Николай Трофимович, — говорил областной прокурор, — я сегодня сам допрашивал и Лукьянчика и Глинкина. Что вам сказать? Глинкин — закоренелый преступник, но мы обязаны отправить его в Брянск. А наш любимец Лукьянчик — делец, какого поискать — не найти, и голыми руками его не взять… — Кулемин говорил флегматично, ровным жестким голосом, каким он говорил и на судебных процессах.

— Как вас понимать? — голос Лосева опасно зазвенел. — Он что же, останется ненаказанным?

— Николай Трофимович, он откажется от всего, что мы ему предъявим, потому что улик мы не имеем, а закон есть закон, — назидательно-сухо ответил Кулемин. Его положение здесь самое сложное — если разобраться, все-таки дело это, в общем, проморгала и прокуратура. А Лосев, очевидно, хочет выявить именно это.

— Какой еще закон нам нужен? — вспылил Лосев. — Разве у нас нет закона, чтобы судить жуликов?

— Спокойнее, товарищи, — поморщился Хохлов.

— Трудно быть спокойным, — тихо обронил Лосев. — Разве я, товарищ Кулемин, не передал вам папку народного контроля с материалами на Лукьянчика по его стройуправлению? Судите его по этим данным, раз не выходит по взяткам!

— Вот она, — спокойно произнес Кулемин, показывая на лежавшую перед ним синюю папку. — Здесь — выписки, которые народные контролеры тщательно сделали из бухгалтерских документов. Но это, увы, не сами документы.

— Так возьмите на стройке документы!

— Товарищ Арсентьев, дайте справку товарищу Лосеву, — устало попросил Кулемин.

— В архивах стройуправления интересующие нас документы отсутствуют, — ответил Арсентьев.

— Как это отсутствуют? — не понял Лосев. — А откуда же делали выписки народные контролеры?

— Документы из архива кто-то предусмотрительно изъял, — пояснил Арсентьев. — Или сам Лукьянчик, или нынешний начальник, его ставленник Вязников, а может быть — подпольный адвокат.

— Товарищ Хохлов, что же это у нас делается? — жестко спросил Лосев и долго ждал ответа, но Хохлов смотрел в сторону и будто не слышал вопроса. Его выручил Кулемин:

— Николай Трофимович, я в своей практике здесь, слава богу, впервые сталкиваюсь с таким опытным преступником, как Глинкин, и он к тому же привозной. И если смотреть на факты спокойно — Глинкина ждет тюрьма, и, судя по всему, надолго, а карьера Лукьянчика все же поломана…

— Нашли подпольного адвоката? — спросил Хохлов. — Только его нам в Южном не хватало.

— Служащая тюрьмы Бутько, я ее допрашивал сам, адвоката в глаза не видела, к ней от него приходили связные. Судя по всему, не врет.

— Где ни тронь — пустой номер, — зло заметил Лосев.

— Мне ясно одно — затевать суд без уверенности в обвинительном приговоре нельзя, — основательно произнес Хохлов. — Лукьянчика все знают, слухами о нем и о Глинкине полон город, и вдруг суд оказывается бессильным. Скажут — покрывают друг друга…

— Не без того, не без того, — легко согласился Кулемин.

Лосев покачал головой, сказал огорченно, но уже спокойно:

— Очень меня тревожит все это, товарищ Хохлов.

Секретарь обкома недовольно поморщился:

— Почему это вы, товарищ Лосев, так себя выделяете? Меня тоже тревожит эта история. Но меня тревожит и то, как мы с вами будем выглядеть в глазах города.

— Мне, товарищ Хохлов, хочется сначала определить, как я выгляжу в собственных глазах. Неважно выгляжу… Папка с материалами народного контроля лежала у меня в сейфе не один день. Почему? Тоже вот — не хотелось скандала. Думалось, это было давно, незачем поднимать осевшую на дно муть. И я знаю — позиция такая похвалы не заслуживает. Но есть

у меня вопрос к руководству народного контроля — почему они сразу не дали хода этим материалам?

— Как не дали? — возразил Кулемин. — Они же передали папку вам.

— Оставьте, товарищи, препирательства, — повысил голос Хохлов. — Тогда предъявляйте обвинение и мне. Глинкин-то пошел в жизнь нашего города через этот кабинет. Рекомендацию он предъявил, как вы знаете, достаточно крепкую, мог я подумать, что тот человек дал ее жулику, да еще такому крупному? Что же мне делать? Прикажете волосы на себе рвать, поскольку рекомендатель загремел к чертовой матери? Конечно, такого опытного мерзавца мы в своем городе встречаем впервые, и пусть это станет уроком для всех нас. Но давайте закроем диспут и перейдем к делу. Когда вы отправляете Глинкина в Брянск?..

— Завтра, — поспешно ответил Кулемин.

— Ну вот, один камень с шеи долой. Надо найти изъятые документы о Лукьянчике.

Кулемин пожал плечами:

— Ищем... но пока никакой уверенности. Найдем, тут же осудим Лукьянчика.

— Давайте-ка, товарищ Лосев, готовьте его исключение из партии. Я как вспомню, что он еще числится в партии, душа холодеет.

— Горком им заниматься не будет — многовато чести и не до порядку. С ним прекрасно управится Первомайский райком...

Когда Хохлов остался один, на душе у него было неспокойно — вроде бы всё они сейчас решили по существу, и все же что-то безотчетно его тревожило, и он пытался выяснить — что?

Надо бы идти и доложить все первому? Подумав, решил: подожду, пока позовет...

Кулемин с Лосевым еще продолжали разговор, идя по обкомовскому коридору.

— Понимаете, Николай Трофимович, — говорил Кулемин, — у нас бывают такие ситуации, когда суд попросту не примет дело ввиду недоказанности обвинений. А как собрать доказательства по взяткам? Кликнуть клич по радио — явитесь все, кто давал взятки?

— Но тогда что делает наша милиция с ее сыщиками?

— Тут вы, Николай Трофимович, прикоснулись к серьезному вопросу... — вроде бы огорченно сказал Кулемин, у него были давние нелады с начальником милиции. — Вы спрос *и*те у них — почему анонимка о взяточничестве Глинкина и Лукьянчика пролежала у них без движения аж с тех еще выборов? Разве у них не было способов проверить? А срок был упущен, и этому нет оправдания.

Выйдя из подъезда обкома, они простились и пошли в разные стороны. Кулемин шел к себе в областную прокуратуру, и в общем он испытывал удовлетворение от того, что Хохлов, так или иначе, поддержал его позицию и вместе им удалось погасить опасные порывы Лосева. Он прямо кожей чувствовал опасность завязнуть в этом деле, навлекая при этом на себя гнев города. С ним подобное уже было однажды, когда вскоре после войны он работал на Севере, тогда еще районным прокурором. Попался на воровских делах директор леспромхоза. Кулемин дал санкцию на его арест, а потом год с лишним кувыркалось безнадежное следствие, которое как хотел таскал за усы умный и хитрый директор, и кончилось это тем, что ему — прокурору! — пришлось извиняться перед заведомым вором, а весь город потом смотрел на него с такой презрительной ухмылкой, что пришлось перебираться работать в другое место. Эту историю Кулемин

запомнил на всю жизнь. Вот и в истории с Глинкиным и Лукьянчиком он чувствовал опаснейшую угрозу. Если довести дело до суда и эти негодяи начнут там вываливать обещанные ими разоблачения, прокуратура не сможет оставаться при этом в стороне, нужно будет начинать расследование по каждому факту…

Нет-нет, чем больше думал Кулемин, тем все более утверждался в тех мыслях, которые только что высказывал в обкоме. Он даже подумал с удовлетворением, что первый секретарь обкома, слушая сообщение Хохлова, увидит, как прокурор Кулемин, кроме всего прочего, озабочен сохранением престижа города. И не только города… Хотя на самом деле все было наоборот, и престижу города удар сейчас наносил именно он, прокурор Кулемин, пытающийся прикрыть явный промах в этом деле прокуратуры, и не только прокуратуры. А если выяснится, что виноват и он сам, лично? Разве в свое время председатель народного контроля не говорил ему о жульничестве Лукьянчика на стройке?

В общем, плохие прокуроры тоже бывают, и удивляться тут нечему, они тоже люди. Но когда такое выясняется, их от этих святых обязанностей освобождают…

…Отец Натальи Невельской умер полгода назад, и, как часто бывает, случилось это неожиданно. В пятницу вечером от него была телеграмма, в которой он, в своей обычной шутливой манере, сообщал об успехе испытания под нагрузкой последней турбины и через запятую просил жену договориться с каким-то Владимиром Федоровичем о ремонте забора на даче…

В субботу утром Горяев проснулся от пронзительного голоса тещи:

— Владимир Федорович? Это вы? Вам звонят от Невельского! Господи боже мой… Владимир Федорович,

вы меня слышите? Что? Господи…

В это время зазвенел звонок в передней.

— Господи, да откройте же кто-нибудь! Звонят! — завопила теща.

Наташа еще не проснулась или делала вид, что спит, пришлось встать Евгению Максимовичу. Посыльный с почты передал ему почему-то распечатанную телеграмму и, не прося расписки, поспешно ушел.

> «Минувшей ночью скоропостижно скончался Семен Николаевич Невельской тчк Тяжело скорбим вместе с вами тчк
>
> Он живет и будет вечно жить в своих великих стройках
>
> *Строители друзья покойного»*

Евгений Максимович, растерянный и еще не усвоивший разумом эту страшную весть, стоял в передней с телеграммой в руках. Сказать, что смерть тестя потрясла его душу, означало бы солгать — отношения у него с тестем были никакие: ни хорошие, ни плохие. Когда он прочитал телеграмму, у него мелькнула только одна мысль — что же теперь будет со всем этим хозяйством: с огромной квартирой, дачей, избалованной тещей, со всеми родственниками, привыкшими к помощи этого дома?

А теща продолжала кричать по телефону:

— Вы же знаете, Владимир Федорович, мы вас не обидим, вы же знаете!..

Пойти к ней и отдать телеграмму — на это у Горяева не хватило духа. Он прошел в свою спальню, разбудил Наташу, отдал ей телеграмму и, сев рядом на постель, обнял ее за плечи. Наташа не забилась в истерике,

даже не заплакала. Бессильно откинув в сторону руку с телеграммой, она сказала:

— Послушай… я во сне слышала, как ты пошел открывать дверь, и я знала — там телеграмма о смерти отца. Последние годы он жил на пределе… — Она встала с постели. — Пойдем к маме.

Ольга Ивановна прочитала телеграмму несколько раз, точно там было что-то непонятное. Потом уронила бланк и, глядя на лежавшую на полу бумажку, вскрикнула негромко:

— Нет… нет! — Опустилась на стул и долго сидела молча, смотря в одну точку, и вдруг заговорила раздраженно: — Допрыгался со своими плотинами и турбинами… все думал, что он еще мальчик. Сколько раз я ему говорила: уймись, уймись… — Она как-то скрипуче, будто через силу заплакала, вздрагивая всем телом.

Евгений Максимович был удивлен — он боялся, что дом взвоет от горя, и не знал, что ему тогда делать. А все развертывалось весьма спокойно. И только домработница, старенькая Ксенечка, тихо плакала, забившись в угол на кухне. Евгению Максимовичу стало жалко тестя…

Вскоре начали приезжать с выражением соболезнования деятели из министерства. Ольга Ивановна, уже одетая в траур, принимала их в столовой, слушала выражения соболезнования, прижав ко рту кружевной платочек, а когда очередной посетитель уезжал, шла к дочери и зятю с новостями:

— Его сегодня доставят в Москву специальным самолетом.

— Похороны будут на Новодевичьем… там — что ни могила — великие знаменитости… Памятник поставят — сказали.

— Все, все за счет правительства…

— Прощание в клубе министерства, за нами пришлют «Чайку» министра.

Она была совершенно спокойна. Даже в минуты последнего прощания на кладбище. А на поминках, когда кто-нибудь упоминал о верной подруге покойного, она непроизвольно поправляла волосы…

Ночью Евгений Максимович спросил у Наташи:

— Почему мама так спокойно перенесла смерть Семена Николаевича?

— У них был брак без любви, по чистому расчету, — ответила Наташа, судорожно зевнув. — Я это чувствовала с детства, а позже мама и сама мне это сказала… Мне за нее сегодня было стыдно весь день. — И без паузы: — Женя, ты меня любишь?

Евгений Максимович положил руку на круглое плечо жены и, поглаживая его, ответил:

— У нас никакого расчета не было — ни у меня, ни тем более у тебя. Я в твою любовь верю… и… давай спать…

Судьба Семена Семеняка складывалась без особых осложнений. Кончил школу с золотой медалью. Легко дался ему и энергетический институт, который вооружил его дипломом инженера-экономиста и дал ему свободное распределение. Идти на завод он не торопился, хотя отец его всю жизнь проработал в отделе снабжения авиационного завода. И как раз по совету отца он устроился в московскую милицию, там в ОБХСС были нужны специалисты по экономике. В одном из районных отделов проработал месяц — выяснилось, что у него нет ни малейшей склонности к следовательской работе.

В это министерство Семеняк зашел потому, что оно находилось в центре Москвы и недалеко от его дома. Просто шел мимо и зашел. Он вообще мог не торопиться с устройством на работу, но после неудачи в милиции —

а вдруг у него не пойдет и на всякой другой службе? В милиции он, кроме всего, как-то оробел, теперь решил — никакой робости. Наоборот.

В министерстве ему сказали, где занимаются кадрами производственного главка, и там он быстро отыскал необходимого ему начальника, решив сразу идти к тому, кто может решать…

Миновав остолбеневшую секретаршу, Семеняк вошел в кабинет начальника, который в это время судорожно искал какую-то бумажку на своем до безобразия захламленном столе. Из бумажного беспорядка, как ледокол среди льдов, возвышался прибор с зубчатым колесом наверху.

— Я насчет работы, — начал Семеняк.

Кадровик мельком рассерженно глянул на него (секретарша свое получит) и, рыкнув: «Подождите в коридоре», продолжал шарить по столу.

И вот снова оробел — послушно вышел в коридор и просидел там на подоконнике около часа. За это время кадровик пять раз сбегал куда-то с бумагами в руках. Наконец в коридор высунулась из двери и злющая секретарша (она свое получила):

— Пройдите…

Когда Семеняк зашел в кабинет, кадровик снова искал какую-то бумажку, только теперь в сейфе, и не обращал внимания на вошедшего.

— Я бы хотел дать вам один совет, — громко заговорил Семеняк, испытывая острое упоение своей храбростью. — Всегда, когда перед вами живой человек, отдавайте предпочтение ему, а не бумажкам. У вас меньше будет неприятностей.

— Что вы сказали? — задохнулся кадровик, смотря на молодого человека квадратными глазами.

— То, что вы слышали, — ответил Семеняк. — А то, не ровен час, через год к вам явится, вот так же как я

сейчас, сын вашего замминистра, он через год кончает. Смотрите не промахнитесь…

У кадровика онемело лицо, и он только беззвучно шевелил губами. В это время в кабинет вошел статный, красивый, модно одетый мужчина, и по тому, как он вошел и держался, было ясно, что он из начальства.

Семеняк не ошибся, это был Евгений Максимович Горяев, который сразу понял, что между кадровиком и молодым человеком происходит какой-то конфликт.

— Что у вас тут случилось? — легко спросил Горяев.

— Вот он… — кадровик грубым жестом показал на Семеняка, — пришел к нам в министерство наниматься, а начал с того, что взялся меня учить, как надо работать.

— Во-первых, я пришел сюда не наниматься, — подхватил Семеняк. — Это при царе нанимались в извозчики и няньки, я после окончания института пришел сюда работать, а не сидеть в коридоре под дверью, вы должны быть заинтересованы во мне больше, чем, может быть, я в вас. Во всяком случае, не меньше.

Семеняк заметил, что во время его тирады вошедший начальник улыбнулся и выжидательно смотрел на него. Но тот обратился к кадровику:

— Я вынужден был зайти к вам — характеристики на переданных мне сотрудников должны быть у меня сегодня, завтра они уже не нужны никому.

— Мне же надо всего пятнадцать минут, так вот же… — кадровик с ненавистью посмотрел на Семеняка.

Горяев уже направился к дверям, но вдруг остановился, обернулся к Семеняку;

— Что кончили?

— Энергетический, по диплому инженер-экономист.

— Идемте со мной…

Они поднялись на один этаж и по замысловатому коридору прошли в кабинет Горяева, где он сел за стол,

а Семеняку показал на стул сбоку;

— Давайте документы…

Пока он занимался с документами, Семеняк оглядел не очень просторный кабинет, заметил, что на письменном столе по-современному бумаг не было, только авторучка, воткнутая в малахитовую подставку.

— Вы обратили внимание, как захламлен стол у вашего кадровика? — заговорил Семеняк, когда Горяев отложил его документы. — Неужели он не понимает, что в такой куче мусора легче спрятаться тому, кто хочет спрятаться?

— Не лишено… не лишено, — рассеянно согласился Горяев, думая о чем-то. — Где вы хотели бы работать? Только начистоту: в аппарате министерства или на производстве? — спросил он.

— В министерстве, — твердо ответил Семеняк.

— Чем же вы хотели бы заниматься?

— Инженер-экономист может пригодиться всюду, — улыбнулся Семеняк. — Пошлите в тот же отдел кадров, я вам в две недели выдам точный расчет времени, непроизводительно расходуемого начальником отдела, завязшим в бумажках вместо глубокого изучения проблемы кадров.

— Но и вам тоже придется бегать по этажам с бумажками, — рассмеялся Горяев, ему нравился этот задиристый парень.

— Постараюсь этого избежать. Не выйдет — уйду. Вы видели, — он кивнул на свои документы, — я неплохо знаю немецкий язык, а с языком без работы не буду…

— Мне в моем оперативно-диспетчерском отделе нужен помощник. Должность — инженер, но это для зарплаты, а характер работы главным образом организаторский, но со знанием экономики. И нужен человек молодой, энергичный. Пригодится, я думаю, и ваш немецкий язык — министерство получает из ФРГ

автомобильные журналы, материалы оттуда наверняка требуется переводить, а за переводы, наверно, можно будет платить особо. Словом, вот такое вам предложение.

— Нужно будет подавать чай?. — улыбнулся Семеняк.

— Нет. Это исправно делает секретарша отдела Лидочка. Помощник — это нечто иное, это... — он рассмеялся, — это помощник, и этим все сказано. Это если моя не правая, то, во всяком случае, левая рука. То, что вы инженер-экономист, — очень хорошо. Работа потребует от вас самостоятельного мышления, быстрой сообразительности и уж конечно ответственности. Решайте.

И Семеняк решил…

Это была работа для него — самому пороха выдумывать не надо, а начальник своими поручениями его никак не перегружал. Вскоре он даже сам научился находить себе занятия, включился в общественную работу, перезнакомился с многими людьми на всех этажах министерства.

Месяца оказалось достаточно, чтобы он окончательно покорил Горяева своей безотказной работой, послушной распорядительностью.

А месяца через три Горяев уже не мог себе представить работу отдела без Семеняка, которого уже звал Сема, и был с ним на «ты», хотя Семеняк с ним оставался на «вы». Его уже знали в министерстве. Вскоре он был избран членом профкома главка, ему поручили культмассовую работу, он организовал продажу театральных билетов, и работники министерства стали ходить в театры и на концерты. Горяеву доставляло удовольствие просто видеть своего помощника, наполненного энергией и животворным оптимизмом. Действительно, он и внешне выглядел приятно — всегда аккуратно одетый, быстрый в

движениях, молодой мужчина с юношески румяным, лицом и голубыми глазами. Его тесный кабинетик прилегал к горяевскому, и туда вела специальная дверь. Когда на столе Семеняка вспыхивала красная лампочка, он бросал все, срывался с места и через пару секунд уже стоял перед столом Горяева, глядя ему в глаза:

— Слушаю вас…

Получив несколько распоряжений, которые он, к удивлению Горяева, никогда не записывал, но и не забывал, он возвращался в свой кабинетик, и тут начиналось прямо цирковое представление — распоряжения начальника отдела превращались в дела. Он мог оперировать тремя телефонами одновременно и еще диктовать что-то подсоединенной по внутренней связи стенографистке, в это время он был похож на ударника-виртуоза в джаз-оркестре. Где-то в его кабинете был скрыт динамик внутренней связи, и его мистический голос все время врезался в его быстрые действия. Наконец, кресло у него было вертящееся, и он мог в один миг развернуться в любую сторону — на одно это его вращенье можно было заглядеться… На подоконнике у него стояла принесенная им из дома замысловатая кофеварка, которая каким-то образом выключалась будто сама собой, молола необходимое количество кофейных зерен, отправляла помол в варочный агрегат, и через две минуты постоянно стоявшая под кофеваркой чашечка наполнялась ароматным экстрактом кофе. И тогда в цикл движений Семеняка включалось еще и кофепитие.

В общем, Горяев был доволен своим помощником, при случае им хвастался:

— Мой Семеняк подобен электронной машине — только не забудь запрограммировать в него, что надо, и все будет сделано мгновенно, точно и с каким-то

веселым азартом и удовольствием. Ему нравится работать.

Доволен был собой и Семен Семеняк. О том, как построить свою служебную карьеру, он начал думать еще в студенчестве. Отец учил его: тихих да скромных любят одни дураки.

Для Семена с детских лет отец был олицетворением всемогущества власти. Отец мог все, хотя был он всего лишь заместитель начальника отдела снабжения авиационного завода, и проработал на этой должности почти четверть века. Любимая отцовская приговорка: не должность красит человека, а сам человек — на любой должности. Они жили ни в чем себе не отказывая, была у них своя дача, каждое лето месяц проводили на юге, а Семен с матерью частенько оставались там и еще на месяц. Отца обслуживала автомашина с шофером Лешей, который был у них как член семьи, и в летнее время на нем фактически держалась вся дачная жизнь. А в гараже при даче отдыхала, собственная отцовская «Волга». В год окончания Семеном института отец подарил ему «Жигули». Следует заметить, что этот подарок он сделал, когда сам был уже пенсионером. Несколько лет назад у него произошло что-то на работе, что именно, Семен так до сих пор и не знает, но его раньше срока выпроводили на пенсию со строгим партийным выговором. Только в прошлом году отец сказал ему, что его завалил бывший начальник отдела, у которого он был замом, — «сам погорел и меня за собой потянул…». Но Семен-то уже и сам соображает, что к чему, и, видя, как семья живет, по-прежнему ни в чем себе не отказывая, понимает, что его батя за время службы накопил солидные жизненные запасы. Недавно, крепко выпив в день своего рождения, отец, похлопывая себя по раздавшемуся животу, сказал, смеясь: «Живем,

дорогие мои, за счет подкожного жира, живем и не худеем...» В тот же вечер, отвалившись от обжорного именинного стола, отец учил Семена: «Не зря говорится, что служба не дружба, а добавить надо так: на службе ищи дружбу — не прогадаешь...»

С некоторых пор у Семена с отцом установились особо доверительные отношения и у них появилась общая тайна. Это случилось летом прошлого года...

...После прощального вечера в институте, проводившегося всухую, Семен пригласил двух своих друзей выпить у него дома. Семен был уверен, что старики на даче, но отец оказался дома и встретил их очень сердито. Не впуская дальше передней, сказал расстроенный: мать заболела, не время для выпивок. Друзья ушли. Семен, испуганный, вслед за отцом прошел в спальню, а там — никого.

— Мать здорова, — пояснил отец. — Но новость есть, не дай бог... Мой батька, твой, стало быть, дед, объявился...

Надо же такое!.. Семен с детских лет знал, что дед пропал без вести во время войны, находясь в оккупированной фашистами Белоруссии. А оказалось, во время оккупации он работал в своем родном селе старостой, потом удрал вместе с немцами. Все это отец знал давно, но рассказывать даже близким своим не рисковал. Вот почему они никогда не ездили в их родную деревню — зачем было память людскую ворошить? А сегодня отец узнал, что его родитель жив, здоров, осел в Канаде и стал там богатым фермером... Мало того — сейчас он в Москве. Интурист. Звонил час назад по телефону.

— Как же он не побоялся приехать? — спросил Семен.

— Говорит, что руки у него чистые, — ответил отец. — И что удрал он с немцами по глупости... А

вечером сейчас мы должны увидеться. Я тебя жду — пойдем на эту встречу вместе.

— А мне-то зачем идти? — встревожился Семен.

— Пойдешь, — со злостью отрезал отец и, странно засмеявшись, добавил: — Дедушка как-никак…

Никогда Семен не забудет эту встречу. Дедушка оказался рослым, крепким стариком с белыми пушистыми усами, у него было красивое, смуглое лицо и голубые, как у отца, глаза и только две стариковских глубоких морщины от ноздрей ко рту… Он говорил по-русски уже с акцентом, иногда не сразу находил нужные слова. Здороваясь с Семеном, заплакал, но быстро взял себя в руки и потом только посматривал на него растроганно. Рассказ его о себе был коротким. Оставаться с немцами он не собирался и поехал в Канаду. Жену он похоронил еще во время войны, а в Канаде женился на сестре богатого фермера-украинца, женился не по любви, а чтобы в приданое землю получить. Без этого была бы батрацкая судьба… Развел коров и варит сыр с тмином — дела идут хорошо, но переела душу тоска по родине, по сыну… И дед снова пустил слезу. Семен смотрел на плачущего деда, и у него было такое ощущение, будто он все это видит в кино или читает про это в книге и что это — чужое и не имеет к нему никакого отношения. Но когда он видел, как взволнован, встревожен его отец, волнение передавалось и ему…

— Едем ко мне в Канаду, — вдруг сказал дед, и у него от волнения задрожали губы. — Бери всех своих, и едем. На всех хватит… Будем работать, внука учить будем… Я у себя в Канаде узнавал — есть закон, по которому запретить вам ехать ко мне никто не может…

— Нет… нельзя, — сдавленным голосом ответил отец. — Сложно теперь менять жизнь… А внук ваш, — отец с дедом все время говорил на «вы», — он уже

образование получил, работать начинает, судьбу ему ломать нельзя…

Долго за столом тянулось молчание — они сидели в кафе-мороженое на улице Горького, за широким витринным окном кипела оживленная улица и уже горели вечерние огни.

— А если я сюда вернусь? — вдруг спросил дед и впился голубыми глазами в глаза сына, тот отвернулся, и тогда дед стал смотреть на Семена. У деда плаксиво скривилось лицо, и он, застеснявшись, опустил низко голову, но минуту спустя поднял и, сощуренно глядя на сына, сказал: — Я знал… я знал… Ты завсегда такой был. По году от тебя письма на деревню не приходило… А чтоб помочь когда… — дед покрутил головой. — Еще перед войной мать сказала о тебе — он от нас беглый…

Семен видел, как побледнело лицо отца, заходили желваки у висков.

— Вы что же, батя, только для того и приехали… чтобы сказать мне это? — спросил отец пересохшим голосом и сделал движение, будто хотел встать.

— Ладно… Погоди, я сейчас уйду… — Дед поднял с полу портфель, вынул из него сверточек, перехваченный клейкой лентой, и протянул его Семену. — Это тебе, внучек… от деда память маленькая…

Семен взять сверток из его рук не решился, и старик положил его на стол. Посмотрев протяжно на Семена, встал:

— Ладно… Живите… Я еще в родную деревню поеду, на могилу твоей матери… скажу ей, как вы… — и дед зашагал прочь.

Они с отцом еще долго молча сидели, не прикасаясь к давно растаявшему мороженому; им просто невозможно было разговаривать, пока не уйдет подальше то, что произошло сейчас за этим столиком.

Глава десятая

Следователь райотдела столичной милиции старший лейтенант Куржиямский Всеволод Кузьмич ждал, когда из следственного изолятора привезут на допрос подследственного, и просматривал протоколы прежних допросов. Не нравились ему что-то эти протоколы. Он встал и, заложив руки за спину, прохаживался по тесному кабинету…

Телефонный звонок вернул Куржиямского к делам. Звонила директорша универсама. Очень она беспокоится (а может, хитрая женщина?), неделя не проходит, чтобы не позвонила Куржиямскому. Сейчас сообщила, что у нее в винном отделе, не оплатив, вынесли пять бутылок вина. В связи с этим она просила помощи.

— Устраивать пост в магазине не будем, — не скрывая раздражения, ответил Куржиямский. — Сами не спите. Магазин у вас молодежный, мобилизуйте комсомольцев.

Куржиямский положил трубку.

Но все же есть у Куржиямского свои претензии и к делам служебным. О них он позволяет себе говорить только с начальством. Ну почему нет-нет да выяснится, что вору с положением бывает полегче, чем простому. Почему так получается? В речах твердим — закон един для всех, а когда надо взять за шиворот иного нашкодившего начальника, вдруг открывается, что для него есть закон другой? Или еще насчет того, чтобы осужденные весь назначенный им судом срок отбывали от звонка до звонка. А если уж кому действительно необходимо срок урезать, чтобы занималось этим только одно на всю страну какое-то центральное ведомство. А то бывает, что сокращение срока зависит

от начальника исправительно-трудовой колонии. Нельзя так…

…И вот привезли наконец Ревзина. Вид у него такой, будто прибыл не из следственного изолятора, а с театральной премьеры — отутюжен, побрит до костяного блеска, прическа волной…

Ревзин проходил по довольно простому делу о расхищении дефицитных строительных материалов на небольшой базе, проходил только по одному эпизоду.

Его соучастники по этому делу были оголтелые ворюги и мелкие личности, а Ревзин — интеллигентнейший человек, два высших образования — юридическое и экономическое, последнее время работал юрисконсультом в строительном институте, а в момент ареста оформлялся во всесоюзное объединение, занимающееся поставкой автомобильной техники за границу. Оформление, однако, затянулось, потому что на должности, которую ему прочили, еще сидел человек, собиравшийся, правда, уходить на пенсию, но ему еще следовало работать больше года. Однако Ревзин, видите ли, был так нужен объединению, что там готовы были занимавшему это место приписать недостающий стаж. Тянул туда Ревзина один из руководящих работников объединения Ростовцев… Все это узнал Куржиямский, проверяя показания Ревзина. Почему Ростовцев так хотел получить Ревзина в свое объединение, что готов был пойти на подлог? Для Ревзина сделка на базе — явная случайность, фигура он куда более крупная, и Куржиямский неисповедимо уверен еще и в том, что Ростовцев и Ревзин, давно связанные друг с другом, крупные жулики, хотя в подтверждение этого у него ничего не было. Может быть, он что-то получит сегодня?

Ревзин сел на стул, поправил рукой прическу и спросил легко, безмятежно:

— Снова вы вспомнили обо мне, Всеволод Кузьмич? А я, признаться, соскучился по вас, честное слово, думал, больше с вами не встречусь. — Ревзин смотрел Куржиямскому прямо в глаза и улыбался доброй искренней улыбкой. — Мы ведь, как я считал, уже провели с вами почти сорок часов в этой комнатке. И, как это ни парадоксально, вы мне все более глубоко симпатичны.

— Я не могу ответить вам взаимностью, сами понимаете, — пробурчал Куржиямский, пододвигая к себе бумаги.

— Всеволод Кузьмич! — на лице Ревзина прямо детская обида. — Но я-то ведь жулик случайный, ну, влип на почве частнособственнического угара. Маленькую дачку захотел на склоне лет, домишко на садовом участке. Так что вы уж не клеймите меня пожизненно.

— Я никого не… клеймлю, — Куржиямский сердито мотнул головой, не сразу произнеся это слово. — Клеймо в свой час поставит суд… Но давайте к делу.

Ревзин удивленно поднял брови:

— Опять о том же?

Куржиямский ничего ему не ответил, пригладил ладонью чистый бланк протокола и неторопливо заполнил формальные графы. Ревзин терпеливо смотрел, как он это делает.

— Несколько вопросов, Семен Михайлович, — как обычно не торопясь, начал Куржиямский, смотря в глаза Ревзина. — Выяснение неясностей. Я очень не люблю, когда следственное дело уходит в прокуратуру с белыми пятнами.

— Я к вашим услугам. — Лицо Ревзина серьезное, чуть напряженное.

— Почему вы для домишка на участке купили такое огромное количество строительных материалов?

Ревзин рассмеялся:

— Во-первых, неужели вы еще не поняли, что я в этих делах полный недоумок, а во-вторых, и это главное, — попутала цена, баснословно низкая цена.

Куржиямский молчал, глядя на Ревзина вроде бы равнодушно и без всякого интереса.

— Кто такой Ростовцев?

— Ростовцев? Понятия не имею, — мгновенно ответил Ревзин.

«Ну вот ты и сделал ошибку», — сказал про себя Куржиямский и, заглянув в бумажку, уточнил:

— Александр Платонович Ростовцев, он…

— Ах, этот! — воскликнул Ревзин. — Извините великодушно, я же вам о нем говорил, да, да, есть такой в том объединении, куда, как вам известно, я устраивался.

— В каких вы были с ним отношениях?

— Он для меня работодатель. Вот и все.

«Ошибка не исправлена, а усугублена».

— А откуда он вас так хорошо знает?

— Разве что по анкете, — полувопросительно произнес Ревзин и посмотрел на следователя настороженно: — Но почему вы решили, что он хорошо меня знает?

— Он же, чтобы взять вас к себе, шел даже на нарушение закона, а на такое дело ради незнакомого человека с улицы не идут.

— Ну, Всеволод Кузьмич, я все-таки не с улицы, — обиделся Ревзин. — Я переходил туда с хорошей работы, у меня были отличные характеристики, наконец, личная его беседа со мной, я мог ему понравиться.

«Какой закон хотел нарушить Ростовцев, не спрашиваешь, ибо отлично знаешь какой. Наверное, вместе с Ростовцевым изобрели тот ход с досрочной отправкой на пенсию».

— В общем, я могу записать так: знакомство мое с Ростовцевым ограничено одной беседой с ним в связи с поступлением на работу. Правильно?

Куржиямский взял ручку и стал неторопливо записывать.

— Подождите, Всеволод Кузьмич... Была у нас с ним еще одна встреча... случайная. Уточняю — знакомство наше вот тогда и состоялось. Было это так: мы с приятелем пошли на концерт американского ансамбля народной музыки в концертный зал гостиницы «Россия». Я тогда уже подготавливал свой переход в объединение. В антракте мой приятель в курилке здоровается с какими-то двумя мужчинами и знакомит с ними меня. И вдруг я слышу — Ростовцев. И тогда я говорю: сам бог привел меня на этот концерт, дело в том, что я хочу перейти на работу в ваше ведомство... Мой приятель стал меня нахваливать. Весь разговор шел на полусерьезной ноте, и, когда мы уже возвращались в зал, тот мужчина, который был с Ростовцевым, спросил у меня: а бог не подсказывает вам после концерта пойти поужинать? Я ему ответил: не то что подсказывает, а просто требует. Словом, после концерта мы ужинали там же, в «России». Вот и все.

— Будьте любезны, назовите фамилию вашего приятеля, с которым вы были на концерте.

— Это еще зачем? — рассердился Ревзин.

— Хочу проверить, так ли все это было... — Куржиямский помолчал. — Ну, не Ростовцева же мне для этого вызывать.

Ревзин закатил глаза вверх, мотнул головой:

— Боже мой, боже мой! — И вдруг сказал решительно, смотря в глаза Куржиямскому: — Эти факты не имеют к моему делу никакого отношения! Что вы там ищете? Там ничего нету, ничего! Вы уже успели узнать меня, Всеволод Кузьмич, видели, что я не крутил

и то, что было, не отрицал. Я взял на себя минимум три года тюрьмы, и я, если хотите знать, к этому наказанию уже как бы привык. Я принял его как урок на всю жизнь. Но не вешайте на меня пустые жестянки, я же немножечко юрист. Действуйте прямо, скажите — какое у вас новое обвинение или подозрение, и я, как всегда, отвечу вам честно: или да, или нет. Я так поступал все следствие, вспомните…

— Пожалуйста, назовите фамилию вашего приятеля, с которым вы были тогда на концерте американцев.

Ревзин помолчал с окаменевшим лицом и решительно произнес:

— Не назову.

— Почему?

— Что же это получается? Сам влез в грязную историю и тяну за собой честных людей?

— Ростовцев, надо полагать, знает вашего приятеля, как тот знает его? — вяло поинтересовался Куржиямский и заметил, как в глазах Ревзина метнулась тревога.

— Откуда он может знать? Откуда? — повысил голос Ревзин, а Куржиямский уже знал, что на допросах он обычно повышал голос, когда чувствовал опасность. — Я же рассказал вам — мой приятель, видимо, хорошо знал приятеля Ростовцева, и, собственно, через него и возникло мое знакомство с Ростовцевым.

— Так и запишем, — вздохнул Куржиямский, будто не услышав последней фразы Ревзина, — фамилию приятеля, с помощью которого я познакомился с Ростовцевым, назвать отказываюсь. Так? У меня все. Подпишите, пожалуйста, протокол.

Ревзин внимательно прочитал запись и расписался. Куржиямский вызвал конвой. Ревзин встал, заложил руки за спину:

— Первый раз ухожу от вас с тяжким чувством непонимания вас, Всеволод Кузьмич.

— Что поделаешь, — пожал плечами Куржиямский.

У Куржиямского выработалась привычка, допрашивая жулье, всегда стараться прощупать все их поначалу невидимые связи, и уже не раз это помогало ему выйти на новых преступников. Вот и сейчас он все больше убеждался, что за Ревзиным стоит тот самый, пока неведомый ему, Ростовцев.

Это свое соображение в конце рабочего дня он доложил майору Любовцеву.

— Мне сдается полезным сделать предварительную проверку по Ростовцеву. Почему он хотел идти на серьезные нарушения закона, чтобы взять к себе Ревзина? Тут случайной встречи быть не может, — закончил свой доклад Куржиямский.

— Вы что же, предлагаете Ревзина выделить из дела стройбазы? Удалить из дела единственный эпизод с установленной и доказанной взяткой?

— Нет, товарищ майор, но я не хочу, чтобы Ревзин отделался только этим эпизодом по строительной базе. Я уверен, что он преступник более крупного масштаба.

— Погодите, Куржиямский, — мотнул головой Любовцев. — Того следственного дела, которое родилось в вашей голове, фактически в нашем отделе нет. Да и в голове у вас одни предположения. Срок, кстати заметить, отведенный нам законом, истек, дело стройбазы закончено, и мы передаем его в прокуратуру. К этому делу вы свои предположения никак не приклеите. Значит, первый вывод — дело передается в суд. Дальше… Как, вы сказали, фамилия того, кто хотел нарушить закон ради вашего Ревзина?

— Ростовцев.

— Минуточку, минуточку, — вдруг оживившись, Любовцев открыл ящик стола, вытащил из него клеенчатую тетрадку и начал перелистывать, что-то искать в ней.

— Дело в том, что, когда мы взяли Ревзина, мне звонил некий руководящий товарищ и интересовался, в чем Ревзин замешан, — говорил Любовцев, продолжая листать страницы своей тетрадки. — Я спросил, чем вызвано его любопытство, и он сердито пояснил, что хотел взять к себе Ревзина на работу, что ему энергично его рекомендовали и что он хочет теперь разобраться с этими рекомендателями. — Любовцев все еще листал тетрадку. — Ага, вот нашел. Так… Звонил мне товарищ Ростовцев. Что вы на это скажете?

— Очень интересно, — оживился и Куржиямский.

— А что тут интересного? Ростовцев действовал с открытыми картами, его любопытство законно. Он хочет разобраться с рекомендациями, — сказал майор Любовцев и сунул тетрадку в стол.

— Могу я спросить, товарищ майор, что вы ему тогда ответили?

— Во-первых, что по телефону мы подобных справок не даем, во-вторых, следствие только началось, и если его этот вопрос интересует, то потом, позже, мы можем его проинформировать.

— Больше он не звонил?

— Мне нет.

— Товарищ майор, я найду его телефон. Позвоните ему сами и скажите, что к нему может приехать сотрудник, чтобы проинформировать его по интересующему вопросу; поеду я.

Майор надолго прикрыл глаза и молчал.

— Что это вам даст?

— Посмотрю, что за человек.

— Праздное любопытство, — резко произнес майор. — Так устанавливать приятелей Ревзина нельзя, у вас пустые руки, и вы можете нарваться на контрудар — это раз. Два — вы можете их вспугнуть, если там действительно преступники. То, что Ревзин в дело

ворюг со стройбазы забежал на минутку, — согласен, но он так и так в ближайшие годы никуда от нас не уйдет.

На другой день, предварительно созвонившись, Куржиямский ровно в одиннадцать вошел в кабинет Ростовцева, несколько оробев от роскошной солидности этой громадной комнаты, за окнами которой шумел сад.

— Прошу извинить, что затруднил вас этим визитом ко мне, — не здороваясь, начал Ростовцев и, нажав кнопку на каком-то агрегате, сказал в невидимый микрофон: — Ко мне никого. — И без паузы: — Вы должны понимать: если мне горячо и настойчиво рекомендуют на довольно ответственную должность взяточника, я обязан в этом разобраться. К сожалению, раньше, ваша служба мне в этой информации отказала.

— Такой уж у нас порядок, — сказал Куржиямский, исподволь всматриваясь в Ростовцева.

— Вы представляете, как бы я выглядел, если бы успел подписать приказ об этом назначении?

— Помогли, видимо, трудности с его оформлением, — улыбнулся Куржиямский и заметил, как лицо Ростовцева на мгновение будто окаменело.

Он прищурился на Куржиямского и спросил холодно:

— Какие трудности?

— Нам Ревзин говорил, что еще не была свободна вакансия.

— Я деталей уже не помню. — Ростовцев достал из стола американские сигареты «Марльборо», закурил. Куржиямскому не предложил. — Так что же он такое, этот Ревзин?

— Он проходит по делу о расхищении строительных материалов, довольно вульгарный случай. Взятка и незаконное приобретение дефицитных стройматериалов.

— На что они ему были?

— Строительство домика на огородном участке.

— Значит, мелочь какая-то?

— Да нет, не мелочь.

— Он все признал? И взятку и все остальное?

— Да, признал. Есть свидетель вручения взятки.

— Что его ожидает?

— Не знаю… — пожал плечами Куржиямский. — Это ведь определяет суд.

— А когда суд?

Куржиямский опять поднял плечи:

— Это нам неизвестно.

— Так… — Ростовцев постукивал карандашом по стеклу на столе и смотрел поверх Куржиямского.

Пауза затягивалась. Куржиямский закрыл лежавшую перед ним папку и поднял вопросительный взгляд на Ростовцева:

— Все?

Их взгляды встретились, и Ростовцев сказал строго:

— Для вас подобное — это повседневность, а мне в новинку. Вспоминаю сейчас этого Ревзина, такой интеллигентный респектабельный мужчина, знает иностранные языки, меломан, и вдруг такое, как вы правильно отметили, вульгарное дело. Как это происходит с людьми?

— А вы хорошо его знали? — осторожно спросил Куржиямский.

— Ну, где там хорошо. До возникновения вопроса об устройстве его сюда видел его два-три раза в одном приличном доме, там мне его и представили. Впечатление о нем, прямо скажу, сложилось хорошее. Умен, остер на слово, многое знает, великолепно держится: солидно и вместе с тем непринужденно. И вот, представьте себе, после всего этого узнать — вульгарный преступник.

— Я понимаю вас, — сочувственно вздохнул Куржиямский.

— Ну что ж, можете не сомневаться, его рекомендателям не поздоровится.

— А рекомендатели работают здесь, у вас? — мимолетно спросил Куржиямский.

И снова Ростовцев окаменело насторожился.

— Один — да, — несколько затрудненно ответил он.

— Вы не хотите, чтобы ими заинтересовались и мы?

— Этого не требуется, — резко ответил Ростовцев и встал.

На том визит и окончился.

Куржиямский вышел на проспект Мира и, подойдя к витрине магазина, прилег грудью на перила и проговорил вслух: «Товарищ Ростовцев, я вам не верю, не верю — и все тут. Кроме всего прочего, все, что вы рассказываете, не сходится с тем, что рассказал Ревзин…»

Куржиямский спускался на эскалаторе метро. Впереди него на эскалаторе стоял старичок, державший завернутые в дерюгу лопату и грабли. «Вот этот чешет на свой честный огород», — подумал Куржиямский, и вдруг его точно по голове ударили: «А был ли у Ревзина на самом деле этот огородный участок?» Куржиямский мысленно выругал себя — это же надо было знать давно.

Выйдя из метро на следующей остановке, он сел в троллейбус, и поехал в строительный институт. Там он в течение пяти минут выяснил, что институт вообще садово-огородных участков не имеет. Но, может быть, Ревзин через институт выхлопотал себе участок в индивидуальном порядке? Но зачем Ревзину участок, удивились в институте, если у него есть дача в Валентиновке?

Ну, дела-делишки… Куржиямский приехал в отдел в полной растерянности и прямо прошел к майору Любовцеву.

— Я так напортачил, товарищ майор, что нет для меня меры наказания.

— Найдем такую меру, — обронил Любовцев. — Что случилось?

— Во-первых, у Ревзина нет огородного участка. Во-вторых, у Ревзина есть своя дача в Валентиновке. А разговор мой с Ростовцевым подтверждает все мои подозрения.

Майор помолчал, прикрыв глаза, потом сказал:

— Не похоже, Куржиямский, все это на вас, не похоже. Как вы объясните эти свои упущения?

— Да все это детали, которые непосредственно к эпизоду взятки Ревзина не относились. Был у него участок или не было — какая разница? Но все это всплыло, когда я стал думать о Ревзине шире его эпизода.

— А шире всегда надо думать в самом начале, — угрюмо заметил Любовцев.

Вот и пойми его: сам говорил — не лезь шире, оформи по стройбазе, а теперь — надо было шире брать в самом начале.

На другой день утром Куржиямский заехал в прокуратуру, нашел нужного ему прокурора и собрался рассказать ему о своих подозрениях, но узнал от него, что суд откладывается. Почему? Заболел единственный свидетель.

— А если между нами, — добавил прокурор, — то, по-моему, кто-то нажал. Интерес, по-моему, проявлен к фигуре Ревзина.

Куржиямский затаил дыхание.

— Разве с ним что-нибудь не ясно? — спросил он.

— Когда я знакомился с делом, — ответил прокурор, — у меня все время было такое ощущение, что Ревзин в этом деле случайно.

— У меня такое же впечатление, — вздохнул Куржиямский.

— Чего же вы его не потрясли?

— А он не трясется.

— Это бывает, — улыбнулся прокурор. — Ну да ладно, я ему и по этому делу не менее пяти лет буду испрашивать. В случае чего, потом довесим по другому делу...

Глава одиннадцатая

Продажу двух присвоенных автомобилей Сандалов производил через комиссионный магазин. Собственно, точнее сказать — не «через», а возле... Это была очень тонкая операция, так как машины официально не были зарегистрированы. Нужно было абсолютно точно знать, кому и сколько следует дать за дикую справку вместо техпаспорта, за подбор денежных покупателей с юга, за последующее фиктивное оформление всей сделки, и быть при этом уверенным, что никто тебя не продаст и не «объедет» при расплате. Сандалов провел тщательную разведку обстановки и вроде все сделал как надо. Он даже успел получить половину денег. Но он не мог знать, что под директором комиссионного магазина работниками ОБХСС уже давно была вырыта глубокая яма и они только ждали, когда он хоть чуть шевельнется. А именно он-то и помогал Сандалову. Директор сел. Сандалова месяц вызывали на допросы, он плел там подсказанную ловким адвокатом ахинею и не сознавался ни в чем, тем более в получении денег от покупателей, которые исчезли, будто в воздухе растворились... Но как раз в это время из республики приехал в Москву товарищ Ратуев, и постпред попросил его как-нибудь помочь Сандалову, объяснив ему, что речь идет о том самом человеке, который в прошлом году должен был помочь, в случае чего, его дочери.

Результат — приказ по постпредству: освободить Сандалова И. С. по собственному желанию в связи с состоянием здоровья, и Сандалова как не бывало…

Сейчас он ехал на юг без определенной цели, просто знал, что там тепло. Деньги у него есть, обременяющей семьи нет. И Сандалов пошел в вагон-ресторан. Единственная официантка спала, положив золотую голову на столик. Вокруг ее светящейся на солнце головы кружились мухи. В углу, где стоял похожий на иконостас буфет, с трудом бодрствовал молодой парень в белой курточке, с модными до плеч волосами, блестевшими не то от помады, не то от долгого немытья. Это был директор ресторана. Как только Сандалов уселся за столик, он подошел и представился. Они поздоровались за руку, необъяснимо почувствовав интерес друг к другу.

— Неужели правда, круглые сутки вкалываешь? — спросил Сандалов и пригласил директора присесть за его столик.

— Во всяком случае, поста не покидаем, — усмехнулся директор. — Таково передовое движение, зачатое нашими передовиками. Так это и называется — метод поездной бригады товарища Нагнибеды: чтобы пассажир, когда бы ему ни приспело поесть, мог сюда к нам пожаловать и увидеть, что мы тут все, как один, на посту.

— Сегодня ночью такие были? — поинтересовался Сандалов.

— А зачем им быть? Они ж не чокнутые, они ж еще вчера узнали, что у нас нет ни горячего, ни холодного, и бутылки взяли с собой. А у себя в вагоне, смотришь, проводница им что-нибудь и сварганит для закуски. Мы этот метод зовем Нагнибезеды… — Директор вдруг в голос рассмеялся, разбудив официантку, которая подняла голову и огляделась, увидев постороннего, села прямо, приободрилась.

— А почему же у вас ничего нет? — спросил Сандалов. — Кстати, я могу кофейку выпить?

— Ни кофе, ни чая нет. Не работает кипятильник. А ничего нет потому, что база не дала. Наша база в Симферополе, она дала кое-что на рейс до Москвы. Там должны были дать на рейс обратный, но не дали.

— А какой-нибудь воды тоже нет?

— Могу предложить... кажется, апельсиновая называется. Но недоглядел, — еще на базе в Симферополе подсунули двухнедельной давности... кислит малость. Пассажиры жаловались.

— Поди ты к черту! — резко вскочил Сандалов и покинул вагон-ресторан.

— Чокнутый, — вслух сказала официантка и снова положила на стол свою золотую голову.

Меж тем проводница уже вскипятила воду, у нее нашелся растворимый кофе, и Сандалов с наслаждением похлебывал ароматный напиток, смотрел в окно на далекие, все еще смутно видимые горы и думал уже о превратностях судьбы своей — это вообще, и о том, чем ему придется заняться практически...

Уволили его из среднеазиатского представительства по собственному желанию, в связи с состоянием здоровья. Эти дополнительные к обычным слова о здоровье вставить в приказ он упросил постпреда. Он еще не знал точно — зачем, но была какая-то туманная мысль, что он будет теперь устраиваться где-нибудь на юге. Ему вдруг захотелось тепла и чтоб зима тоже была теплая. Постпред сделал эту приписку без всяких разговоров. Господи! Сколько Сандалов сделал этому постпреду неучтимых услуг, если забыть об учтимых, чтобы он заартачился из-за трех лишних слов, никак не изменявших сути приказа?

А с такой выпиской из приказа можно устраиваться на любую работу, — куда именно, он решит на месте, в

благословенной Ялте. Сандалов спокоен: Ялта не была бы курортом, если бы там не требовались деловые люди. Хорошо бы устроиться по снабжению в крупный санаторий, принадлежащий какой-нибудь важной организации, что избавляло бы от необходимости биться за каждый килограмм мяса для столовой. Посмотрим, поищем и торопиться не будем. Сандалов прилег на койку и, незаметно для себя, уснул — издерганные нервы требовали покоя…

Когда вынырнул из сна, до рези в желудке почувствовал, как хочет есть. И снова пошел в ресторан.

Странное дело — вагон был полон и все что-то ели. Директор, увидевший Сандалова издали, позвал его к себе и усадил за служебный столик.

— Что едят эти люди? — полюбопытствовал Сандалов.

— Утром проснувшись, повар обнаружил какой-то фарш, и пошли тефтели. Но не советую… по-дружески.

— Допрыгаетесь вы вместе с поваром, — покачал головой Сандалов. — А если кто напачкает в жалобной книге?

— Никто не пачкает, и жалобная книга бела, как фата невесты.

В это время за спиной Сандалова послышался веселый сипловатый голос:

— Не можно ли к вам?

Сандалов оглянулся — перед ним стоял могучий мужчина, рыжеволосый, с обожженным солнцем круглым лицом и со звездой Героя Социалистического Труда на мятом лацкане пиджака.

— Прошу, прошу, — улыбнулся ему Сандалов.

Мужчина протиснулся за стол и сел, заполнив все пространство над и под столом. Он хотел пива. Официантка, глядя в окно, где пролегала зеленая, уже предкрымская равнина, сказала, что пива нет и не

будет. Мужчина наклонился к директору ресторана и что-то тихо сказал ему.

— Ладно уж, отдам то, что для себя держал, — печально сказал директор. — Только этикетки придется ободрать, народ кругом глазастый.

На столе появились три слепых бутылки с пивом, у мужчины оказался свой жирный рыбец…

Игорь Савельевич знал десяток способов знакомиться, не давая при этом никаких конкретных сведений о себе. В данном случае он применил не самый сложный и узнал, что перед ним — председатель колхоза Василий Михайлович Степовой, который едет в Симферополь разведать насчет запчастей к грузовому автотранспорту.

— Деньги, понимаешь, на это есть, — говорил он уже вполне доверительно и на «ты». — Если правду сказать, сколько хочешь денег есть, мой колхоз миллионер, а запчастей этих нет, и нет человека, который бы их достал. Действительно же с запасными частями чуть не каждый год — беда. И не от хорошей жизни отправился он в это путешествие. Нынче у него в колхозе под реальной угрозой срыва своевременный вывоз урожая с поля — десяток грузовиков с крайне изношенными двигателями.

— Если вы действительно хотите иметь при себе делового человека и можете его прилично обеспечить, я вам такого человека дам… — сказал Сандалов, глядя в выгоревшие глаза председателя колхоза и совершенно не зная, кого он имеет в виду, просто его безотчетно тянуло к таинственным своей неизвестностью колхозным деньгам.

— Обеспечу по-царски, но только чтоб не проходимец какой.

Сандалов усмехнулся:

— Почему вы решили, что я дружу с проходимцами?

— Да чего там? Дело житейское, всякое бывает, — ответил Степовой и многоопытно глянул на Сандалова. — Тебя бы я взял не разговаривая.

— Какую же вы должность даете? — поинтересовался Сандалов, вдруг подумав, а не рвануть ли в колхоз ему?

— Какую хошь. Кроме председательской, и то только потому, что она выборная. Хо-хо-хо, — хохотнул Степовой, всматриваясь в Сандалова, отчего тот невольно съежился. — Да разве в должности дело? А зарабатывать будет солидно. Подпишем обоюдовыгодное трудовое соглашение. Положение у меня такое: те запчасти стоят сотню рублей, а я готов платить за них тысячу, потому что, имея их, я в срок возьму урожай, а это уже сотни тысяч. Так что я его ласкать буду, как родного сына. Через год ему дом построю — честное, слово. И служить-то ему надо не от звонка до звонка, а только когда будут командировки. Такому человеку денег не пожалею — клятву даю.

На вокзале в Симферополе они расстались. Степовому нужно было ехать в город искать пристанища, а Сандалов отправился в Ялту.

И сразу же в гостинице — первая неприятность. Он передал привет администратору от Бориса Михайловича и протянул паспорт со вложенным в него четвертным билетом:

— Что-нибудь получше, если можно.

— Вы по командировке? — спросил администратор, возвращая с невозмутимым видом двадцатипятирублевку.

— Жена командировала отдохнуть, — весело ответил Сандалов, напряженно глядя в глаза администратора — что это, милый, с тобой? И демонстративно положил деньги на стол.

— Сейчас нет ничего, даже койки в общежитии.

«Странное дело», — досадливо и удивленно думал Сандалов. Что ему, деньги, что ли, не нужны? Или, может, был сбоку чей-то глаз? Да нет, он специально подошел к стойке, когда никого поблизости не находилось. Странное дело… «Нет, дорогуша, вечером я к тебе не приду. Но хорош Борис Михайлович, сказал, что за четвертной он отдаст целый этаж. Разыграл, что ли? Ничего себе шуточки».

Сандалов направился в другую гостиницу. Здесь за стойкой сидела полная женщина — яркая блондинка, с высокой, как ведро, прической, отчего она голову поворачивала медленно и плавно.

— Мне нужен хороший номер, — улыбаясь сказал Сандалов.

— Всем нужен, — последовал ответ.

— Но мне — больше всех, — Сандалов решил вести разговор на юморе.

— Как вы это докажете? — сладко улыбнулась блондинка.

— Прошу.. — Сандалов отдал ей паспорт с той же двадцатипятирублевкой.

Она заглянула в паспорт, положила его в стол.

— Вот опросный листок. Заполните и приходите через час, — будет отъезд.

Спустя час все было в порядке.

Утром он валялся в постели, слушая говор и смех улицы, и размышлял о волшебной силе денег — его всегда посещали эти мысли, когда у него были деньги. «Они там долдонят — оплата по труду, оплата по труду, а деньги меж тем сильнее их долдонства, и, когда они у тебя есть, тебе все доступно без всякого труда».

В это утро, плотно позавтракав, Сандалов вышел на улицу, подошел к киоску, торговавшему всякой курортной утварью, и спросил противосолнечные очки, какие получше.

— А что значит получше? — услышал он за своей спиной мужской голос, показавшийся ему знакомым. — Чтобы вовсе ни хрена не видеть? Сандалыч, ты ли это?

Перед Сандаловым стоял, оскалив громадный рот с великолепными зубами, его давний знакомый еще по жилищно-строительному кооперативу взяточников — Борис Борисович Гонтарь. Он действовал тогда в роли отыскивателя денежных людей, готовых дать взятку за площадь в кооперативе; хитрый как черт, он ушел тогда от суда с завидной ловкостью…

Они поднялись на крытую веранду ресторана «Сочи» и выбрали себе столик в сумрачной глубине зала, за оркестровой площадкой.

Вот так они и сидели, поцеживая холодный кофе и ведя тихую беседу. Между прочим, Гонтарь, увидев Сандалова возле сувенирного киоска, подошел к нему только потому, что подумал, не придумают ли они вместе что-нибудь хорошее? Как тогда, в Москве, с тем жилищно-строительным кооперативом? Заметим для памяти, как движутся жулики по своему тесному кругу!

…Борис Борисович Гонтарь был жуликом такого же покроя, как и Сандалов, — его гнал вперед неосознанный протест против всего, что составляло принципы нашей жизни, и главным образом против принципа оплаты по труду. Он, как и Сандалов, требовал для себя исключения. Этот бунт начался в нем с детства, и его подготовили родители: отец, популярный адвокат по гражданским делам, и мать — непроходимо глупая женщина, наделенная, однако, бешеной энергией. Сам Борис Борисович говорил про своих предков с грустной усмешкой: «Отец — трудяга-вол — был женат на кнуте, который круглые сутки хлестал его по спине».

«Наш Боря — исключительный мальчик» — эта уверенность мамы Гонтаря каждый день превращалась

в дикую энергию, направленную только на то, чтобы ее уверенность разделило человечество. Горе тому, кто подвергал это сомнению. Директор музыкальной школы, позволивший себе заявить, что у мальчика нет даже намека на музыкальный слух, потом целый год отписывался от заявлений мамы и телефонных звонков именитых клиентов папы. Зато тренер школы фигурного катания на льду, который увидел-таки в мальчике будущую олимпийскую звезду, смог выгодно поменять квартиру. Спустя полгода Боря, пытаясь выполнить на льду фигуру, какую могут делать грудные дети, растянул ногу, и на том его фигурное катание закончилось.

Первые уже сознательные детские годы Борис был бессловесным рабом маминой убежденности в его гениальности и беспрекословно то надевал коньки, то ходил в Планетарий на кружок юных космографов, то изучал с педагогом английский язык, — как считала мама, самый нужный в наше время язык. В школе он дважды оставался на второй год, но к восьмому классу, несмотря ни на что, уже и сам поверил в свою исключительность. Сказать точней, не в это, а в его исключительное право жить так, как он хочет.

О том, что так жить нельзя, его пытались убедить работники милиции, школы, домового комитета при ЖЭКе и, наконец, папа, который однажды сказал ему тихим голосом: «Ну, брат сын, ты все-таки чего-то недопонимаешь». И услышал в ответ: «А может — ты?» В это время вошла мама — она вернулась из милиции, куда ее приглашали…

— Я дойду до правительства, — сказала она, швыряя шляпку, — но эти милицейские хамы узнают у меня… — Чт *о* они узнают, она не уточняла, но чувствовалось — нечто страшное…

Однажды, а точнее, в год, когда Борис получил аттестат зрелости, домашняя его жизнь взорвалась:

отец ушел к другой женщине, конечно же молодой мерзавке. Мать добилась, что мерзавка за моральное разложение и разрушение советской семьи была уволена с работы. Взялась она и за своего бывшего мужа. Но тут развернуться не успела: ее свалила тяжелая болезнь, и вскоре она умерла.

Появился отец. Маму похоронили. Отец с новой женой вернулся в свою квартиру, а Борис переехал в однокомнатную квартиру молодой мерзавки. Кроме того, он получил от отца сберкнижку на предъявителя с весьма солидным вкладом и юридически оформленное право на дачу, которую отец тут же у него купил.

Восемнадцатилетний, непонятно миновавшим армию, Борис Гонтарь остался один со своей исключительностью, которую он первое, время мог подтвердить только с помощью своей сберкнижки. Что он и делал, собрав возле себя компанию какой-то особой «родовитой» шпаны, устраивая пьяные оргии у себя дома и в столичных ресторанах. Когда это оканчивалось скандалом, он звонил отцу, и тот, боясь, что сыновние похождения отзовутся на его адвокатской карьере, гасил опасные протоколы. Так Борис Гонтарь выяснил, что он не только исключительный молодой человек, но еще и ненаказуемый…

И все же однажды отец ничего сделать не смог — Борис оказался замешанным в дело об изнасиловании школьницы, которая затем отравилась. Главный участник преступления был приговорен к расстрелу. Бориса спасло только то, что он, свински пьяный, не смог добраться до тахты. Он получил четыре года.

Вернулся он в Москву уже двадцатичетырехлетним и, что удивительно, заметно поумневшим. Он уже не говорил и даже не думал о своей исключительности, хотя, как прежде, не хотел жить по закону для «бескрылых». Теперь он утверждал, что главный секрет жизненного успеха в умении делать деньги.

Вскоре возвратился к свободной жизни лагерный дружок Бориса по имени Кеша, и они организовали в Москве небывалое дело — стали поставлять тексты для поездных певчих нищих, которых после войны расплодилось великое множество. Борис поселился в писательском дачном поселке Переделкино, снял у какой-то литературной вдовы комнату, перезнакомился со всеми пьющими поэтами, и, очевидно, они ему и набрасывали в застолье тексты вроде «Искалечен войной, но вернулся домой...». За тексты Кеша с Борей получали разовый гонорар, а затем еще и авторские, в зависимости от успеха песни и ее долголетия. Авторскими сборами с певчих занимался Кеша, в распоряжении которого была шайка отпетых подростков из безнадзорных, которые заодно вылавливали и нещадно били незарегистрированных певчих и следили за соблюдением распределения зон обслуживания поездов. Иногда в ревизорские поездки по подмосковным дорогам отправлялся сам Гонтарь — он считался главой фирмы, — и тогда впереди него во все стороны от столицы, вместе с поездами, летел грозный слух: «Сам грибастый на линии!» Можно, конечно, посмеяться по поводу этой «фирмы», но Гонтарю и Кеше она давала деньги, и они жили припеваючи..

Однажды группа обобранных Кешей нищих написала заявление в милицию: так, мол, и так, что это за самозванцы, захватившие все железные дороги и грабящие инвалидов? В милиции долго не могли понять, есть тут какое нарушение или его нет. Но на всякий случай послали милиционера на дачу, где жил Гонтарь. Пришел к нему пожилой милиционер, сам недавний солдат, и попросил объяснить, на какие средства он существует.

— Я сочиняю песни, — гордо подняв голову, ответил Гонтарь. Он попросил милиционера присесть, снял со

стены старенькую обшарпанную гитару и, шевельнув ее чуткие струны, запел самое любимое свое творение:

Вражье пламя глаза мои выжгло,
Погрузился я в вечную ночь…

Пожилой милиционер уходил от Гонтаря поздно вечером, осторожно ступая не очень твердыми ногами, и все еще глотал слезы. А назавтра он совсем не уставно докладывал начальнику отделения:

— Такой человек… такой человек…

— А почему он не военнообязанный? — спросил начальник, тоже недавний военный, у которого главным мерилом надежности было пребывание человека на военном учете.

Пожилой милиционер показал пальцем себе на висок:

— С головой у него что-то…

— Поет, говоришь?

— Не просто поет, душу наизнанку выворачивает..

— Да, скорей всего, псих…

На том донос на фирму и заглох.

Но вскоре Кешу опять посадили: заскучав на нищенском деле, он вместе с каким-то подсобником на железнодорожной товарной станции в порядке развлечения украл ящик французских духов египетского изготовления, операция сошла не гладко, произошел частичный бой продукции, и Кешу нашли по запаху.

Гонтарь погрустил немного без Кеши и, поскольку доход от нищих заметно падал, ринулся в новую сферу деятельности, подсказанную, кстати, Кешей. Он стал московским представителем группы «деловых людей» в Грузии…

Как только на московских черных рынках стали появляться привезенные из Италии плащи «болонья» и покупатели кинулись на них, как голодные тигры на ягненка, «деловые люди» в Грузии задумались: как сделать «болонью» самим? Над этим задумались очень крупные головы.

Вместо того чтобы созывать по этому поводу широкое или узкое совещание, а то и симпозиум, они послали человека в Москву к своему человеку, Борису Борисовичу Гонтарю, — нельзя ли технологию «болоньи» провернуть в Москве?..

И тут Гонтарь удивил даже грузинские умные головы, которые ничему не удивлялись... А дело в том, что как только Гонтарь узнал, что от него хотят, он вдруг вспомнил, как его отец вел дело какого-то старичка против какого-то министерства, затоптавшего его изобретение клея для склейки мануфактуры. Гонтарь знал, что отец в толстом гроссбухе записывал все свои дела, эта книга случайно сохранилась, он быстро отыскал в ней запись «Дело о мануфактурном клее», где была и фамилия и адрес изобретателя. И даже сколько с него получено.

Гонтарь бросился в электричку и через час был в Тарасовке, на Первомайской улице, в ветхом домике, где жил тот самый старичок...

— Нет правды на земле, — печально заявил старичок, прижав к груди маленькие ручки. И рассказал печальную эпопею своего клея. — Это же так важно, так важно, — даже всхлипнул он. — Дождевик леснику или пограничнику. Прекрасный материал, капли воды не пропустит по шву, потому что шва-то нет, вместо него — склейка. — Старичок полез в сундук и извлек оттуда два разноцветных куска мануфактуры, склеенных его клеем. Он дал их Гонтарю и вдруг крикнул тонким голоском: — Рвите! Разорвите! Попробуйте!

Гонтарь рванул раз, рванул два — тщетно…

Уже на следующий день Гонтарь самолетом отправил в Грузию старичка с его волшебным клеем.

С этого начались тбилисские «болоньи», сильно опередившие государственные. Тбилисские «болоньи» дали умным головам солиднейший доход, а государственные «болоньи» потом, гораздо позже, заполнили до крыш склады и так там, говорят, и лежат… Гонтарь за эту операцию тоже получил немало.

Но затем последовало нечто страшное: он влез в «золотое» дело. Однажды его разыскал весьма почтенный на вид мужчина, которому будто бы порекомендовали его в Грузии как надежного и головастого человека. Эту рекомендацию Гонтарь опровергать не стал. О себе почтенный ничего не сказал, только с улыбочкой на своем дородном красивом лице попросил звать его дед Платон, хотя, вообще-то, до деда ему было далеко, седые волосы не в счет… Он предложил выгоднейшее дело, но суть его объяснять не стал, тем более что Гонтарю в нем отводилась весьма маленькая и пассивная роль: с заранее назначенного дня он должен был в течение десяти дней с 14 до 17 часов находиться дома, принесут к нему чемодан, который спустя два часа возьмут. И все заботы. То, что дело связано с золотом как таковым, Гонтарь поймет позже…

Все затем закрутилось так быстро, что Гонтарь не успевал сообразить, что там было к чему. Чемодан принесла дама, Гонтарь даже не увидел толком ее лица. Поставив чемодан в передней на пол, она стремительно ушла. Но тут же началось неладное… Часа не прошло, явился сам дед Платон — лицо белое, как волосы. Беда, говорит. За тем, кто должен вот-вот прийти за чемоданом, слежка, и предупредить его невозможно. Что делать? У Гонтаря мозг заработал, как счетная машина.

— Вы сами засвечены?

— Исключено.

— Тогда берем чемодан и уходим, опережая того, за которым слежка.

— Но его же возьмут у дверей вашей квартиры.

— Ну и что? Я этого человека не знаю, а я не могу отвечать за каждого, кто подойдет к моим дверям. Нечего терять минуты — берите чемодан. — Гонтарь все же решил, на всякий случай, к чемодану не притрагиваться.

Они вышли из дому, без всяких осложнений перешли улицу и спустились в метро.

Что произошло потом с тем чемоданом и со всей операцией, Гонтарь не знал и не знает до сих пор. Но для него тогда образовалась, по мнению деда Платона, очень грозная ситуация. Сам он тоже был встревожен не на шутку и скрывался у какого-то своего приятеля, даже Гонтарю свой адрес не сообщал.

Гонтарь решил, что, очевидно, дед Платон в одиночку распорядился чемоданом, и теперь боялся мести грузин. Но с ним дед вроде был честен: за ничто дал крупную сумму и стал советовать, как лучше ему скрыться. Гонтарь сказал, что на время уедет из Москвы куда подальше. «Они вас знают и найдут везде, — ответил дед Платон. — Вам лучше всего спрятаться в тюрьме». Вот тебе и раз — у Гонтаря глаза на лоб и грибастый рот распалился. Но дед Платон спокойно объяснил, что так в подобных обстоятельствах делают.

— А как же это я сам попаду в тюрьму? — не понимал Гонтарь.

— Очень просто, — невозмутимо ответил дед. — Вы пройдете по вшивому воровскому делу, а в Грузию я подброшу сведения, что вы сели по делу ихнему. Сидеть будете по документам чужим. Так что после вам это не повредит. А главное, сидеть придется без году неделю — когда все притихнет, я вытащу вас из

колонии в два счета, и вы вернетесь к немалым деньгам, которые у вас есть. Полная гарантия…

Гонтарь сам не знает почему, но во все это поверил. Уже под именем Георгия Ивановича Томака влез он в уголовное дело с кражей часов на заводском складе, по которому получил четыре года. Но вскоре дед Платон выручил его из колонии, и сейчас, снова став Борисом Борисовичем Гонтарем, он, ожидая весточки от деда Платона, томился без дела в благословенной жемчужине Крыма Ялте…

В эти дни в Ялте было душно, нечем было дышать даже здесь, на продуваемой морским ветром веранде ресторана. Гонтарь расстегнул рубаху.

— Последние два года я вкалывал на Дальнем Севере, — врал он, поглаживая ладонью волосатую грудь и не сводя прицельного прищура с Сандалова. — С полярными надбавками заработок был вполне ничего, тем более тратить деньги там некуда. Привез их сюда.

— На Север-то как угораздило? — осторожно и сочувственно спросил Сандалов.

— По вербовке… чисто по вербовке, — поспешно ответил Гонтарь. — Не поверишь, кем я там был! Замдиректора автобазы по эксплуатации, — Гонтарь выпятил нижнюю губищу.

— Господи, техника же! — испугался за друга Сандалов.

— Автомобиль не техника, в Америке старухи на нем гоняют, — пренебрежительно махнул рукой Гонтарь. — Спустя два месяца я знал эту технику лучше директора, хотя тот и кончил какой-то техникум… — Гонтарь помолчал, смотря в знойно сверкающее море. — Ну а ты как?

Сандалов пожал плечами:

— В общем, нормально. Тоже надо вот отдохнуть…

— Ясно, — кивнул Гонтарь и ничего больше не выспрашивал, не полагается, мало ли что с человеком было, захочет — сам расскажет. Но Сандалов не хотел, по крайней мере сейчас.

Они помолчали, прислушиваясь к веселой музыке, доносившейся от стоявшего на причале лайнера.

— Давайте-ка пообедаем, — предложил Гонтарь.

Официант попался им понятливый, — обслуживал, как богатых клиентов «Интуриста», был улыбчив, быстр и на все вопросы отвечал свистящим шепотком «сделаем-с».

Выпивали очень скромно и в ожидании второго опять заговорили о делах. Сандалов сказал задумчиво:

— Знаешь, где теперь денег невпроворот? В колхозах.

— Предлагаешь пойти в пахари? — рассмеялся Гонтарь.

— Не смейся раньше времени, — совершенно серьезно посоветовал Сандалов.

Счет, поданный официантом, вызвал подозрение, Сандалов хотел было сделать проверочку, у официанта сразу опрокинулось и посерело лицо, но Гонтарь сказал:

— Оставь… Пусть он этим трояком подавится, но нас запомнит. Верно, служивый?

— Да господи… приходите… Спросите Вову, и все будет сссделано-с…

Здесь, в Ялте, они встречались почти каждый день и от нечего делать обсуждали, как вынуть деньги из колхозов, но так ничего толком не придумали.

Вскоре Гонтарь отправил по условному адресу в Москву, деду Платону, красивую цветную открыточку с видом висящего над морем «Ласточкина гнезда», в которой сообщал, что со здоровьем у него все в порядке, но одолевает тоска.

Остается только заметить, что дед Платон — это не кто иной, как уже известный нам Александр Платонович

Ростовцев... Узок круг. Узок.

Часть вторая

Глава двенадцатая

Ранним январским утром Михаил Борисович Лукьянчик шел по главной улице города Донецка, шел, точно плыл в серой мути дождя и снега. Были зажжены уличные фонари, и трудно было понять, вечер сейчас или утро. На Лукьянчике было кожаное пальто, в отблесках фонарей казалось, что его фигура вылита из металла. Повернув, как ему объяснили, с главной улицы, он вскоре уже входил в здание донецкой областной «Сельхозтехники».

— Скажите, пожалуйста, где тут искать товарища Залесского? — обратился он к девице в брючном костюме.

— Второй этаж, в самом конце, — на бегу ответила она.

И вот дверь с табличкой:

«Ю. Я. Залесский»

Должность не указана, но Лукьянчик знает, что такие таблички рядовым работникам на двери не вешают. Постучался и услышал приглушенно:

— Прошу.

Лукьянчик вошел, у порога стряхнул с шапки снег и воду, спросил:

— Вы Юрий Янович Залесский?

— Совершенно точно. Чем могу? Да проходите же, садитесь.

— Вам сердечный привет от Семена Григорьевича Глинкина, — негромко, но четко произнес Лукьянчик.

У Залесского только одна бровь чуть дрогнула, он вопросительно смотрел на посетителя и молчал. А

Лукьянчик в это время разглядывал его… Ему лет пятьдесят, голова в густой шапке волос, круто изогнутые брови сходятся на переносице. Лукьянчик заметил, что у него маленькие, как у ребенка, уши, и, наверно, от этого он спускает на них волосы… Черты лица грубые, будто резцом вырублены.

— Где сейчас Глинкин? — спросил Залесский, исподволь присматриваясь к Лукьянчику.

— Не знаю. Из Южного его отправили по месту его первого дела.

— В Брянск? — поднял брови — не то удивился, не то обрадовался — Залесский и, помолчав, сказал задумчиво: — Да… там, в Брянске, мы ему тогда сильно помогли, можно сказать — из-под меча его голову вынули. Придется все начинать сначала — я у него в долгу как в шелку. А вы откуда прибыли?

— В смысле… — замялся Лукьянчик.

— Да, да, в смысле, — рассмеялся Залесский. — О том, что вы были предрайисполкома в Южном, я осведомлен. Так откуда?

— Из Якутии.

— Срок вышел?

— Должен сказать, что на этот счет и я в долгу у Семена Григорьевича, у меня не было срока. Сняли с работы, исключили из партии, и мы с женой уехали к ее родителям в Якутию. Ее отец имел шесть лет, а теперь на свободе, работает завскладом в леспромхозе.

— Ничего, мы Семену Григорьевичу Глинкину вернем все долги… вернем, — Залесский хлопнул ладонью по столу, будто печать поставил, и спросил: — А как же вы обошли суд?

— Я бы не сумел, — признался Лукьянчик. — Все Семен Григорьевич.

— Ну-ну… А как же? Как?

— Во-первых, у них не было против нас крепких улик. Во-вторых, Семен Григорьевич придумал

выдвинуть встречный счет.

— То есть?

— Что, мол, сами городские организации частенько совершают некоторые незаконные действия или предлагают совершать другим. Скажем, приезжает какая-то делегация — пожалуйста, выполняйте разверсточку, с кого сколько на ее обслуживание и на подарочки гостям. А откуда на это брать деньги? Я припомнил, когда и кто давал мне указания предоставлять жилплощадь в обход очереди… Ну, и всякое другое.

Залесский всплеснул руками и принялся беззвучно хохотать, придыхая:

— Ну нахал Семен, ну нахал… — а отсмеявшись, спросил: — А если бы они вашего встречного иска не испугались?

— Думаю, было бы плохо…

— Сверчевский в этом участвовал?

— Ну как же, он же и у нас в исполкоме юристом работал.

— Это наверняка он придумал! — воскликнул Залесский. — Вот голова, надо сказать. Где он теперь?

— Вокруг него тоже затеплилось — раскрыли бабу из тюремной охраны, через которую он связывался с нами, он тут же уволился и куда-то уехал.

— Ничего — объявится, нам он еще будет очень нужен… — Залесский помолчал, глядя на Лукьянчика. — Ну что, будем теперь действовать вместе? Поработаем? — спросил он.

— Надо, — кивнул Лукьянчик.

— Ну что же, пока дозреет одно дельце, будете работать у нас в «Сельхозтехнике»… Где семья?

— Жена и дочь в Якутии у тещи.

— Оформитесь и сразу вызывайте семью, семейному всегда веры больше и квартиру скорей дадут.

— А где… что я буду делать? — спросил Лукьянчик.

Залесский сверкнул на него взглядом из-под сдвинутых бровей, не ответил и заговорил о другом:

— Я думаю — оставлять ли вам старую фамилию? Как вы думаете? — И, не ожидая ответа, продолжал: — Оставим старую. Не такой уж вы вождь мафии, чтобы вам делать пластическую операцию, не так ли? И не Райкин, которого все знают. Надо вообще не думать об этом и заполнить личный листок учета кадров — вот он. — Залесский достал из стола анкету и протянул Лукьянчику.

— Последнюю службу указывать?

— Нет. Что было до нее?

— Начальник строительного управления.

— Подходит. Продлите эту службу, напишите, что строил, главным образом, на селе и освобожден от работы за то, что просмотрел допущенные прорабом приписки, — сразу пойдете у нас за открытого и честного человека. И вообще, из истории в Южном комплекса не делать и смотреть вперед чистыми глазами.

Лукьянчик отдал заполненную анкету и направился в гостиницу.

Залесский в это время уже разговаривал по телефону с Москвой:

— Александр Платонович, явился тот герой из Южного… Сгодится… Правда, сейчас он не совсем в форме, и это меня малость тревожит, так как у него только и было беды, что над ухом из хлопушки выстрелили… Ну ничего, обвыкнется, посмелеет… Кстати, знаешь, что у Глинкина?.. — Залесский выслушал ответ, тяжело вздохнул: — Жалко его… Я его не хороню, а жалею… Хорошо, за мной дело не станет… В общем, не пора ли начинать, жду распоряжений. Пока.

…Номер в гостинице достался Лукьянчику с окном во двор — темно и вдобавок холодно. Не зажигая света, не раздеваясь, он лег на постель. Последнюю ночь в Якутии он провел без сна на аэродроме, во время полета не мог сомкнуть глаз, ему отчего-то было страшно, а минувшую ночь маялся в общем жестком вагоне поезда. Сколько ни бился, не мог заснуть и здесь. Во дворе гостиницы кто-то звонко лязгал железом — будто ударит молотом по рельсу и ждет, пока звук, пометавшись во дворе, замрет, и тогда снова ударит.

А раз нет сна — думаешь. И он думал… Ему захотелось найти в своей жизни то место, где он сделал сбивший его с пути роковой шаг. Он как бы медленно шел по следам собственной жизни, иногда останавливался — не здесь ли? Придирчиво припоминал, как все было, и приходил к выводу, что тут он поступил правильно, и шел дальше. И только по поводу двух моментов своей жизни он остался не очень уверен, что его решение там, в далеком уже прошлом, было единственно правильным.

Первый момент — это вступление в партию. Может, все-таки не стоило? Пошла бы жизнь совсем иная, без оглядки на это звание и без того, что однажды требуют положить партбилет на стол и потом в течение часа обзывают тебя всякими грязными словами и надо молчать. У него прямо в ушах стоит жестяной голос секретаря горкома Лосева: «Вы пробравшийся в партию гнусный вор, вонючий взяточник!»

В самом деле, без этого красного билета жить было бы полегче, рассказывают, только когда-то, в двадцатые годы, партбилет определял всю судьбу человека. Но, с другой стороны… Что с другой стороны? — переспрашивает он себя. Что? Может, за всю жизнь один раз тот билет и пригодился, когда его в исполком выдвигали. До того он, несмотря ни на что,

ходил в передовиках стройки, в этом билет не помогает, тут надо было вкалывать и еще надо было ловчить, а в этом билет снова мог стать помехой… Ну хорошо, партбилет вознес его на пост председателя райисполкома, а что это — медовый пост? Оклад как у директора универмага, а ответственности и неприятностей как у министра. В общем, выходило, что вроде бы вступать в партию было совсем не обязательно; во всяком случае, без этого жил бы он вольготней и спокойнее. Но ничего, теперь он будет жить уже без этого…

Второй сомнительный момент — женитьба. Пожалуй, жениться ему тогда было не нужно. Поточнее будет так: если бы с ее отцом не случилось беды, тогда и женитьба могла стать во всех отношениях полезной. И счастливой. Но тесть рухнул буквально в первую брачную ночь молодых, и конечно же, как потом вокруг ни старались делать вид, что он, Лукьянчик, тут ни при чем и, можно сказать, на чужих похоронах плакальщик, а все же с жизненными планами, которые тогда проклевывались, пришлось расстаться. Он лишился даже права покапризничать, получая распределение. Сказали — в Южный, он и глаз не поднял. А там уже все надо было решать, полагаясь только на себя и помня, что на руках у тебя дочка посаженного за решетку проректора. Словом, женитьба жизни ему не облегчила. А был, между прочим, другой вариант — дочка генерала; правда, она не такая красавица, как Таня, и была куда постарше и замужем успела побывать, но жил бы он у того генерала за спиной спокойно, как в крепости… Лукьянчик думает еще, что лучше всего было бы вообще не торопиться с женитьбой, пожить сперва в одиночку, положить крепкий фундамент судьбы, а потом уж и жену взять по самому строгому выбору.

Крах тестя нанес удар и по особой голубой мечте Лукьянчика — он хотел заиметь службу, связанную с поездками за границу. У него были знакомые с такой службой, и были они вовсе не боги, такие же, как он, люди. Их рассказы о том, как там все за рубежом на самом деле, он слушал затаив дыхание и со жгучей завистью представлял себе всякие дешевые универмаги, ломящиеся от изобилия товаров, или всякие там важные приемы, когда все в черных костюмах пьют коктейли с роскошными дамами…

Глаза тринадцатая

Гонтарь и Сандалов осенью вернулись в Москву, все-таки решив попробовать добывать деньги из колхозов. Эти деньги казались им почти беспризорными, а значит, думали они, глаз за ними не строгий. Они еще не очень ясно представляли себе, как это у них получится, но почему-то были уверены, что ничего особенно трудного их не ждет.

Гонтарю однажды приснилось, что колхозные деньги лежат у председателя колхоза в незапертых ящиках письменного стола и тот даже не знает точно, сколько их у него там. И что председатель укладывал его на ночь спать на диване в том же кабинете… Гонтарь верил в сны.

У них уже был первый клиент-заказчик, председатель колхоза Степовой, с которым Сандалов познакомился в поезде. Они написали ему деловое письмо — мол, может быть разговор насчет запасных частей. Но нужно было, черт побери, знать, где для этих колхозов берутся запчасти, которые им так нужны. Это пока являлось для них темным лесом, и, как они в этом лесу сориентируются, знал один бог. Однако надо было действовать.

Гонтарь каждый день отправлялся на Выставку достижений народного хозяйства и искал там председателей колхозов и механизаторов. Выспрашивал у них, как им доставляется техника, от кого и где они ее получают.

В Москве стояла дождливая погода, и Гонтарь, если чувствовал в ком из своих новых знакомых хоть маленькую перспективу, звал их в ресторан, которые тут на каждом углу:

— Особенного ничего не предложу, но грамм по сто пятьдесят с огурчиком обеспечу.

Ему отвечали:

— Денег у нас хватит, а разве тут есть... с огурчиком? — Эти люди приехали на выставку по делу и об увеселительных ее аттракционах не знали.

За водочкой Гонтарь вел разговор осторожно, и всякий раз его поражало и даже трогало, как доверительно и тепло относятся эти деревенские люди к городскому человеку, который только заикнулся, будто он интересуется их делами, как охотно они делились с ним своими радостями и бедами…

В этот день он посетил павильон, где демонстрировались успехи льноводства, и познакомился там с молодым бригадиром льноводов из Белоруссии Клычковым, на груди у которого блестел новенький орден Ленина. Заговорили о том о сём, и вдруг Клычков спросил:

— А ты не знаешь, случаем, где автомобильное министерство?

— Знаю. А что?

— Письмо туда вручила мне односельчанка, родственнику своему, он там работает.

— Могу передать, это — рядом... — У Гонтаря заколотилось сердце — ну вот же, никогда труд даром не пропадает, открывается возможность зацепиться за так нужное им министерство. Они зашли в шашлычный

павильон, захватив с собой бутылочку коньяку. После дождя на улице там было хорошо — тепло, пахло жареной бараниной и луком, в динамиках гремела музыка. Они чокнулись и выпили. Впрочем, выпил только Клычков, а Гонтарь ловким движением руки, перед тем как вскинуть стакан ко рту, выплеснул коньяк на пол.

Гонтарь решил вернуть разговор к письму, когда коньяк уже кончался.

Клычков достал из кармана письмо и бросил его на мокрый стол:

— Ннна… Чтоб я это письмо вез… черт попутал… этому сволочу Семеняку. Бери его, отдай товари… нет, гражданину Семеняку и пошли его от моего имени куда подальше. Сделаешь?

— А куда у вас в Белоруссии следует посылать сволочей? — смеялся Гонтарь, пряча письмо, необъяснимо уверенный, что в этом письме скрыта удача…

— В милицию, вот куда! — Клычков ударил кулаком по столу — подскочила на столе посуда, зазвякала, на них стали оглядываться.

— Как бы нам не попасть в милицию раньше твоего Семеняка, ты все ж посуду не бей… И вообще давай кончать, уже темнеет.

Они вышли из павильона под дождь и направились к главным воротам выставки.

— Я тебе еще за того Семеняка скажу, — совсем трезво заговорил Клычков. — Ты хороший мужик, чтоб и ты об него не обмазался.

— Да что он мне? Отдам письмо, и до свидания…

— Погоди, дай сказать… Значит, гражданин Семеняк. Родом он наш — свищевский, но только по названию… А живет всю жизнь в Москве… Отец у него какая-то шишка в авиации. Но не в отце дело, а в деде… Дед его у нас в деревне, когда немцы были,

ходил с обрезом и был главный староста… Убивцей он, правда, не был, однако вместе с теми немцами деру дал… И оказался аж в Канаде… и можешь подумать? Он там помещиком стал. Ей-богу! — Клычков даже перекрестился. — Ну, не гад ли? И вдруг, прошлым летом, заявляется в нашу деревню — здрасте, пожалуйста, — он иностранный турист. Ей-богу… Поселился у бобылихи одной — той все равно, кто у ней живет, хоть козел, только б деньги платил… А вся деревня ни-ни… Ни кивка тому туристу, ни здрасте. На второй день он и уехал. Даже к сестре своей жены не зашел…

— А для чего ж он приезжал? — полюбопытствовал Гонтарь.

— А черт его знает… Бобылиха, у которой он жил, говорила, что он в Москве у своих был. Подарки внучку свез… Да, а письмо это пишет как раз сестра его жены…. старая она очень, еле ходит. Бедствует, а московская родня и пальцем для нее не шевелит. Ты постыди этого, кому письмо.

Это была шикарная удача! Шикарнейшая!

Но полноте, удача ли? А может, результат планомерной работы? Находят лишь тогда, когда ищут!

Дома Гонтарь прочитал письмо, написанное карандашом, таинственными каракулями, но Гонтарь разобрал все. Письмо было коротким:

> «Сема. Пишет тебе поклон родная сестра твоей бабушки Дарья. Годы все вышли, а смерть не берет… на зиму теплого нет, пришли чего, а лучше денег 20 рублей, обойдусь тогда… Был твой дед, ко мне не пришел, и не надо.
>
> Остаюсь ждать
>
> *Дарья Никифоровна».*

Теперь нужно было выяснить только, кто же этот Семеняк в том автомобильном министерстве. Гонтарь позвонил в справочную министерства и через минуту уже знал номер телефона Семеняка, что зовут его Семен Михайлович и что работает он в диспетчерском отделе.

Вот когда шикарнейшая удача увиделась Гонтарю уже во всем ее блеске!

Тщательно все обдумав, Гонтарь решил не откладывая сходить к Семеняку — железо надо ковать, пока оно горячее...

Выйдя из метро на станции «Дзержинская», Гонтарь обошел площадь и направился вверх по улице, испытывая неуяснимую озабоченность оттого, что он шел мимо здания Комитета государственной безопасности. Это чувство было настолько сильным, что не проходило, когда то здание осталось позади, и оно, это чувство, помешало ему сразу войти в министерство, он несколько раз прошелся возле него по тупику, вокруг памятника Воровскому, и наконец все же направился к дверям.

Семеняк только что отпустил от себя стенографистку, которой продиктовал несколько служебных бумаг, любуясь ее скрещенными под стулом длинными и стройными ногами. Проводив ее ноги последним взглядом, он склонился над столом, и в это время в его кабинет стремительно вошел незнакомый ему молодой мужчина в модной замшевой куртке.

— Здравствуй, Семен Михайлович, будь щедрым — подари человеку минуту и заодно ясность жизненной перспективы.

— С кем имею дело? — сухо и вместе с тем чуть с улыбкой спросил Семеняк, ему нравились такие вот, нахальные, пробивные.

— Сотрудник «Союзсельхозтехники» Министерства сельского хозяйства СССР Гонтарь Борис Борисович,

беспартийный, год рождения…

— Хватит, хватит. Садитесь. Так как мы не уславливались, я имею не больше десяти минут.

— О, американец! Но я же и по делу тоже… — Гонтарь помолчал, пристально глядя в голубоватые глаза Семеняка, и сказал: — Мне гарантировали, что ты тут на всех этажах самый толковый работник… — Семеняк протестующе поднял руку, но Гонтарь не дал ему ничего сказать и продолжал: — Наконец, у нас с тобой ситуация проста как дважды два — ты молодой специалист, я — молодой специалист, ты попал сюда, я — в «Сельхозтехнику», должны мы друг другу помогать или нет?

— Смотря в чем, — улыбнулся одними губами Семеняк.

— Посоветуй, куда мне удирать из моей «Сельхозтехники»?

— Вот тебе и раз… А в чем дело-то?

— Между нами… не ужился с начальством. Попался мне Наполеон местного значения. Я перед ним не согнулся, и он вежливо посоветовал мне найти другую работу.

— Вон как… — покачал головой Семеняк. — А к чему придрался? — И ему все больше нравился этот Гонтарь с его веселыми плутовскими глазами цыгана и огромным смешным ртом.

Гонтарь вздернул плечи:

— Кабы я знал. Скажи мне лучше — у вас я работу не найду? Диплом института народного хозяйства. У тебя зацепки какой в кадрах нет?

— Попробую выяснить, позвони в пятницу.

Но Гонтарь в пятницу не позвонил, а Семеняк ничего для него и не выяснил…

Пятница — любимый день Семеняка, а тут еще совпала получка. Хорошо бы вечерком закатиться в

кавказский ресторанчик — Семеняк любил вкусно поесть, о чем свидетельствовало уже явно обозначившееся брюшко.

За десять минут до звонка, когда Семеняк уже запирал свой сейф, в его кабинете снова появился тот пробивной… большеротый…

Подойдя вплотную к Семеняку, он спросил легко, доверительно, будто старый друг:

— Уже уходишь?

— А что? — Семеняка теперь не удивили ни сам вопрос, ни, как в прошлый раз, обращение на «ты», он только на мгновение поднял взгляд на пришельца и сел за стол. Гонтарь подошел к нему сбоку:

— Есть предложение пойти пообедать — инициатива и расходы мои.

— Я обедал, когда и все нормальные люди.

— Машина есть? — Гонтарь словно не слышал его. — Поедем на ВДНХ, там в «Парусе» у меня дружок замдиректора — такого подадут, глаза на лоб… — и в это время Гонтарь увидел на руке Семеняка сверхсовременные часы. Он так схватил Семеняка за руку, что тот чуть не вскрикнул. — «Сейка»? С двумя календарями? Стрелки светятся? О, моя погибель! — шепотом выкрикивал Гонтарь, не выпуская его запястья и приближая часы к своим глазам. Наконец он отпустил его руку: — Продай. Будь человеком — продай!

— Да ты что? С ума спятил? Это — подарок!

— Я знаю. Даже знаю — чей подарок, — осенило Гонтаря. — Хочешь семьсот? — Он выхватил из кармана пачку светло-желтеньких сотенных бумажек, отсчитал семь штук и разложил их перед ним веером.

— Убери, войдет кто-нибудь…

Гонтарь сдвинул деньги к нему:

— Ну? Сделай меня счастливым, прошу тебя. Мечта идиота — заиметь именно такие часы…

Семеняк молча и пытливо смотрел на Гонтаря — он знал, что спекулянты возле комиссионок платят за такие часы максимум триста рублей. А тут — семьсот.

— Ты что, в своей «Сельхозтехнике» сам деньги делаешь? — спросил Семеняк.

— Да какая тебе разница, откуда деньги? Честные деньги! Честные! А тебе ведь еще такие часы привезут, приедут опять и привезут, — повторил Гонтарь, не сводя с него глаз, и удовлетворенно заметил, что тот обратил внимание на эти его слова, и тогда он припечатал эту тему окончательно: — И не все, друг мой, подарочки разумно носить вот так, всем напоказ, как носишь ты... Ну, прошу тебя, убери деньги в стол и поедем.

И вдруг Семеняк смахнул деньги со стола в приоткрытый ящик, задвинул его и запер на ключ:

— Ладно. — Он отстегнул часы и отдал их Гонтарю. — Иди на улицу Жданова, напротив Архитектурного института стоит мой синий «жигуленок», подожди там...

Приятель Гонтаря из «Паруса» постарался, и обед им был дан потрясающий. Они сидели в уютной комнатке-подсобке, похлебывали ароматную уху по-монастырски и вели тихий разговор. И странное дело — с первой же фразы разговор пошел у них как у давних и близких друзей.

Сначала тема была почти философская — может ли быть у человека достаточно денег, чтобы он мог сказать «мне больше не надо ни копейки»?

Гонтарь сказал смеясь:

— Я бы не сказал это, даже сидя на куче денег.

Семеняк ответил вполне серьезно, что он и в мыслях не влезал на подобные кучи, но ему думается, пары тысяч в месяц ему хватило бы.

— Запомни это свое безответственное заявление, — сказал Гонтарь с непонятной Семеняку серьезностью и даже с угрозой.

Потом, когда им подали жаренную под сметаной перепелку, заговорили о женщинах. Тут выяснилось их полное единодушие — что этого товара вокруг сколько угодно и даже больше, и жениться в подобных обстоятельствах просто глупо.

Гонтарь принимал сначала водочку, потом коньячок, но не заметно было, что он хмелел. И он злился на Семеняка, который подносил к губам одну и ту же нетронутую рюмку водки и каждый раз повторял, как попугай: «Увы — за рулем...» И тогда Гонтарь разговор решил не затягивать. Ждал этого разговора и Семеняк.

— А только твой канадский дедушка тебе две тысячи в месяц не отвалит... — вдруг услышал Семеняк и понял, что и раньше и теперь упоминание о дедушке было совсем не случайным и что за столом с ним сидит вовсе не сотрудник «Сельхозтехники»... Не то чтобы он испугался, но все-таки его обдало холодком. Он смотрел на Гонтаря с грустной ухмылкой.

— Ну-ну... что еще про дедушку скажете?

Гонтарь расхохотался, разворотив свой огромный рот:

— Ой господи, представляю, за кого ты меня принял! Хе-хе-хе! Товарищ с Лубянки? Да? Хо-хо-хо! — Он доверительно положил свою руку на руку Семеняка и сказал тихо: — Все гораздо проще и добрее — я в те дни в твоей родной деревне рыбачил. Жил у Клычковых, а дедушка твой, интурист, поселился через улицу у бобылихи. Ну, хватит! Кончай басить, надеюсь, суду все ясно?

Семеняк молчал и лихорадочно думал, к чему тогда этот человек замутил вокруг него всю эту историю, он все-таки знал, что зря такое не делают и что человеку этому что-то от него нужно...

Гонтарь видел, что Семеняк вроде успокоился, и достал из кармана письмо:

— Вот тебе, кстати, письмишко от родственницы твоей… Плохо она живет. Я бы на твоем месте завтра же послал ей пятьдесят рублей, не меньше.

Семеняк взял письмо, ничему уже не удивляясь, Но уже и не опасаясь, как минуту назад.

На этом их обед и закончился. Расстались они на площади перед главными воротами выставки. Семеняк предложил отвезти Гонтаря домой на своей машине, но тот отказался, сказал, что ему еще надо заехать в несколько мест, и пошел к стоянке такси.

«Что же все-таки ему от меня надо?» — ломал голову Семеняк, понимая, что Гонтарь подкатился к нему не для того, чтобы угощать обедами или купить у него часы. Чутье подсказывало: тут должно пахнуть деньгами, Гонтарь из таких… Ладно, подождем — увидим.

На другой день Семеняк только пришел на службу, его вызвал Горяев и дал неожиданное поручение — любым способом реализовать путевку на Рижское взморье, так как его жена из-за болезни матери ехать с ним не может. Попросил реализовать путевку не в своем министерстве и разрешил взять за нее даже неполную цену.

Целый день он промучился с этой путевкой — никто не брал. Будь бы она на юг, забот бы не было, а на осеннее дождливое Рижское взморье никто не торопился.

Вечером, как они условились, встреча с Гонтарем, — может, он поможет сбыть эту проклятую путевку? В назначенный час Семеняк подобрал Гонтаря в свою машину возле магазина «Детский мир». Пока не выбрались с площади Дзержинского, молчали. Семеняк водил машину еще не очень уверенно, она у него то выходила из подчинения и рвалась вперед, то вдруг

там, где не надо, останавливалась как вкопанная. В трудных местах он терялся, пережидал другие машины, на каждом повороте искал глазами объяснительные знаки. Гонтарь видел это и не начинал разговора.

— Тебе не нужна, случаем, путевка на Рижское взморье? — спросил Семеняк, когда на улице Горького они медленно двигались в плотном потоке машин. — Жена моего шефа не может с ним ехать. У нее мать больна. Горящую путевку он разрешил продать дешевле цены.

Гонтарь задумался и вдруг энергично спросил:

— Когда едет шеф?

— Я билет ему достал на поезд в пятницу.

— А можешь ты мне достать билет до Риги на воскресенье?

— Могу, конечно. Но путевку ты, что ли, берешь?

— Беру, беру…

Они остановились по просьбе Гонтаря возле елисеевского магазина — Гонтарь заплатил за путевку с 30-процентной скидкой и спрятал ее в карман.

— Постой тут минуточку, — попросил он, вылезая из машины.

Из будки телефона-автомата Гонтарь позвонил Сандалову:

— Игорек? Горячее дело возникло — будь готов в воскресенье уехать на Рижское взморье. Путевка у меня. Подробности вечером… Нет, не хочу и слушать. Готовься в воскресенье уехать… Всё.

Теперь Гонтарь предложил Семеняку ехать в ЦПКО в ресторан «Поплавок», там выступали цыгане. В пути он больше молчал, что-то обдумывал и, только когда подъезжали к парку, сказал весело:

— Дело, кажись, заваривается вкусно…

В ресторане их столик был на палубе, и первое время друзья с интересом наблюдали мчавшиеся по реке моторки, легко скользившие академические лодки.

Но вот Гонтарь отвалился на спинку кресла:

— А в вашем министерстве охотника на путевку не нашлось?

— Шеф просил продать не нашим.

— Ясненько, — усмехнулся Гонтарь.

Появилась наконец официантка, она приняла заказ и снова надолго пропала.

Гонтарь наклонился к Семеняку через стол и тихо спросил:

— Ты хочешь хорошо заработать?

— Кто же не хочет? — усмехнулся Семеняк.

— Не верти — хочешь или нет?

— Хочу, конечно! — рассмеялся Семеняк.

— Вот так и надо отвечать, — сердито проворчал Гонтарь и надолго замолчал, смотрел по сторонам, будто искал кого-то. И, не найдя, тяжело вздохнул.

Официантка принесла наконец закуску. Когда она ушла, Гонтарь снова спросил:

— Так, значит, хочешь ты хорошо заработать?

— Я же сказал — кто не хочет?

Гонтарю эти ответы в вопросительной форме не нравились, но он понимал, что у Семеняка это от волнения, он явно впервые идет в дело.

— Но ты учти: у нас социализм, и оплата, стало быть, по труду.

— А как же еще? — улыбнулся Семеняк.

— До чего же приятно толковать с понятливым, — съязвил Гонтарь. — Но вот беда — деньги будут большие, значит, и поработать придется не как на службе…

— Я работы не боюсь, — пробурчал Семеняк.

— А прокуратуры?

— Богу помолимся, — усмехнулся Семеняк.

— Так вот… Не тебе говорить, какой голод в стране на ваши всякие машины и запасные части. Я лично знаю председателей богатейших колхозов, Героев Соцтруда

и даже депутатов, которые готовы платить десять тысяч за то, что и тысячи не стоит. Усекаешь, о чем речь?

— Вполне, — кивнул Семеняк.

— Значит, фокус состоит только в том, чтобы запасные части завернуть точно к тому председателю колхоза, который раскошелится. Можно так сделать?

— Трудно. Очень трудно.

— А твоему шефу решить такое легче?

— Захочет ли?

— Что значит — захочет, не захочет?

— А то и значит — не захочет, и я же ему не прикажу?

— Ну, а без него ты сделать можешь?

— Не знаю…

— Хорошо бы тебе все же знать… Вот что — давай для пробы сделаем один колхоз. Председатель там Герой Труда. От него будет заявка по всей форме.

— Заявка заявкой, а было бы хорошо, если бы он в некоторых наших кабинетах сам потряс своей золотой звездой.

— Ладно, приедет и потрясет.

— Попробуем…

Этот решающий разговор Гонтарю все-таки не понравился — одно из двух: или Семеняк трус, или это дело действительно трудно исполнимое. Но надо все же попробовать, тогда все станет яснее. И наконец, может, удастся запрячь и шефа Семеняка…

Мимо «Поплавка» по Москве-реке, раскидывая в стороны отражение электрических огней, пронесся, ревя сиреной, милицейский катер. Гонтарь проводил его взглядом, сплюнул в реку:

— Носит окаянных…

Глава четырнадцатая

Евгений Максимович Горяев уехал на Рижское взморье один. Сердечные припадки у тещи участились, накануне отъезда вызывали «скорую помощь». Наташа не отходила от матери и, когда та забывалась в полусне, собирала мужа в дорогу.

— Поезжай и ни о чем не думай, — говорила она. — Но я оставить ее не могу… не могу, Женя…

Евгений Максимович жалел Наташу, к тому же он был почти уверен, что Ольга Ивановна сердечные припадки симулирует. Однажды ему удалось увидеть, как она, мгновенно выключившись из припадка, только что заставлявшего ее громко стонать, энергично прошла к зеркалу и стала там поправлять прическу, осторожно оглядываясь. Когда он рассказал об этом Наташе, та закатила истерику. Он отпаивал ее водой, тряс, хлопал по щекам и один раз нечаянно хлопнул сильнее, чем следовало — Наташа затихла, открыла глаза и с возмущением посмотрела на него. Неужели и она? Эта мысль была непереносима.

Вечером он уехал.

Фирменный поезд «Латвия» — чистенький, уютный и почему-то не суетный — мягко взял с места, и скоро Москва, гнавшаяся за поездом толпами новых домов, отстала, и Евгений Максимович увидел вдруг зеленое поле, лес и овраг, уже прикрытые вечерними сумерками. С этой минуты все семейные неприятности отлетели от него, точно их и не было…

Пансионат, в который он прибыл, оказался современным, похожим на аквариум зданием из стекла и бетона. Стояло оно на прибрежных песчаных дюнах, за которыми слышалось беспокойное Балтийское море. Все вокруг было заштриховано мелким въедливым дождем, порывистый ветер раскачивал гудящие сосны. Вот она — Прибалтика!

Евгений Максимович предъявил свою путевку дежурному администратору — блондинке с пышными формами и замысловатой прической, и она изобразила на своем лице безграничную радость: судьба обрушила на нее это счастье — встретить и принять Евгения Максимовича Горяева.

— С приездом, дорогой Евгений Максимович! Здравствуйте в нашем доме! Садитесь, пожалуйста! Простите за нашу минимальную формальность, — сыпала она с прибалтийским акцентом и чуть протянула руку: — Если можно, паспорт на минуточку… — Заглянув в паспорт, она молниеносно записала что-то в книге, вернула Евгению Максимовичу паспорт, и снова ее лицо засветилось от счастья. Но тут же счастье словно померкло: — Весьма огорчительно, Евгений Максимович, но мы не можем предоставить вам отдельную комнату. Вот тут на вашей путевке сверху, в правом углу, стоит буква «С», это значит, что путевка семейная. Для семейных у нас лучшие комнаты на втором этаже с лоджиями в море — сами сейчас увидите, какая прелестная комната. Но номер вашей путевки 3207, а кто-то приедет с путевкой 3208. Пансионат заполнен до отказа, только вас и ждет та комната двадцать два. И тогда мы будем вынуждены подселить к вам… человека.

— А если это окажется дама? — спросил Горяев.

На лице блондинки застыл испуг, она сжала пальцами виски.

— Что тогда будет, представить не могу, — прошептала она. Так смешно виделась Горяеву эта, молодая женщина, он не понимал, что она учится вежливости и приветливости — наукам, к сожалению, долго остававшимся неизвестными работникам обслуги.

Два дня, однако, никого не подселяли, и Горяев уже подумал, что его помощник не смог продать вторую

путевку, и это значит — пропали деньги, но он будет жить один.

Меж тем погода продолжала хмуриться, то и дело занимался дождь, но и в дождь здесь было необъяснимо уютно, точно дождь и серое небо были задуманы при создании этой природы, как и одинаково наклоненные сосны на песчаном берегу.

Утром, спускаясь в вестибюль, чтобы купить газеты, Евгений Максимович подходил к администратору и спрашивал:

— Даму мне еще не приготовили?..

Однажды, вернувшись с прогулки, к величайшему неудовольствию он обнаружил в своей комнате появившегося обладателя путевки номер 3208. Черт бы его побрал! Но надо знакомиться и надо улыбаться... Они назвали свои имена, обменялись рукопожатием. Сели каждый на свою кровать, друг перед другом, встретились взглядами и рассмеялись.

— У вас такое выражение глаз, будто я своим появлением вам помешал. Но ведь час-то мертвый... — Сандалов — это, конечно, был он — прищурил глаз и погрозил ему пальцем. — А тут, между прочим, пугливая администрация, — говорил он. — Я приехал, отдаю администраторше свою путевку, она глянула в нее и громко вздохнула: «Слава богу». Оказывается, она в страхе ждала, что с этой путевкой приедет женщина!

— Это была путевка моей жены, мы сдали ее буквально накануне отъезда. Как она попала к вам? — поинтересовался Горяев.

— Я работаю в постоянном представительстве одной среднеазиатской республики, там и получил. Кто-то предложил ее нашему главбуху, а тот выразил заботу обо мне. А у меня как раз двадцать неотгулянных дней за прошлый год. А чего же не поехала жена?

— Теща заболела не вовремя.

Интонация, с которой Горяев произнес каждое слово, дала Сандалову довольно полную информацию, и он решил больше ничего о семье не выспрашивать.

Сандалов действовал осторожно и не лез. Несколько дней они только гуляли вместе у моря, да еще Сандалов придумал на электричке съездить до Кемери, посмотреть, что это такое. Горяеву уже не было так скучно, как в первые дни, и Сандалов ему нравился — веселый и с ним легко…

Глава пятнадцатая

Евгений Максимович Горяев заканчивал отдых на Рижском взморье, шла последняя неделя. После отъезда Сандалова ему стало совсем тоскливо, считал дни до отъезда, по вечерам звонил Наташе. Теща, конечно, была жива-здорова, вчера Наташа передала от нее привет, но у него язык не повернулся сказать «спасибо».

Вчера Горяев позвонил к себе на работу. Ответил Семеняк, но разговаривал как-то странно — скованно и даже испуганно, это так не было на него похоже.

— У вас что-нибудь случилось? — спросил Горяев.

— Да нет, ничего особенного… просто трудно без вас, — ответил Семеняк.

А дело было в том, что его телефонный звонок настиг Семеняка в момент, когда он лихорадочно обдумывал, как обезопасить себя в операции, предложенной Гонтарем, и не отказаться от тысячи рублей. Он думал и все время посматривал на часы — вот-вот явится Гонтарь с тем председателем колхоза, который будет платить деньги, — он уже прилетел в Москву.

Семеняк ночь не спал — все думал, как похитрее проделать операцию, чтобы, в случае если проделка

раскроется, он смог бы спрятаться за чью-то спину. Еще вчера ему казалось, что лучше всего, сделав бумагу об отпуске колхозу Степового запасной техники, затем отправить её в «Сельхозтехнику», если там пройдет — хорошо, и на них ответственность, а не пройдет — на том и делу конец. Но утром он подумал: а вдруг работники «Сельхозтехники» начнут выяснять, что к чему, и возникнет вопрос — как мог Горяев подписать эту бумагу, если он в отпуске? Значит, подделывать его подпись он не будет. И не станет отсылать бумагу в другие ведомства, она пойдет на свой автосборочный завод… Он знал, что бумага тем скорее незамеченной проскочит через все пороги, если в ней речь будет идти о технике менее значительной, и очень важно, если в бумаге будет сказано, что эти запчасти забирают у завода в связи с образовавшимися там излишками. Для обоснования внеплановой помощи колхозу Семеняк придумал прекрасный ход — стихийное бедствие, скажем пожар, в котором пострадали машины колхоза. Он установил, что на случай стихийных бедствий есть даже специальный резерв техники. А подпишет бумагу замминистра Валечкин. Не он, правда, курирует их главк, но обращение к нему вынужденно, так как курирующий зам в командировке, а дело срочное — колхоз надо выручать из беды. Тем более что будет «играть беду» и сам председатель с его золотой звездой на груди… При этом Семеняк учитывал и то, что Валечкин не был человеком технически грамотным — недаром он зам по общим вопросам… Словом, запудрить ему мозги будет не так уж трудно. А если он бумагу подпишет, с Семеняка будет снята всякая ответственность за предприятие. А почему бы ему и не подписать? Во-первых, стихийное бедствие; во-вторых, бумага направляется на их же завод, где — Семеняк и это выяснил — действительно образовался излишек двигателей. Ну а если потом, обнаружится, что

никакого стихийного бедствия не было, Семеняк скажется жертвой обмана со стороны председателя колхоза, такого знатного человека, что у Семеняка и мысли не было проверять его слова.

Дверь распахнулась, и Гонтарь впереди себя пропустил в кабинет председателя колхоза Степового. Он небрежно поздоровался с Семеняком и, садясь, глянул на него такими злыми глазами, что тому стало жутковато.

— Готова бумажка? — спросил Гонтарь.

— Все очень сложно… — начал набивать себе цену Семеняк, избегая расширившихся глаз приятеля.

— Ты же вчера… — задохнулся Гонтарь.

— Все сложнее, чем я думал, — обратился Семеняк к Степовому. — Если выйдет, то только двигатели…

Председатель колхоза со злым прищуром посмотрел на них поочередно, приглаживая ладонью рыжие волосы:

— Это забота уже ваша. Двигатели беру. А пока что нужен номер в гостинице, чтобы переночевать, обратный билет я уже взял на завтра. — Степовой прекрасно понимал, с кем он имеет дело, и решил не церемониться с ними.

Семеняк мгновенно по телефону отдал кому-то распоряжение зарезервировать номер в гостинице «Россия» для Героя Социалистического Труда товарища Степового. Положив трубку, сказал:

— Я все-таки сделаю для вас все, что смогу.

— В гостиницу можно ехать? — встал Степовой.

— Да, конечно. Скажете — бронь нашего министерства.

— Звоните, когда будет дело, — сказал Степовой и вышел из кабинета.

Степовой размашисто шел по шумной улице мимо занимавшего целый квартал здания Комитета госбезопасности. Вспомнив, чт *о*находится в этом доме,

он вслух выругался: черт-те что происходит на белом свете — рядом с таким учреждением два бесстрашных жулика торгуют государственным добром. Но ты-то, товарищ Степовой, не делай-ка вид, будто ты всего лишь покупатель. Почему бы тебе не зайти в этот дом и не рассказать о жуликах? Не отвечая самому себе, он непроизвольно прибавил шагу. И ему было еще острей стыдно от позвякивания золотой звездочки на груди. Однако возмущения собой не было, разве что досада на то, что ему приходится ловчить, придумывать какие-то обходы законов и инструкций, отыскивать лазейки, и все только для того, чтобы сделать полезное и крайне необходимое колхозу. Вот и теперь он будет платить явным жуликам бешеные деньги: взятые из колхозной кассы якобы на художественное оформление центрального поселка, но за это он к уборочной будет обеспечен исправным автотранспортом; в прошлом году стояла на приколе почти треть автомашин, и это стоило колхозу куда больших денег, чем сегодняшняя плата… Так успокаивал он свою совесть, и все ж покалывала она, но теперь только при мысли, что там, дома, сосед его и друг и тоже председатель колхоза Павел Иванович Погребняк опять будет называть его нехорошим словом «комбинатор», сам-то он праведник. Но тут же вспоминалось, что люди из колхоза Погребняка завидуют его людям, а специалисты оттуда бегут к нему…

…В это время два жулика говорили о Степовом.

— Сапог кирзовый, а палец в рот не клади, — задумчиво сказал Семеняк. — А ты давал ему характеристику другую — мол, веселый миллионер. Что-то ничего веселого не видно, волком смотрит. Как бы он нас не заложил?..

— Труса празднуешь? Зачем тебе палец ему в рот класть? Ты давай ему бумажку, получи свою половину в рублях, и с тобой все разговоры… — Гонтарь злился,

говорил от этого быстрее и менее разборчиво, губы его большого рта словно не поспевали за словами.

— Ладно, посиди здесь, — решительно встал Семеняк. — Я пойду к замминистра, если он бумагу подпишет, заказывай музыку, нет — прости-прощай. Жди меня, и я вернусь…

Семеняк вернулся в свой кабинет, прошел к сейфу и спрятал в него бумажку. Гонтарь следил за ним настороженно:

— Подписал?

— Подписать-то подписал, — садясь за стол, ответил Семеняк. — Но сказал, что потом потребует визу на бумажку моего начальника.

— Ну и что? — Гонтарь не хотел вдаваться во все эти служебистские премудрости. — Бумага-то с толком? Под пустое Степовой денег нам не отвалит.

— Не гоношись, — покровительственно усмехнулся Семеняк. — Все сделано с толком, можешь ехать к Степовому и сказать ему твердо, что двигатели он получит.

На другой день утром они снова собрались в кабинете Семеняка. Степовой внимательно изучил бумагу и спросил:

— А если на заводе движков нет?

Семеняк, не отвечая, поднял трубку одного из телефонов и распорядился властно:

— Вельский завод срочно…

Образовалась тягостная пауза. Говорить им было абсолютно не о чем. Семеняк, как загипнотизированный, смотрел на телефон, который молчал. Гонтарь задрал лицо вверх и шевелил своим губастым ртом. Степовой опустил крупную голову, будто тяжело о чем-то задумался.

Зазвенел телефон. Семеняк схватил трубку:

— Вельский автосборочный? Вас вызывает диспетчерский отдел. Кто у аппарата? Здравствуйте, Яков Михайлович, опять я вас беспокою. — Семеняк взял у Степового бумагу и продолжал: — Завтра к вам приедет председатель колхоза «Вперед» Герой Социалистического Труда Степовой. У него в руках будет распоряжение об отпуске его колхозу за наличный расчет двигателей из ваших заводских излишков. Срочность вызвана тем, что в колхозе случилось стихийное бедствие. Да всего десяток. Гарантируете? Я передаю трубку председателю колхоза.

Степовой сгреб трубку своей широченной дланью и прижал к уху:

— ...Нет, к завтрашнему дню я к вам не поспею. Послезавтра. За чей счет отгрузка? Договоримся. До свидания.... — Он положил трубку, нервно раскурил сигарету, еще раз внимательно прочитал бумажку, аккуратно сложил ее вчетверо и спрятал в объемистый кошелек. Потом расстегнул стоявший на полу портфель и вынул из него банковскую пачку денег.

— Здесь как условлено. Можете не считать, хотя бы из уважения к моему возрасту и званиям. А засим разрешите откланяться. — Бросив пачку на стол, он встал, оглядел их поочередно и усмехнулся: — Шустрые ребятки, далеко пойдете... — и решительно вышел из кабинета.

Гонтарь принялся пересчитывать деньги, заодно разбрасывая их на три кучки, третья была для Сандалова. Все было точно...

Распихав свои деньги по карманам, Гонтарь спросил невесело:

— Ну, как тебе эти блины? Лично мне они сильно горчат. Продолжение следует или нашему роману конец?

— Лично я — пас, — твердо ответил Семеняк. — А вам все карты в руки.

Гонтарь встал, прошел до дверей и сказал оттуда с угрозой:

— Ваши часики я пришлю вам завтра с курьером, отдайте ему деньги. Привет от дедушки из Канады.

Он вышел, хлопнув дверью.

— Сволочь, — шепотом выругался Семеняк.

Гонтарь шел по шумным московским улицам, натыкаясь на прохожих, несмотря на осенний холодок, ощущал на спине горячий, липкий пот. Нет, нет, такие делишки не для него; кроме всего прочего, он смертно боялся всяких официальных учреждений и бумаг, не без основания считал, что они непременно таят в себе беду. Особо его не устраивало работать при свидетелях, а тут был даже не просто свидетель, а, так сказать, страдающая сторона. Гонтарь даже сейчас поеживался, вспоминая злые глаза председателя колхоза. Он был убежден, что действовать надо вглухую, чтобы никто рядом и не догадывался, что он делает. Не устраивал Гонтаря и его напарник Семеняк — трус и пижон, такие первыми бегут в милицию раскалываться. Наконец, ему кажется непосильной вся казенная технология этого предприятия, связанная с необходимостью иметь дело с теми самыми официальными бумагами, а быть на подхвате Гонтаря не устраивала.

Он знал: только один человек мог вернуть ему уверенность в себе и в непреложности избранной жизни, — это Александр Платонович Ростовцев, дед Платон... Правда, однажды он втравил его в опасное дело, и из-за этого пришлось прятаться от мстительных грузин в колонии. Но это было только однажды, и, кроме всего, дед Платон вырвал его на волю до срока. Потом пару раз он подключал его к своим делам, и неизменно были за это приличные деньги, а главное —

когда ты в деле Ростовцева, можешь быть спокоен: в беду он тебя не даст.

Вот и сейчас Гонтарь решил идти к Ростовцеву. Вечер уже затушевывал все вокруг легкой синевой, но огни города еще не разгорелись и в подъездах свет еще не был зажжен.

Только б был Ростовцев дома и еще чтобы разрешил войти, а то, бывало, другой раз и не впустит, скажет «не время» и назначит, когда прийти.

Ростовцев сам открыл дверь, несколько секунд смотрел на Гонтаря, будто не мог вспомнить, кто это, а потом сказал тихо:

— Зайди…

Провел, как обычно, на кухню, плотно прикрыл дверь, света не зажег, сел по другую сторону стола и спросил простецки:

— Есть хочешь?

— Поговорить надо, Александр Платонович.

— Давай.

— Что-то работы хорошей нет.

— Я о тебе помню, не тревожься, — тихо ответил Ростовцев. — Жить на что есть?

— Есть, есть, — махнул рукой Гонтарь. — Работать хочется по-настоящему, действовать, извелся я от безделья. И участковый может приклеить тунеядство.

— Дай ему десятку, и делу конец.

— Нашему не дашь — зверь… Между прочим, Александр Платонович, не думали ли вы о деньгах, которые сейчас горой лежат в колхозах?

Ростовцев несказанно удивился тому, что Гонтарь полез в колхозы:

— А ты откуда про то знаешь?

— Честное слово — точно. Признаюсь, я тут влез в одно дельце — мы с одним типом богатому колхозу двигатели к грузовикам сварганили по сильно левой цене. Поверите, за минуту я тысчонку срубил, вот… —

Гонтарь постучал по груди, где пиджак оттопыривали деньги.

— Кто был с тобой?

— Вы его не знаете, Александр Платонович, — случайный попутчик, и не в нем дело, он не годится — трус и пижон, одну левую бумажку сотворил и сутки в штаны клал. Тут нужны сильные люди, такие, как вы, Александр Платонович. А денег в колхозах миллионы и миллионы, и на дело они их не жалеют и не считают. Сам убедился. Надо только наладить делать эти левые бумажки-распоряжения, и тогда деньги потекут рекой.

Ростовцев слушал его вроде рассеянно, смотрел куда-то в сторону, а сам в это время сильно заволновался, — то, что предложил Гонтарь, было у него, что называется, под рукой. Он даже не заметил, что его гость давно молчит.

— Скажу тебе так... — спохватился наконец Ростовцев. — Идею ты принес хорошую, но на это дело надо искать людей крупных, а они на улице не валяются.

— Беретесь за это? — оживился Гонтарь.

— Пока ничего не скажу. Буду думать. Если что — позову...

Глава шестнадцатая

Клонился к вечеру солнечный, но уже совсем холодный день. Осень в этом году обнаружилась рановато, и оттого всем казалось, что она затянулась. Порывистый ветер гонял по воде зябкую рябь; там, где солнце спускалось к горизонту, и эта рябь, и волны вспыхивали холодным золотым блеском. Навигация еще не была закрыта, но москвичи что-то уж не торопились воспользоваться услугами пароходства, и прогулочные теплоходы отваливали от причалов Химкинского порта

почти пустые и без обычной людской толкотни на пристани. К тому же и день был будний.

В ресторане порта тоже было пусто — вечерняя публика еще не начала съезжаться, и только на веранде за столом, не покрытым скатертью, сидели двое мужчин. Ресторан на веранде уже был свернут, и они сами принесли из буфета две бутылки пива, окаменевшие бутерброды и теперь неторопливо поцеживали пиво и вели разговор внешне спокойный, даже ленивый, но по тому, как они то и дело пристально всматривались друг в друга, было видно, сколь он им важен. Оба были в темных деловых костюмах и неброских галстуках. Один из них, Александр Платонович Ростовцев, — рослый, седоголовый, с красивым, но несколько отяжелевшим лицом. У него были выпуклые, необыкновенно живые губы, когда он говорил, они мимолетными движениями выражали и иронию, и злость, и непонимание, и радость... Его собеседник Кузьма Аверкиевич Кичигин — широкоплечий крепыш, чуть медлительный в словах и в жестах, да и во всем его облике была какая-то вальяжность или, может быть, подчеркнутая небрежность к себе, вот и костюм у него был довольно мят, и галстучный узел вылез из воротничка, и брился он, кажется, не сегодня — на лице серый налет, будто тень. Но от всего, этого отвлекал взгляд его глаз металлического цвета из-под густых бровей. Они смотрели в мир открыто и весело, а могли мгновенно вспыхнуть беспощадной злостью, и тогда над ним сдвигались вплотную темные брови. Сейчас его глаза были очень внимательными. Разговор у мужчин был немногословный, с длинными паузами.

Два этих человека могли быть названы друзьями, но это была дружба весьма своеобразная, друг друга они не уважали, и каждый считал другого недостойным его дружбы. Но были времена, когда стоило у одного из них

появиться какой-нибудь перспективной идее, как урвать побольше денег, он звал на помощь другого. Позже их пути разошлись.

Сейчас здесь, на веранде ресторана в Химках, Александр Платонович Ростовцев излагал Кузьме Аверкиевичу Кичигину будто бы им самим открытую идею, как поживиться за счет разбогатевших колхозов. Большеротый Гонтарь даже представить себе не мог, как вовремя и к месту возник он со своим нескладным опытом, в основе которого Ростовцев сразу же усмотрел весьма перспективные и вполне реальные возможности обогатиться. Кичигин работает заместителем начальника одного из самых важных отделов Министерства автомобильной промышленности, а сам Александр Платонович — на ответственной работе в учреждении, занимающемся поставкой за границу всяческой автотехники, так что сама судьба повелела им снова объединиться.

— В общем, ясно одно: в колхозах сейчас скопилась пропасть денег, и их можно довольно безопасно оттуда вынуть. — Ростовцев сказал это убежденно, как собственное открытие, и в упор уставился на собеседника. А тот молчал и увлеченно смотрел, как под собственную бравурную музыку причаливал прогулочный пароход. Когда с него на асфальт пристани сошло несколько пассажиров, направившихся к главной лестнице вокзала, он перестал наблюдать за ними и повернулся к Ростовцеву.

— А почему, Александр Платонович, речь идет только о колхозах? Вы, как всегда, видите все не совсем точно и поверху. А дело в общем явлении — ассигнования государства и на другие необходимейшие дела очень часто опережают возможности свершения этих дел... — тихим вкрадчивым баском проговорил Кичигин, шевельнув густыми бровями. — У нас в министерстве на всех этажах толпятся представители

из самых разных организаций, и у них тоже денег до черта…

Они смотрели друг на друга и молчали. Наконец Александр Платонович еле заметно кивнул и ответил тихо:

— Вы правы, Кузьма Аверкиевич… — и спросил с улыбкой: — Но где взять столько старых такси?

На это Кичигин неожиданно рассмеялся:

— Поищем… Май-бабах…

Непонятное нам упоминание Ростовцевым о старых такси воскресило их уже далекое прошлое. Когда-то они учились в одном институте, а вскоре после войны Кичигин стал директором таксомоторного парка в Москве. Ростовцев в то время из служебной командировки в Германию изловчился пригнать «трофей» — легковой автомобиль марки «Майбах» — дряхлую двенадцатицилиндровую громадину, вступившую в пору, когда все в ней начинало сыпаться. Умельцы из таксомоторного парка Кичигина подштопали старика «Майбаха», и летом Кичигин вместе с Ростовцевым с грехом пополам добрались на нем до Абхазии, где продали старика за совершенно баснословную цену.

Получив кучу денег, Кичигин с Ростовцевым поспешили покинуть до безрассудства гостеприимную Абхазию и отпуск шикарно проводили в Крыму… Впоследствии этот эпизод из их деловой жизни они вспоминали под кодовым названием «Май-бабах» и, вспоминая, смеялись до слез. Потом, позже, они провели опять-таки совместную операцию уже в кичигинском парке такси. Он составил акт на списание в металлолом трех действительно разбитых вдребезги такси. Ростовцев, в это время работавший в управлении автотранспорта Москвы, ночью забрал из гаража эти старые такси, но свез их не на свалку металлолома, а туда, где его уже ждали денежные покупатели. Это

были все те же темпераментные южане, обуреваемые болезненной страстью иметь собственные машины.

— Нам только рама нужна и чтоб на ней был номер, — смеялись они, отсчитывая Ростовцеву замусоленные пятерки, полученные ими от москвичей на столичных рынках. Сколько им стоило потом сделать из этого старья автомобили, подумать страшно, но не дешево платили они и за это старье…

И сейчас, в серьезном разговоре на веранде химкинского ресторана, вопрос Ростовцева, «где мы возьмем столько старых такси», был, что называется, очень к слову, и деловой разговор продолжался.

— Ведь все решает количество старых такси… — развивал мысль Ростовцев. — Как говорят в Одессе, чтобы иметь, надо иметь…

И опять Кичигин молча наблюдал жизнь причала, где сейчас судов не было и только чайки расположились на его краю бесконечным белым многоточием.

— Я думал об этом, — резко повернулся к собеседнику Кичигин. — Старых такси может быть очень много, необходимо только подключить к делу разные ведомства. Ваше, например, тоже…

— С моим надо поосторожнее, всякий товар, идущий от нас за границу, под тайным контролем, — помолчав, сказал Ростовцев.

— Ничего, можно и у вас, — недобро сверкнули глаза Кичигина.

— Не представляю…

Злые глаза Кичигина из-под сдвинутых бровей вонзились в красивое лицо Ростовцева:

— Не представляете или боитесь?

Ростовцев молчал, смотрел сощурясь туда, где рябь на воде играла холодным золотым блеском.

— Ладно, не робейте, мы всё хорошо продумаем и будем делать то, что нам выгодно, но не опасно. Но

уверяю вас — можно придумать, как запрячь и ваше объединение. Разве нельзя заслать вам... по ошибке... парочку кузовов для «Волги», а потом ошибку обнаружить, а кузова пустить туда, куда нам надо. А? Что скажете, храбрейший Александр Платонович? — Кичигин рассмеялся, и глаза его под прыгающими бровями заискрились весельем.

— В такой ситуации это возможно, — немного обиженно согласился Ростовцев.

— Слава богу, — легко подхватил Кичигин. — Ну, а моей обязанностью будет создавать для вас подобные ситуации почаще — вот и все. А то я, признаться, загрустил: что, думаю, за парадокс — принес человек неплохую идею, а сам в кусты... Не обижайтесь, пожалуйста, но все-таки останется фактом, что во всех наших с вами начинаниях самое трудное и рискованное почему-то выпадало мне. Что? Неправда? — Металлические глаза будто пригвоздили Ростовцева, он молчал... — Вернемся к делу, — уже по-доброму продолжал Кичигин. — Есть потенциально полезные организации и кроме вашей, и их немало, и в каждой можно подыскать подходящего человечка. Это, конечно, если вашу идею ставить на настоящие рельсы. Возьмите ту же «Сельхозтехнику». Знаете, кто там сидит на полезном нам месте? Голубовский.

— Не ошибаетесь? — удивился Ростовцев. — Он мне не так давно говорил, что идет на хозяйственную работу в медицинскую академию.

— Он передумал, — рассмеялся Кичигин. И уже серьезно: — Возьмите-ка на себя предварительный разговор с ним. Заметано?

Этот их разговор длился более двух часов, рождавшееся дело они обговорили, общупали со всех сторон. И поделили сферы: Кичигин взял на себя организацию всей системы получения необходимых

запасных частей, а Ростовцев будет организовывать спрос…

Сумерки над акваторией порта сгустились, зажглись огни на бакенах и в окнах домов на той стороне, когда они наконец, условившись обо всем, покинули веранду.

Возвращались в город на «Волге» Ростовцева. Он вел машину уверенно, небрежно и все время посматривал на Кичигина, ему не нравилось, что тот всерьез не похвалил его за идею, и он знал железную хватку Кичигина — оглянуться не успеешь, заберет все в свои руки, и тогда ходи у него на привязи.

Ростовцев выехал на обочину и остановился.

— Что случилось? — точно проснулся Кичигин.

— Послушайте, Кузьма Аверкиевич… а вы понимаете, что я предложил гениальное дело?

— Только догадываюсь, Александр Платонович, — зевнул Кичигин.

— Ни черта вы не поняли, — огорченно вздохнул Ростовцев. — Ну, к примеру, как наши будущие дела именовать на прокурорском языке?

— Взятка…

— Но у нас с вами будет особый случай взятки, — продолжал, все более оживляясь, Ростовцев. — У нас вообще все будет в полном законе! Единственное нарушение, что всякую там технику, по плану занаряженную в Ивановскую область, мы перекинем в Сидоровскую. Во-первых, кто сказал, что государственный план свят от грехов и в Сидоровской она не нужна больше, чем в той? А во-вторых, количество передвинутых нами запасных частей в масштабе государства — это ноль с палочкой. А главное: и в Ивановской и в Сидоровской областях трудящиеся строят коммунизм, им одинаково нужны запасные части. Что тут делать прокурору? А, Кузьма Аверкиевич?! Классика! А?

— Классика, классика, и вы — гений, — смеялся Кичигин. — А только работа прокурору есть, поскольку будет взятка. Не забывайте об этом, прошу вас.

Ростовцев смотрел на него и думал: вот мутный мужик, может горло перегрызть и при этом смеяться. И вроде все ему легко.

Ростовцев в общем правильно видел Кичигина, только легкость его он преувеличивал, это был человек умный, хитрый и жестокий. Но его жестокость, может быть, была не чертой характера, а гранью деловитости... Лет десять назад, когда он работал еще не в министерстве, однажды в Крыму на отдыхе он познакомился с одним ученым, ректором большого института и вовлек его в хитро придуманную авантюру со строительством дач. Он очень ловко воспользовался его именем, бланками и печатью его службы. Дело развивалось вроде успешно: профессор подписывал заявления, письма и всякие ходатайства от себя, от института, в результате лето не прошло, и три великолепных дачных участка на берегу озера были получены. Профессор ездил их смотреть и остался очень доволен. Почему и кому будут строиться сразу три дачи, профессора не заинтересовало. Закипела стройка — кичигинская дача была уже подведена под крышу и в ней осталось сделать полы, на даче профессора были возведены только стены. Надо сказать, что обе дачи строились в основном на деньги профессора, на свою дачу Кичигин взял у него в долг. Третий участок вообще был таинственный — кто-то обвел его аккуратнейшим белым штакетником, но участок оставался в девственном виде. В один прекрасный день Кичигин продал свою немного недостроенную дачу директору комиссионного магазина, мало того, сумел продать и нетронутый участок. Все это выяснится позже, когда профессора вызовут в ОБХСС и он узнает, что все это дачное

предприятие — гнусная авантюра, узнает он там и о том, что его недостроенная дача накануне сгорела. Профессор уверял, что ему ничего не известно о жульничестве, а если оно все же было, то это мог делать только Кичигин. Следователи показывали ему документы, где кичигинских следов не было, но на каждом стояла профессорская подпись. И только тогда он понял, что каждой своей подписью он помогал жулику остаться безнаказанным.

Профессора свалил тяжелый инфаркт, после которого он уже не поднялся. Материально пострадал директор комиссионного магазина, а против Кичигина улик никаких. Некоторое время спустя вдова профессора, случайно встретив на улице Кичигина, бросилась к нему и стала умолять вернуть деньги, взятые у них в долг. Смотря ей в глаза веселыми серыми глазами, Кичигин сказал жестко: «Вы, гражданочка, явно заблуждаетесь, я никаких денег у вас не брал. Ах, вы хотели сказать, что я брал у вашего мужа? Но позвольте, как же я могу рассчитаться с покойником?» Он пошел дальше, посмеиваясь, ведь сейчас он сказал святую правду — у этой бабенки он никаких денег не брал. А баба меж тем хороша собой… Кичигин оглянулся, но толпа уже смыла профессорскую вдову.

Этот, как назвал Кичигин, «экзерсис между делом» был уже довольно давно, сейчас он на такое не пойдет. После той дачной авантюры он с помощью школьного однокашника, ставшего ответственным работником, устроился в Министерство автомобильной промышленности, довольно быстро сделал там заметную карьеру и теперь был вторым человеком в очень важном отделе. Образование у него имелось, и работать он умел. Знал, как показать свою работу получше. Но жулик он был закоренелый и нечестную добычу денег оставлять не собирался. Однако именно

из истории с профессором он сделал для себя очень важный вывод — в аферы, которые могут быть видны другим, не лезть, любое «левое» дело должно быть похоже на честное. Так будет и в этом возникающем сейчас предприятии — поди отличи честную служебную бумажку от нечестной, если разница у них будет только в одном-двух словах?

Чем больше Кичигин думал об этом новом деле, тем оно больше ему нравилось, хотя еще далеко не все его сложности и опасности были ему сейчас ясны, пока ему не нравилось только то, что идею «родил» Ростовцев.

Возле Большого театра Кичигин вылез из машины, сказал, будто ему надо взять билеты в театр, и помахал Ростовцеву:

— Будь…

Когда машина завернула на проспект Маркса, Кичигин прошел в садик у театра, отыскал там свободное местечко на скамейке — ему хотелось, подумать о деле одному.

Да, все-таки очень сладкое может быть дело… очень… Одна горчина — Ростовцев. Надо будет потом от него отделаться. Пусть он организует спрос, позже можно будет всю его сеть перехватить. А по своему объединению он особенно полезным быть не может. Кичигин сам не знал, за что он не любил Ростовцева, но один его сладкий вид портил ему настроение. Сколько раз был с ним в одной упряжке, а не любил. Насколько уверенней он себя чувствовал, если бы мог подключить в дело вместо Ростовцева своего друга Залесского. Впрочем, тот может хорошо пригодиться и находясь там, в своем Донецке.

Ладно, черт с ним, Ростовцевым, в этом деле гораздо важнее рядом иметь начальника оперативно-диспетчерской службы Горяева, в этот отдел стекается очень полезная информация. Главная задача — подпрячь бы кого из министерства повыше… члена

коллегии... Начальника производственного главка Пастухова? Нет, сюда соваться нечего, он — бессловесный раб службы, производства, с ним же ни о чем нельзя поговорить, кроме как о коробке скоростей или заднем мосте, он вообще святое дитятко рабочей окраины... Да, только намекни ему, он же убьет не разговаривая, что будет у него в руках, тем и убьет. К тому ж он и давно болен... А если его зама Сараева? А что? Кичигин сощурясь смотрел на уже залитую огнями Театральную площадь, не замечая, как вдруг посыпался из черного неба крупяной снежок... Все гуще была толпа у театральных подъездов.

Ну, так что же Сараев? Попробовать? И снова Кичигин напряженно думал... Почему-то ему казалось, что Сараев последнее время что-то тоскует и на этом его можно качнуть... Что, если придумать для него какую-нибудь карусель? А может, бабу ему подсунуть? Каруселью у Кичигина называлось организованное им веселье для друзей. Кичигин был жуликом с фантазией. И деньги любил тратить с фантазией. Мог, например, созвать гостей, напомнить им, что сегодня предпасхальная ночь, и пригласить всех к заутрене. А на улице уже ждут несколько заказанных им заранее такси, и вся компания едет на заутреню в Загорск. А разговленье потом в каком-то придорожном ресторане, где уже накрыт стол и странные цыгане поют под баян...

Однажды он сказал Ростовцеву:

— Я бы не мог, как вы, зашивать деньги в матрац...

— Это ж почему же не могли бы? — съерничал Ростовцев.

— Сгибаться же надо, спина заболит, — совершенно серьезно пояснил Кичигин, но Ростовцев его яда не почувствовал.

Да, очень они разные — Кичигин и Ростовцев. С тех пор, когда они провернули выгодные гешефты с

«Майбахом» и со старыми такси, прошло немало лет. Ростовцев казался Кичигину опасно легковатым, не очень серьезным человеком, чересчур доверяться которому не следует. Но Кичигин не знал о весьма смелых и масштабных делах, в которых Ростовцев участвовал, работая на юге, и когда его напарником был Залесский.

Теперь Кичигин задумался о том, что новое дело почти целиком будет происходить в министерстве, где он работает. До этого его принципом было — левое дело подальше от службы. Сейчас этому принципу придется изменить, но тем более опасным видится ему Ростовцев…

В свою очередь и Ростовцев не очень-то был рад восстановлению их старого «тандема», он не мог забыть, что Кичигин в любом деле хочет быть первым и командовать. Но нельзя было обойти Кичигина, учитывая, что тот работает в министерстве, где они будут орудовать.

Кичигин окинул взглядом все глубже тонущую в вечерних огнях Театральную площадь и почувствовал знобящий холод. Ветер гнал по дорожкам садика снежную крупу и сухие листья…

Домой Кичигину идти не хотелось — неуютно было ему дома. И жена и сын жили как-то от него обособленно, о том, что нужно сыну, он обычно узнавал от жены. Вдруг утром, уходя на работу, роняла небрежно: «Володьке нужен костюм…» И тогда он, не очень точно зная, сколько может стоить костюм для парня, оставлял ему деньги в конверте с надписью «На костюм». Жена его делала свою служебную карьеру в сфере легкой промышленности. Их душевная близость умерла давным-давно, да и была ли она когда-нибудь? Жена была права, когда в минуты крутых разговоров спокойно напоминала ему: «Ты женился не на мне, а на

московской квартире — вспомни». Так оно и было, если уж быть до конца откровенным.

Глава семнадцатая

Секретарь партийной организации главка Сергей Сергеевич Фролов пришел в министерство в восьмом часу утра, и ему пришлось долго жать кнопку звонка, прежде чем за стеклянной дверью появился заспанный вахтер.

— А я-то думаю, господи, кто же это в такую рань? — бормотал он, пропуская Фролова. — Неужто, думаю, опять пьяный какой, как давеча…

— Трезвый, трезвый, — смеялся Фролов.

В партбюро еще пахло вчерашними курильщиками, готовившими проект резолюции сегодняшнего открытого партийного собрания, они разошлись только за полночь, оставив после себя полог синего дыма.

Фролов торопливо распахнул окно — сам он не курил, табачного запаха не терпел, но запретить курение в комнате партбюро считал актом недемократичным.

Через окно в комнату хлынул холод и донесся пока тихий голос улицы: шорох автомобильных шин, человеческих шагов, хлопанье троллейбусных дверей где-то на остановке, приглушенный гул высоко летящего самолета. И вдруг ясный, как в кино, голос: «Олечка, с воздушным приветом!» — это крановщик на соседней стройке каждое утро так приветствует какую-то дивчину.

Послушав немного улицу, Фролов занялся проектом резолюции — читал медленно, зорко, слово за словом…

Сергей Сергеевич избран секретарем недавно, еще и года нет. Инженер по образованию, он обладал хорошей для партийного работника чертой —

любопытством к человеку — и поэтому лично хорошо знал в своем главке множество людей. На отчетно-выборном собрании голосование для него прошло не совсем гладко, ему накидали порядочно голосов против, он об этом все время помнил и старался работать как можно лучше, но одного старания оказалось мало, нужен был опыт. В главке работал народ образованный, языкастый — смотри да смотри за каждым своим словом.

На первый взгляд общая задача была предельно ясна — нужно, чтобы все, в главке работали умело, инициативно, с полной отдачей сил, и, надо думать, это все понимали, и поэтому дела шли неплохо, а со стороны руководства министерства никаких особых претензий к главку не было. Но Фролова тревожило многое... слабая трудовая дисциплина, постой утром у входа — сколько сотрудников беспардонно опаздывают? Курилки на лестницах... Нет никакого общения сотрудников вне службы, собрания не в счет. О коллективных походах в театры или музеи давно позабыли, не проводятся свои вечера отдыха. Надо решительно перестраивать политическую учебу, которая во многом проводится формально, не вызывая живого интереса... Плохо обеспечен обеденный перерыв, свои буфеты оставляют желать лучшего, многие ходят в окрестные кафе и столовые, еле успевают за час и вместо отдыха получается питание с нервотрепкой... Или вот еще его заботит, почему на совещаниях то и дело возникают такие резкие споры, что недалеко до взаимных оскорблений? Он наблюдал это давно и хотел разобраться, отчего это происходит. Ведь нельзя же это считать признаком деловитости? Не поднять ли этот вопрос на сегодняшнем собрании? Нет, вопрос этот, если поднимать, надо очень хорошо подготовить и привлечь к этому многих коммунистов. Кроме всего, говорят, что с таким же накалом бывают

разговоры и на каждой коллегии у министра. А что, если поговорить об этом с министром? Фролова давно интересовал этот человек, которому партия, государство доверили важнейшую отрасль промышленности. Всем в министерстве известно, что он дотошно знает все циклы производства, сам когда-то начинал с работы токарем и к высокому своему посту поднимался по не легкой лестнице, не случайно он пользуется большим авторитетом среди рабочих и специалистов. Но почему же он допускает такой стиль на коллегиях? Очень хотел бы Фролов поговорить с ним об этом, но это уж когда-нибудь потом, позже. Пока надо заниматься тем, что ему самому понятно и что по силам.

Первое, за что он взялся, став секретарем, — трудовая дисциплина. Взялся крепко, как умел, мобилизовал коммунистов, комсомольцев, это уже дало результаты, и про опыт коммунистов главка заговорили в министерстве. Фролов почувствовал себя увереннее. Теперь он думал, как оживить, сделать более интересным политическое просвещение. Об этом он сегодня скажет в своем выступлении…

Сегодня, однако, собрание не обычное — доклад на нем о работе отрасли пожелал сделать сам министр, сказал, что этот главк подразделение в министерстве очень важное, и он хочет послушать, что скажут его работники. Фролов поначалу обрадовался, а теперь тревожился — а вдруг собрание министру не понравится?

Доклад министра Фролов уже прочитал, он спокойный, стороннему человеку мог показаться даже скучноватым из-за обилия цифр, но слышать его будут люди, для которых каждая цифра — это их непосредственное дело. Фролов считал очень полезным, что коммунисты смогут представить себе весь объем отрасли и соотнести с этим свой личный

труд. Его самого при чтении доклада взволновало ощущение громадного масштаба отрасли и сложнейшая взаимосвязь разбросанных по стране предприятий министерства. Никогда раньше он не представлял себе практически, что же такое всего одна отрасль промышленности нашего государства и как же трудно ею руководить. Тем острее ощутил он чувство ответственности за свою работу не только в главке, но и в министерстве.

...Учился Фролов и на этом партийном собрании, учился отвечать за все и за всех. После доклада министра ораторы — один резко, другой осторожно — критиковали недостатки в работе главка и министерства, но странным образом даже острая критика никого лично не затрагивала. Зал слушал ораторов спокойно, если не равнодушно.

Фролов остался недоволен и своим выступлением. Он нарочно взял слово не в конце прений, как вроде бы ему полагалось, чтобы заключить разговор, и почти всю речь посвятил производственной дисциплине, воспитанию в каждом сотруднике чувства ответственности на своем рабочем месте. Ему показалось, что он говорил об очень элементарном и известном каждому.

Все же одно выступление резко нарушило спокойное течение собрания. На трибуну поднялся совсем молодой человек, который начал с того, что объяснил, кто он такой — он уже больше года работает в министерстве, сюда направлен из института по распределению, его специальность — электронно-вычислительные машины. После этого он поблагодарил президиум за предоставление ему слова, поскольку его не было в списке заранее подготовленных ораторов. В зале возникло оживление, кто-то даже пытался захлопать, на что молодой инженер предостерегающе взметнул руку и сказал:

— Не губите, помилуйте…

В зале — дружный и явно благожелательный смех.

Последовала реплика министра:

— Может, вы перейдете от эстрады к делу?

Молодой человек согласно закивал, головой и, помолчав немного, сказал звонко:

— Я обвиняю руководство министерства, и в первую очередь товарища министра, в косном отношении к организации в министерстве автоматизированной системы управления.

Министр спокойно смотрел на оратора — ну, ну, давай дальше, мы внимательно слушаем…

— Главное безобразие в том, что за эту косность расплачивается государство, — продолжал инженер. — Необходимая техника закуплена. Ну как же, надо же быть на уровне века и к тому ж израсходовать соответствующие средства… Но техника эта лежит нераспакованная в подвале, а я уже год хожу из кабинета в кабинет, чтобы кто-нибудь отдал распоряжение хотя бы распаковать машины. Мне говорят: для этого хозяйства у нас еще нет помещения. Вот то-то и есть, что в нашем министерстве нет помещения для передовых методов руководства сложнейшей отраслью промышленности!..

Все видели, как разозлился министр, как писал он что-то резкими скачками карандаша.

Сразу после этого выступления с заключительным словом выступил министр. Минут за пять он в общей форме подвел итоги собрания. Похвалил выступление Фролова, сказал: «Оно было самым главным». Наконец скороговорочно пробормотал признание, что нововведения в системе управления действительно приживаются в министерстве недостаточно энергично, что есть в этом, конечно, и его вина, но… тут министр как-то поудобнее устроился на трибуне, вроде даже прилег на нее грудью и сказал небрежно:

— Но поводу последнего выступления… — Он довольно долго молчал, вглядываясь в зал. — С детских лет, когда я еще слесарил, знаю одну святую истину — за всякое дело отвечает в первую голову тот, кому то дело поручено. А наш молодой специалист, молодой, да, видать, ранний, разнес в пух и прах всех, но себя из числа виноватых вывел начисто. Он не виноват ни в чем! Против этого я могу пока привести только один факт: оратор предъявил обвинение и мне лично, но откуда он знает о моем отношении к этому делу, если я его вижу первый раз в жизни вот сейчас, на этом собрании? Если он такой боец, что не боится критиковать министра, как можно поверить, что он не мог ко мне проникнуть за целый год своей отчаянной борьбы за распаковку машин? Или он ждал, пока распаковку его техники произведу я? В общем, я за критику, и, как вы знаете, за самую резкую критику, но не следует ли иным критикам, прежде чем кумушек считать трудиться, на себя оборотиться? Давайте же будем, товарищи, деловыми, каким деловым было это ваше собрание.

Министру поаплодировали.

Собрание закончилось в начале десятого. Фролов собирал со стола свои бумаги, когда к нему подошел помощник министра, передавший просьбу министра сейчас же зайти к нему…

В кабинете министра было темновато — горела только настольная лампа да одинокое бра на стене. Министр сидел в кресле, откинувшись на спинку, и после нескольких часов некурения на собрании жадно дымил сигаретой. Фролов расположился за приставленным столиком. В отсвете настольной лампы он близко видел лицо министра — болезненно отекшее, иссеченное морщинами — и как-то впервые обнаружил, что министр уже сильно постаревший человек, наверно, ему уже под семьдесят.

— Как вам собрание? — тихо спросил министр.

Фролов замялся.

— Я неудовлетворен… и жалею, что похвалил собрание. Было сплошное вышивание гладью, — жестко сказал министр.

— Критика все же была… — мягко возразил Фролов.

— Вышивание гладью, — повысил голос министр. — Все проблемы, все вопросы, подвергнутые критике, имеют фамилии, имена и отчества. Критика проблемы вообще стоит ломаную копейку в базарный день. Все хотел до собрания поговорить с вами, не смог… — министр шумно вздохнул и, затянувшись сигаретой, добавил: — Я люблю критику настоящую, действенную.

— Можно мне у вас спросить? — вдруг понесло Фролова, и он уже не мог остановиться. — Вы хотели бы критику такую, как иногда у вас на коллегиях?

Министр пристально посмотрел на Фролова и промолчал. Не получив ответа, Фролов чувствовал себя крайне неловко, не знал, как поступить, — может, следовало встать и попрощаться? Но зачем же он приглашал?

Тихо было в кабинете, все помещение министерства уже давно было гулким от пустоты, успокоились телефоны.

— Вы еще безобразно молодой человек, но мне нравится, как вы думаете, — тихим голосом начал министр. — Знаете, сколько я людей всяких за свою жизнь повидал? Научился видеть их с одного взгляда. Сегодня вы говорили о самом главном — ответственность каждого на своем месте.

— Это же элементарно, — тихо сказал Фролов.

— Ошибаетесь, дорогой, — повысил голос министр. — Если хотите знать, я бьюсь за это всю жизнь. — И вдруг, без паузы сказал тоскливо: — Болен я, товарищ Фролов. Тяжко болен… — Улыбнулся как-то просительно: — Пусть это будет нашей с вами тайной…

Но это и к вашему вопросу, какую критику я люблю. С нервами плохо, я стал как-то преувеличенно резко видеть всякое нерадение. Другой раз как нахлынет... Болезнь свою ненавижу... Вот не ладится что-то, и вижу — да это же было уже однажды, а мы снова на том же месте. Выходит, жизни моей не хватило, чтобы с этим элементарным управиться. Да что же это такое? Для чего жизнь прошла? Как подумаю так, меня вязать надо... — министр чуть улыбнулся одними пересохшими губами и немного помолчал. — Повторяю — вы хорошо выступили. Вот это — ответственность каждого за дело на своем рабочем месте, — это мне сдается самым главным, и за это надо бороться нашим коммунистам, комсомольцам, всем... — Он дернул головой и сказал со злостью: — Но нельзя из критики эстраду делать... как нынешний этот оратор по поводу АСУ! Нельзя! И парень, я вижу, хороший, и за дело болеет, а вот... сам не знаю, что было скверное в его выступлении, но было же, было! — Министр вздохнул. — И все же знаю, излишне я его подрубил. И знаю почему, черт бы меня побрал! С АСУ дело затянулось — он прав. И в том я тоже виноват — опять он прав. Но что я вдруг подумал? Это АСУ, полный его эффект я уже не застану, тем не менее учиться этому, тратить на это время придется, а столько еще не сделано куда более простого! А он что тот прокурор: я обвиняю! Я обвиняю товарища министра! Я не могу... — оборвав себя, министр сказал грустно: — А он, этот парень, ответственность за свое рабочее место как раз и чувствует. Верно?

— Да, зря вы его, — тихо согласился Фролов.

— Я вас позвал не учить меня, — негромко рыкнул министр. — Надо гайки подтягивать в министерстве и в вашем главке — вот о чем я собирался с вами беседовать. У меня уже нет сил... времени нет, добраться до каждого не успею... а вы можете и

обязаны, — добавил он с какой-то печальной злостью. — Договорились?

Фролов промолчал. Не потому, что не хотел этой договоренности, а потому, что не знал, что в таком случае можно ответить. И министр это понял, засмеялся устало:

— У нас с вами теперь до черта всяких тайн.

На том они и расстались…

На другой день настроение у Фролова было неважное.

Вчерашний вечерний разговор с министром все-таки оставил тяжкое впечатление, но совсем не той жизненной ситуацией, в которой оказался сейчас министр, это было, в общем, естественным и неизбежным — старость ждет всех. Министр, вся жизнь которого была отдана партии и ее святому делу, вызывал у него беспредельное уважение и… жалость. И ведь так получалось, будто он избрал именно его, Фролова, который в два раза его моложе, чтобы передать ему эстафету своей жизни, своих принципов. Ответственность за это Фролов осознавал сейчас обостренно, до боли в сердце… Но чтобы оправдать это доверие, ему надо одно — так хорошо работать, чтобы это почувствовали все и… он. Легко сказать. И когда министр еще раз придет в их главк?

Глава восемнадцатая

Двухместное купе в спальном вагоне располагало к разговору неторопливому, а главное — без опаски, нет лишних ушей, распяленных справа, слева, сверху и снизу, размышляется тут спокойно. Тут двое выделены из всего мира, и, однако, они мчатся сквозь этот мир, созерцая его в широкое окно вагона. Надоело созерцать, задерни занавеску, опусти шторку — и нет

того мира, словно его и не было. Проревет он секундно встречным поездом, ан не страшно — лети себе своим путем, а у нас путь свой. И разговор свой… на двоих. И молчание — тоже…

Так размышлял, удобно развалясь в мягком кресле, Юрий Янович Залесский и не без раздражения посматривал на крутую розовую спину своего спутника, продолжавшего спать со сладким подхрапом. Одеяло у него соскользнуло на пол, оголив спину, плечи и гофрированный загривок. Горазд поспать Михаил Борисович Лукьянчик. Завидный у него характер — только что горел голубым пламенем, и хоть бы что. Но в этом нет и тени храбрости, а положиться на него, кажется, можно — очень он любит деньги. Любопытно — за что он их любит? Он же, судя по всему, понятия не имеет о красивой жизни, о шике…

Сам Юрий Янович Залесский знает, что такое красивая жизнь. Но имел ли он ее? Ему почти шестьдесят лет, можно сказать, жизнь позади, и почти вся она прошла в ожидании той самой красивой жизни, какая ему снилась во всех драгоценных подробностях, но лишь иногда прорывалась к нему на короткий срок. В кругу близких людей он, когда выпивал, любил многозначительно произносить фразу: «Я мог бы жить прекрасно…» И больше — ни слова. Каждый мог думать что угодно, то ли он мог бы получить квартиру лучшую, чем имел, а то, может быть, и казенную дачу. А то, может, он мог бы жить не в Донбассе, а в Крыму или в Москве? Или мог бы получить должность более солидную, чем его нынешняя в «Сельхозтехнике» Донецкой области? А может, вообще жить где-то совсем в другой стране, скажем, во Франции на Лазурном берегу?

Обычно, сказав эту фразу, Юрий Янович обводил всех затуманенным взглядом и думал: где вам понять,

что я имею в виду, а главное, мне абсолютно не нужно, чтобы кто-то понял…

Юрий родился в 1910 году… До самой Великой Отечественной войны он жил, не испытывая никаких особых трудностей, жил под крылышком у мамы, которая, кроме всего, достаточно хорошо зарабатывала. У него самого работа была интересная, он оказался в группе энтузиастов технической реконструкции железнодорожного транспорта, возглавляемой видным ученым. Но там он был просто хорошим инженером, и не больше, и ему обычно поручали всякие проверочные расчеты по идеям, которые выдвигались другими. Это его раздражало против товарищей по группе, и его считали человеком с неуживчивым характером. Потом, позже, здесь ему дадут в общем хорошую характеристику, но про неуживчивость в коллективе все же напишут…

Душевный его покой был в прошлом, которое из-за революции не перешло в настоящее. Как и прежде, он любил слушать рассказы матери о той их жизни с отцом — безмятежной, легкой, красивой… Вот захотели как-то мама с папой поехать в Италию, на Ривьеру, папа выписал чек и послал свою конторщицу куда-то, и через час она принесла их заграничные паспорта и билеты до Парижа, и потом морем — до Итальянской Ривьеры. Там они снимали номер из трех комнат с балконом, который висел над морем.

Он страшно жалел мать и всегда стремился ей помочь. О, если бы он мог вернуть ей ту жизнь! Со временем он все чаще думал о сестрах матери, почему-то был уверен, что они за границей живут той жизнью, какой лишились его мать и он. Эта мысль настолько владела им, что весной 1941 года он взял отпуск и поехал во Львов (поближе к Польше) искать сестру матери, вышедшую за польского коммерсанта

Капчинского. И представьте себе — он нашел ее в первый же час поиска: Капчинских знали многие львовяне, это был известный в городе коммерсант — маклер по купле-продаже недвижимой собственности. Их особняк, по самую крышу утопавший в зелени, находился на узенькой улочке позади костела.

Еще не веря происходящему, Залесский нажал кнопку, которую отыскал сбоку глухой калитки. Где-то в глубине сада отозвался пронзительный звонок, и через минуту железное веко — прорезь для почты — неслышно поднялось и его ощупали два темных глаза.

И он попал в дом из той жизни, о которой рассказывала мама. А может, даже получше. Снаружи такой скромненький, внутри особняк оказался наполненным роскошью. Когда Залесский увидел вделанную в пол громадную ванну из розового мрамора, он замер. Так замирают люди возле статуи Давида во Флоренции. Гостиная была обставлена белой мебелью. Здесь Залесский впервые увидел белый рояль, и он тоже поразил его. День был холодный, дождливый, и в столовой топился камин. И опять же впервые в жизни Залесский сидел расслабленно перед камином, всем телом впитывая его тепло. Рядом сидела владелица особняка, его тетушка Ольга Эдуардовна Капчинская. Он встревоженно слушал ее рассказ. Дело в том, что и роскошный этот особняк, и сама тетушка висели на нитке. Во время нападения немцев на Польшу ее муж находился в Швейцарии, а потом не поспешил вернуться в ставший советским Львов и слал ей оттуда распоряжения, как и за сколько продать особняк и затем не медля ехать к нему в Швейцарию.

Но особняк никто не покупал. Потом произошло присоединение Львова к Советам, и особняком заинтересовалась новая власть, дважды приходили какие-то комиссии, которые тщательно осматривали дом. Даже вскрывали на чердаке перекрытия. Что

надумали эти комиссии — неизвестно. Ольга Эдуардовна сама ходила в горсовет узнать, как быть с особняком? Там глянули в какие-то бумаги и сказали, что она может распоряжаться им как хочет.

— А как мне уехать в Швейцарию? — простодушно спросила она, решив бросить особняк на произвол судьбы.

— На этот счет, — сказали ей, — есть установленные законом правила оформления, зайдите в милицию, там вам все объяснят.

Но в милицию она не пошла….

И тут как раз появился племянник, то есть он, Юрий Янович Залесский. Она решила, что раз он работает на железной дороге, ему и карты в руки отправить свою тетушку в Швейцарию.

Увы, племянник ее надежд не оправдал.

Однако Юрий Янович сделал невероятное — по истечении отпуска не вернулся на работу в Ленинград и остался жить у тетушки, уповая неизвестно на что. Мало того, он написал матери, чтобы и она бросила все и тоже ехала во Львов.

После долгих колебаний мать Залесского выехала из Ленинграда 21 июня 1941 года, и с тех пор о ней ни слуху ни духу — как в воду канула. Видно, на роду у них были написаны пропажи во время войн.

30 июня 1941 года гитлеровцы были во Львове. А 8 июля гитлеровский офицер в звании гауптмана, сопровождаемый двумя вооруженными солдатами, явился в особняк тетушки Залесского. Она, Юрий Янович и горничная Катерина в это время сидели за столом и пили чай. Ввел эту демократию Залесский — сажал за стол горничную, после того как она все приготовляла к еде.

Гауптман неторопливо, одним движением головы, оглядел старинную мебель, висевшие на стенах картины и, наконец, сидевших за столом.

— В этом доме есть евреи? — спросил он вполне мирно.

— В этом доме нет и не может быть евреев, — четко, на хорошем немецком языке ответил Залесский. — Это дом известного, находящегося ныне в Швейцарии, польского коммерсанта, и вы, господин офицер, сделали бы благородное дело, посодействовав семье мадам Капчинской соединиться с ее мужем.

Гауптман спросил, но уже пожестче:

— А кто здесь вы?

— Я родной племянник мадам Капчинской, — Залесский привстал и стукнул каблуками.

— Еще мужчины в доме есть?

— Никак нет, — совсем уж по-солдатски ответил Залесский, ему почему-то хотелось выглядеть послушным и дисциплинированным.

Гауптман пробормотал что-то непонятное и, найдя в карманах карандаш и блокнот, спросил:

— Ваше имя, фамилия?

— Юрий Залесский.

— А мадам?

— Ольга Капчинская.

Капитан записал, спрятал карандаш и блокнот и громко, будто перед строем, объявил:

— Вы отвечаете за каждую вещь в этом доме. Завтра не позже десяти часов утра представьте мне в комендатуру города опись в двух экземплярах всего имущества. За неисполнение… — гауптман сделал непонятный жест рукой, но в общем было ясно, что за неисполнение приказа: ничего хорошего ждать не приходится.

Всю ночь Залесский вместе с тетушкой составляли эту проклятую опись, еле уместившуюся на десяти страницах с двух сторон. И это еще при том, что многие вещи тетушка в опись не вставила…

Утром Залесский понес опись в комендатуру.

Он шел по улицам города, недавно захваченного фашистами, он видел их, фашистов, в чистеньких мышиных мундирах, не закрывавших зада, и в опереточных фуражках с задранными тульями; слышал их речь, которая была ему понятна (один сказал другому: «Ты представляешь, отсюда нельзя позвонить в Мюнхен»), — и все это не вызывало у него ни чувства протеста, ни даже огорчения. Он все-таки продолжал находиться в той жизни, о какой мечтал. Вот и сейчас он шел по делам особняка, который ему уже казался почти своим…

Потолкавшись на всех этажах комендатуры, Залесский разыскал наконец того гауптмана, который приказал составить опись имущества. Немец долго не мог сообразить, о чем речь, а когда понял, посмотрел на Залесского удивленно, взял у него опись, спрятал в карман и сказал строго:

— Отвечаете перед немецкой армией за каждый гвоздь…

— А как насчет разрешения нам уехать в Швейцарию? — спросил Залесский.

— У вас что, так много золота или долларов? — прищурился гауптман.

— Да нет, но живущий там мой дядя, он же муж тетушки, очень богатый человек… там…

— Пусть он там и остается.

— А мы можем обратиться в генералитет немецкой армии? — спросил Залесский, как советовала тетушка.

— Сколько угодно, когда угодно и куда угодно.

Залесский отправился искать генералитет…

Как это ни покажется удивительным, но спустя два месяца его тетушка уехала в Швейцарию. Но без него, так как немецкие власти имели указание только о ней. Тетушка поклялась, что, как только доберется до Швейцарии, немедленно сделает все, чтобы туда приехал и он. Но увы, никаких указаний не последовало,

и Залесский коротал холодную зиму в нетопленом особняке, согреваясь, впрочем, возле сорокалетней горничной Катерины.

В первых числах февраля сорок второго года утром к особняку подъехали два грузовика, и по списку, когда-то составленному Залесским и его тетушкой, солдаты вынесли и увезли обстановку. Слава богу, продовольственные запасы не тронули…

Кое-как они зиму прожили… Первой против такой жизни взбунтовалась горничная Катерина, она заявила, что больше не хочет жить как мышь в подполье, и, как только чуть потеплело, уехала к своим родственникам в Закарпатье. Да, удивительно, но случилось именно так: взбунтовалась крестьянская женщина, выросшая в панской Польше, а Юрий Янович Залесский — советский инженер — один остался в особняке, безропотно продолжая эту странную жизнь. И надо было видеть, как он по утрам обходил комнаты и метелкой из павлиньих перьев сметал пыль с остатков мебели и подолгу стоял перед не взятым немцами портретом сердитого усатого дедушки, внуку которого и мужу тетушки Залесского принадлежал этот особняк. Залесский странным образом ощущал себя причастным к этому особняку и ко всей той жизни, что прошла в нем, и, таким образом, сейчас он представлял себя и хранителем особняка, и продолжателем той жизни, которой особняк принадлежал.

Весной в особняк явился немецкий лейтенант с письмом на имя тетушки Залесского. Письмо было от ее сестры Лидии. Лейтенант письмо Залесскому не отдал, и тогда Юрий Янович стал умолять немца сообщить родственникам, что здесь, во Львове, в трагическом положении, без средств и человеческих прав, находится сын их младшей сестры Марии — Юрий Залесский. Лейтенант молча выслушал Залесского, ничего не сказал, козырнул и ушел.

Спустя две недели Залесский был вызван к какому-то нацистскому бонзе в звании полковника, который вместе со своим аппаратом занимал дом в центре Львова. С Залесским он был изысканно вежлив, угостил сигарой, интересовался, как он тут живет, и, наконец, сообщил, что его тетушка Лидия вместе со своим мужем находится в Норвегии, где ее муж выполняет особые задания рейха. Переехать Залесскому туда, к сожалению, невозможно — там идет война. Как, впрочем, и в Швейцарию, где проживает другая родственная Залесскому семья, но туда по причине другой — эта семья не выразила на то желания.

— Тетушка Ольга не хочет меня выручить из беды? — наивно воскликнул Залесский. Полковник огорченно промолчал.

Залесскому была предложена работа в качестве переводчика полковника. И он тут же согласился.

Это было подразделение гитлеровской службы безопасности, отвечавшее за порядок в самом Львове, но сюда поступали только особо важные дела. Залесскому выдали какое-то странное обмундирование: брюки галифе с кожаным задом, темно-серый френч со стоячим воротом, сапоги с непомерно длинными голенищами и финскую кепку-каскетку. Что означала эта форма, Залесский так и не узнал, но было похоже, что все это просто было подобрано на каком-то складе — вещи пахли карболкой. Но какое это имело значение?

Утром к особняку подкатывал автомобиль, отвозивший его на службу. Вечером он привозил его обратно. И одно это крепко сливалось со всеми его ощущениями жизни.

Спустя несколько дней первая работа — ночной допрос пойманного во Львове русского подпольщика. Это был совсем юный паренек в оборванной одежде не по росту и потому похожий на наших беспризорников двадцатых годов. На грязном лице блестели

антрацитно-черные глаза. У него спрашивали только одно — куда он шел, когда его задержали? Он не отвечал и тихо, отрешенно улыбался. Его начали бить два здоровенных эсэсовца. Потом Залесский снова переводил ему вопросы немцев, паренек молчал, но уже не улыбался. Тогда они его, на глазах у Залесского, пристрелили, сказав, что ниже их достоинства тратить время на этого щенка. А «щенок» лежал на полу, и тело его еще содрогалось от конвульсий… Залесский оформил и сам тоже подписал протокол, в котором было сказано, что арестованный красный подпольщик убит при оказании сопротивления.

На другой день новый допрос. Теперь это был какой-то русский профессор, командированный из Киева во Львов для работы во Львовском университете. Он не успел эвакуироваться и прятался на квартире у православного священника. Его тоже убили на глазах у Залесского.

Ему стало страшно. Нет, нет, он считал необходимой для немцев такую… работу, более того, он хотел бы быть причастным к делам этой покоряющей весь мир великой и грозной власти. Но он боялся покойников. Могли же ему предоставить такую работу, чтобы он сидел в кабинете, принимал население и внушал ему основы нового пришедшего к ним порядка.

Однажды, когда при нем начали избивать пожилую женщину, его стошнило, и тогда эсэсовец взял его за загривок и с тихим возгласом «свинья!» вышвырнул за дверь…

Но затем он получил-таки службу, какую хотел, единственный ее недостаток был в том, что пришлось запереть особняк и перебраться в Киев. Там он поступил в распоряжение «Гуманитарной комиссии полковника-интенданта Гаузнера». Под этим названием действовало небольшое воинское подразделение, контролировавшее вывоз из Киева в Германию

предметов живописи и всякого иного искусства, а также библиотек. Залесский стал переводчиком и даже немного консультантом полковника Гаузнера.

Год он проработал там совершенно спокойно. Даже позволил себе три раза съездить во Львов, и после этих поездок особняк снова наполнился мебелью, картинами и книгами, и на его дверях появилась сургучная печать с немецким орлом — вскрывать запрещено.

А осенью сорок третьего года с ним случилось черт знает что… Русские почему-то не стали ждать, когда замерзнет Днепр, форсировали его и пошли на Киев. Залесский с ужасом наблюдал возникшую в Киеве панику среди немцев. И вдруг — как рука бога — полковник Гаузнер отправляет его с вагонами своего личного имущества в Германию в качестве сопровождающего груз. Ночью эшелон, к которому были подцеплены два вагона Гаузнера, тронулся в путь на запад. Залесский прекрасно устроился на кожаном диване в одном из вагонов. Он не знал, что за эти дни случилось на фронте, но однажды, когда эшелон стоял на станции Житомир, ранним утром его разбудил стук в дверь вагона. Он кое-как оделся, отодвинул дверь — и увидел чистое с легким морозцем ноябрьское утро, но у вагона стояли советские солдаты. И тут же он был взят в плен…

Вместе с пленными немцами он совершил длинное путешествие в глубь России и осел в лагере. Там быстро разобрались, кто — кто, и Залесским занялся особый отдел. Но то ли работник там оказался неопытный, то ли Залесский больно хитро повел себя, а только все его похождения в оккупированном Львове и потом в Киеве остались нераскрытыми — вольнонаемный, денщик у полковника Гаузнера, и ничего больше. Из Ленинграда прислали весьма хорошую характеристику с единственным критическим замечанием о неуживчивости… Переводчиков в лагере не хватало, а

немецким языком он — спасибо матери — владел в совершенстве. И Залесский остался в том же лагере, но уже переводчиком…

На все четыре стороны Залесский был отпущен только в сорок седьмом году.

Еще работая в лагере, он предпринял все, что мог, для розыска матери, но безрезультатно. Во Львов он не поехал — от греха лучше быть подальше. Не захотел он остаться и в Ленинграде, хотя комната, как выяснилось, ждала его. Забрав все, что представляло хоть какую-то ценность, Залесский уехал в Ригу и там устроился на неприметную должность в Министерстве сельского хозяйства. Ему дали квартиру в центре города и две комнатки в дачном доме на взморье. Началась мирная жизнь Юрия Яновича Залесского, жизнь, конечно, не такая, о какой он мечтал, но в разоренном войной мире он все же получил жизнь не худшую. Вскоре он женился на латышке по имени Айна, и это была первая в его жизни удача. В запущенную квартиру пришла прекрасная хозяйка, молодая, красивая женщина, очень смешно говорящая по-русски. Она была единственной дочерью крупного оптового торговца в прежней Латвии, который удрал из Риги вместе с немцами в 1944 году, бросив жену и дочь. Спустя пять лет тридцатилетняя Айна похоронила мать. Все послевоенное время она работала секретаршей в Министерстве сельского хозяйства, там ее Залесский и нашел. Жили они хорошо. Айне надоело быть одинокой. Залесский был доволен заботами молодой и красивой Айны и своей довольно бездельной службой. Единственно, чего ему не хватало, это денег, хотелось, чтобы их было побольше.

В июле пятьдесят шестого года Залесскому на работе предложили семейную путевку в круиз по странам Балтийского моря. И они отплыли…

В Гамбурге их пароход стоял три дня, и все участники круиза совершали экскурсии по

достопримечательным местам огромного портового города. Залесский и его жена хорошо говорили по-немецки и поэтому предпочли знакомиться с городом сами.

В последний день, когда они обедали в маленьком кафе под открытым небом, к ним подошел престарелый господин, по одежде похожий на пастора, и, обращаясь к Залесскому, сказал: «Я рад возможности передать вам привет от ваших тетушек Ольги и Лидии, которые изволят проживать в Федеративной Республике Германии, именно здесь, в городе Гамбурге, и они были бы несказанно счастливы увидеть вас..» Старичок стоял полусклонясь у их столика и ждал ответа. Айна шепнула: «Ты просто обязан их повидать». Залесский сказал:

— Я могу повидать их только сегодня, ночью мы покидаем Гамбург.

— Тогда прошу вас проследовать со мной вот туда, до автостоянки. Они подошли к большому черному автомобилю, старичок открыл заднюю дверцу и помог сесть Айне, потом Залесскому. Сам сел рядом с шофером, и машина покатилась по узеньким улицам...

В сверхсовременном доме из алюминия и стекла Залесский увидел только одну свою тетушку — Лидию Эдуардовну и ее мужа — когда-то военного дипломата господина Кластa, теперь сильно поседевшего, спортивно подтянутого мужчину, занимающегося, как он сказал, представляясь, маленькой коммерцией для поддержания домашнего очага... Другая тетушка — Ольга, к сожалению, сейчас находилась в Испании на курорте, но ей послана телеграмма, и она непременно позвонит оттуда, и пан Залесский сможет с ней поболтать.

Встречены были Залесские ласково и вместе с тем как-то осторожно, точно ждали от них какой-то

неприятности и старались быть к этому готовы. Особенно — господин Класт. Не очень длинный выяснительный разговор, и Лидия Эдуардовна повела Айну показывать дом, а пан Залесский с господином Кластом закурили по тяжелой сигаре. И вдруг господин Класт сказал:

— А вы меня однажды очень серьезно подвели.

— Да что вы? Когда же это? — удивился Залесский.

Класт достал из кармана какую-то коричневую книжечку и протянул ее Залесскому. Это было собственное удостоверение личности Залесского с его фотографией, которое он получил, поступив во Львове на службу в эсэсовскую часть.

— Без моей рекомендации вы этот документ тогда получить не смогли бы…

— Я не переношу покойников… — потерянно произнес Залесский, думая, что подвох с его стороны был в том, что он однажды не перенес зрелища пыток и его вырвало…

— Мне устроить вас туда было не легко, — вздохнул Класт.

В это время в комнату, где они беседовали, вошел высокий старик, седые волосы которого были пострижены под бобрик, усы подозрительно темные — оттеняли резко очерченный рот. Он подошел прямо к Залесскому и протянул ему руку:

— Рад видеть, вас в добром здравии, господин Залесский…

Залесский ответно пожал сильную ладонь мужчины и всматривался в него с растущей тревогой, которая наконец взорвалась полной ясностью — это был полковник, в кабинете которого там, во Львове, убивали…

— Я слышал, господин Залесский, что у вас на счету минуты, — сказал бывший полковник и, опустившись в кресло, тоже закурил сигару и продолжал с усмешкой:

— Но нам особенно много времени и не надо, мы позволим себе надеяться, что вам все ясно и без слов. Ваше удостоверение остается у нас. Господин Класт даст вам сейчас немного денег. Это — аванс. Если будете что-нибудь покупать сегодня в Гамбурге, сделайте предпочтение вещам мелких габаритов, чтобы не привлекать ничьего внимания на вашем корабле. Перед рождеством вам надо будет отправить из дому поздравительную открыточку тетушке по адресу, который вам сейчас дадут. Когда вы нам понадобитесь, мы вас найдем…

В это время вернулась тетушка с Айной, и разговор оборвался — Залесский осмотрелся по сторонам, точно надеялся, что все это сейчас исчезнет и он проснется. Впрочем, пока особого страха он не испытывал — тетушка так мило ему улыбалась и она так была похожа на его мать…

Когда уходили, господин Класт сунул ему в карман деньги. Машина отвезла их в центр города, и они высадились из нее на шумной торговой улице.

— Родственники раскошелились, и у нас есть деньги, — объявил Залесский жене. — Давай-ка мы их истратим.

Денег оказалось не так уж мало, и они купила несколько дорогих вещиц.

Ночью пароход оставил Гамбург, и Залесский, понаблюдав, как постепенно таяло за кормой электрическое зарево города, сказал себе: вот и прекрасно, оставайтесь вы при своих, а я — тоже при своих. И у него было прекрасное настроение.

В последующие два года Залесского никто не беспокоил, и он жил бестревожно, но затем некто, явно находившийся в Риге, опустил в их домашний почтовый ящик открыточку с поздравлением Залесского с днем рождения. То, что к поздравлению присоединились и обе тетушки, сказало все — они его не забыли, и можно

ждать от них что угодно. Быть их шпионом Залесский не хотел. Это очень опасно, за это — высшая мера. Но это совсем не значило, что он стал защитником советской жизни, его идеалом была и оставалась та, другая жизнь из мечты, из рассказов матери и какую он, что называется, одним глазком увидел тогда в Гамбурге.

Залесский решил предохраниться от шпионства довольно простым способом — на их сирены он откликаться не станет и будет менять свой адрес всякий раз, когда они его найдут. Но к тетушкам он однажды все-таки переберется и для этого будет копить средства…

Сперва они переехали на юг, в город Ростов-на-Дону, где Залесский получил работу в местном совнархозе. Устроил его туда спутник по тому балтийскому круизу — Ростовцев. Сперва в поезде подружились их жены, а потом и они. В жизни он оказался славным заводным мужиком дикой пробивной силы. Занимая в Ростове какой-то небольшой пост, связанный с контрольно-ревизионной деятельностью, он устроил Залесского в группу инженерной инспекции, ведущей наблюдение за ходом строительства торговых объектов. Не прошло и трех месяцев, как они вместе начали грести деньги лопатой.

Придумал эту авантюру Ростовцев. Все было построено на том, что Залесский знал болячки каждой стройки, сообщал о них Ростовцеву — и его ревизоры немедленно «обнаруживали» эти болячки. Потом Ростовцев мог результаты ревизии с треском двинуть вверх, а мог и тихо спустить в мусорную корзину. Или Залесский делал другое — предупреждал руководителей стройки о ревизии и помогал им болячки спрятать… В это время Ростов бурно строился, и им было где поживиться. На одном только строительстве большого ресторана они положили себе в карман около

20 тысяч рублей. Несмотря на то что денег у Залесского было теперь более чем достаточно, они с Айной жили очень скромно и только раз в году, уезжая в отпуск в Сочи или на Рижское взморье, там, как выражался сам Залесский, «давали гастроль»…

Фирма Залесский — Ростовцев процветала вплоть до упразднения совнархозов, и их афера оборвалась весьма благополучно и как бы сама собой. Семья Залесских перебралась в Донецк, а Ростовцевы уехали в Москву. Айна не понимала, почему ее муж избрал именно этот город. Но Залесский знал, что делал, — сюда он переехал по сговору с тем же Ростовцевым. Была задумана простая афера, в основе которой были высокие заработки шахтеров и их желание иметь собственные автомашины. Залесский, поначалу осевший на небольшой должности в облторготделе, готовил ходатайства от шахт, шахтоуправлений и трестов в Москву с просьбой выделить автомашины для продажи за наличный расчет шахтерам-стахановцам.

Позже Залесский перешел на работу в местную «Сельхозтехнику». Его боссом снова стал Ростовцев.

Лукьянчик закряхтел, заерзал на полке, смешно ловя сонной рукой сползшее одеяло.

— Не хватит ли храпеть? — не без раздражения спросил Залесский.

Лукьянчик медленно перевернулся от стены к свету божьему и закрыл глаза, ослепленный солнцем.

— Сколько уже? — спросил он, зевая.

— Одиннадцать, уважаемый, один-над-цать. Хватит. Вставайте!

Лукьянчик почувствовал раздражение в голосе Залесского и энергичным рывком поднялся, спустил на пол ноги.

— Хорошо поспал, Юрий Янович, очень хорошо… — Он хрустко потянулся и стал одеваться. Когда он

вернулся из туалета, на столике уже сверкали на солнце, позвякивая, стаканы с горячим чаем, на листе бумаги салилась жирная украинская колбаса и белели разломанные сдобные булочки.

Лукьянчик крякнул:

— Однако… красотища какая…

— Садитесь, уничтожайте красотищу, — пригласил его Залесский и начал есть сам.

Позавтракали молча. Залесский поглядывал на Лукьянчика и думал, потянет ли он серьезное дело. Сорвать взятку в сто рублей каждый дурак сможет, а если надо головой потехнарить? Но Ростовцев в том письме писал, что если южный человек (речь шла о Лукьянчике) уже в форме, то желательно привезти в Москву именно его. Вот он его и везет, не очень все-таки уверенный, что Лукьянчик способен на сложное дело. Ладно, посмотрим — увидим.

А Лукьянчик пытливо и не без опаски посматривал на Залесского. Первый раз он с ним наедине вне службы и, так сказать, на равных. Его волнует тот же вопрос — надежен ли сей товарищ? Оба они, в общем, с уже прожитой жизнью, определившей одинаковую их нравственную сущность, и их тревожит сейчас не опасение, что другой может изменить этой сущности, а только прочность его характера перед возможными трудностями.

Крупные жулики, как правило, приходят к воровству не случайно. Один махровый жулик на суде во время допроса воскликнул:

— Да я бы никогда не пошел на такое, если бы случайно не встретил вот этого… — и он под дружный смех зала оглянулся на сидевшего рядом с ним на скамье подсудимых другого, такого же, как он, матерого хапугу.

Жуликов сводит не случайность, а общность взглядов на жизнь, на законы и мораль, а взгляды

рождаются не при случайной встрече.

Вот и эти два жулика, завтракающие в поезде, — мы знаем — шли друг другу навстречу, ведомые одинаковыми взглядами, выработанными не сегодня, а давным-давно, в течение всей их жизни, что не мешает им поглядывать друг на друга с опаской, но это только потому, что они впервые вступают в одно общее воровское дело. Впрочем, истинной дружбы, на основе полного доверия, среди жулья и не бывает.

Проводница убрала остатки пиршества, застелила постели, и они уселись к окну, за которым каруселила грустная осенняя степная равнина с редкими складками оврагов. На проводах сидели мокрые вороны.

— Российская скукота, — кивнул в окно Лукьянчик.

— Це, мий друже, ще Украина, — уточнил Залесский.

— Все равно скукота, — зевнул Лукьянчик и, отвернувшись от окна, начал оживленно рассказывать: — Я во Франции был, там на поезде ездил. Глянешь в окно, словно театр видишь — все такое чистенькое, яркое, подстриженное, причесанное, и селянки стоят у дороги и ручками машут, улыбаются. И вот поверите — так всю дорогу.

— По нашим масштабам селянок не хватит, чтоб вдоль всей дороги махали проезжающему господину Лукьянчику, — рассмеялся Залесский.

— Не пойму, чего вы смеетесь, Юрий Янович? — неожиданно вспылил Лукьянчик. — Ведь что я знаю по горькому опыту? Я в беду не попал бы, если бы мой заместитель по исполкому был со мной до конца откровенным и сказал бы мне про свое старое дело. Смотришь, мы бы и придумали ход, чтобы погасить то его прошлое. А он играл со мной в молчанки и все любил, как и вы, насмешничать да поучать.

— Я, Михаил Борисович, не насмешничаю, — не сразу заговорил Залесский. — И молчанка не моя игра.

— Я хочу полного доверия. И чтобы все — в открытую.

— Я от вас не скрываю ничего.

— А кто тот человек, к которому мы едем? — наступал Лукьянчик.

— Ростовцев Александр Платонович, — ответил Залесский, но больше никаких подробностей не сообщил.

Лукьянчик подождал немного и стал думать о своем… С семьей все решилось хорошо. Дочка удачно вышла замуж и уехала на Дальний Восток, за них он теперь мог не волноваться. Но деньги он будет им посылать и, может быть, съездит к ним туда, на край света… Жена его — у своих родителей, осевших в Норильске. А когда сам достукает до пенсии — не так уж много осталось, — он постарается собрать всех возле себя и для этого построит или купит дом в благословенном Крыму. У жены на это сохранилась крупная сумма, а деньги будут и еще. Ради них он и сейчас едет в Белокаменную. Посмотрим, что там задумали… Из раздумий его вырвал голос спутника:

— Михаил Борисович, интересно, есть у вас какие-нибудь претензии к советской власти?

— А никаких, Юрий Янович, только пусть она живет сама по себе, а я сам по себе. Понимаете?

— А разве так возможно? — Насмешливая улыбка не сходила с лица Залесского, это должно было, в случае чего, означать, что вопросы задаются в шутку.

— А почему нет? Я делаю по службе все, что от меня требуется, но затем я делаю то, что мне самому хочется.

— А вдруг вам захочется спихнуть с рельсов поезд, в котором мы сейчас едем?

— О нет, Юрий Янович! Хамить этой власти я не хочу, сие опасно, Юрий Янович. У нее много глаз и ушей, у нее длинные руки.

— А как назвать то, что вы делали в своем Южном?

Лукьянчик даже рассмеялся непонятливости Залесского:

— Я же получить свое не отказываюсь. Нет, нет… Но там власти вообще не было никакого ущерба. Человечек давал взятку и получал квартиру. Кому в этой ситуации плохо? Человечку немного плохо, конечно. Он потерял сотню-другую, но зато что он получил? Совершенно иную жизнь на десятом этаже. Нет, нет, Юрий Янович, там было все по-доброму, всем было хорошо.

— А за что же вас хотели судить?

— Хотели, Юрий Янович. Только хотели.

— Так это Глинкин вас спас! — разозлился Залесский.

— Нет, Юрий Янович! Я рад, что мы об этом заговорили. Так вот… Если бы я наступил закону на пальцы каблуком, никто бы меня не спас. Но я тот закон только чуть толкнул невежливо и не извинился… — Лукьянчик рассмеялся, довольный своим сравнением, и наконец он высказал то, что у него накипало все последнее время.

«Посмотрите на него», — несколько опешил Залесский. Этот тип, оказывается, не такой простачок, как его характеризовали и за какого он его принимал. И это значит — не надо его зря дразнить.

— Знаете что, Михаил Борисович, — заговорил Залесский спокойно и доверительно, кладя свою руку на лежавшую на столике руку спутника. — Я тоже рад, что мы об этом поговорили. Надо же нам, черт побери, притираться, чтобы лучше знать и понимать друг друга. Тем более в предвидении, очевидно, серьезного дела…

— Добро, — согласился Лукьянчик и ответно пожал руку Залесского. Но подумал про себя: «Единственное, что пугает меня, это то, что ты, кажется, еще и антисоветчик. Этот довесок в наших делах совсем ни к чему. Ладно, будет час, поговорим и об этом».

Залесский вышел в коридор. Он был очень недоволен, что Лукьянчик вдруг стал показывать когти, и боялся сейчас сорваться, уж больно хотелось поставить его на место. Но нельзя — в его спасении, видимо, участвовал и Ростовцев, и это он попросил привезти его в Москву. Ладно, посмотрим — увидим…

Глава девятнадцатая

Рабочий день уже давно кончился, но первый заместитель начальника главного производственного управления министерства Сергей Антонович Сараев все еще оставался в своем кабинете, сидел за столом под пологом сигаретного дыма. Что-то тяжело ему работается в такие сверхурочные часы. Работу он, однако, любит и устает, как он думает, от другого — уже скоро год, как он фактически исполняет обязанности давно болеющего начальника главка, который, судя по всему, на свой пост не вернется. Еще месяц назад ему об этом сказал сам министр, но словом не обмолвился, кто будет вместо него. Конечно же Сараев хотел бы оказаться на этом месте, оттого и старается. Но когда так проходит целый год и мечта остается тщетной, он не может не ощущать своего несколько ложного положения, знает, что за ним ходит прозвище «вечный зам», и, конечно, нервничает…

Сейчас он корпел над проектом записки в правительство по достаточно важному вопросу, а такие записки всегда даются трудно — все, что идет по такому адресу, пишется тщательно, по нескольку раз переделывается, без конца перепечатывается «начисто». Работалось вяло, болела голова. Вчера, надо сказать, выпил лишнего, жена права, эти его выпивки до добра не доведут. Но почему нельзя? Он же не алкоголик, а просто любит дружеское застолье,

особенно когда компания хорошая и если — стыдно сознаться — платить не ему. Дома жена каждый рубль держала на строгом учете, но что поделаешь, у нее на руках семья. Все время приезжают и приезжают в Москву люди, с которыми он в свое время работал то на заводе, то в совнархозе, то еще где, каждый непременно позвонит, пригласит к себе в гостиницу посидеть, вспомнить былое, и он охотно едет…

А в общем-то жизнь у него пошла какая-то скучная. Когда эта мысль возникала у него в подпитии, душа его погружалась во мрак, в ней закипала злость, и он уже не раз постыдно срывался, потом его мучила совесть, а кое-кто этим пользовался — являлся к нему в кабинет с сомнительной бумажкой, начиная вспоминать, «как все было», и Сараев торопливо подписывал бумажку.

Но надо отдать должное, каждый раз, когда появлялась эта мысль о скучно текущей жизни, он отдаленно слышал внутренний протест — как не стыдно, ты живешь активной жизнью коммуниста, у тебя большая ответственная работа, у тебя в подчинении сотни людей. Да, да, все это так, но это еще не вся жизнь — снова подступала та мысль. А что дома? Дочери выросли. Когда росли, интересно было смотреть, как это происходило, хоть и видел он их от случая к случаю, график их жизни никогда не совпадал с его графиком. И все же, когда он их видел, дивясь тому, как быстро они взрослели, душа оттаивала и работа, та работа, что до звона в ушах, отходила на второй план. А теперь и дома стало скучно. У дочерей уже своя жизнь, кануло в Лету время, когда он приносил им по конфетке «Мишка на севере» и видел в их глазах само счастье. А теперь разве поможешь им быть счастливыми? Как-то старшая перед своим тридцатым днем рождения позвонила ему на работу, напомнила о дате, пригласила в гости, а потом шутя добавила: «Если собрался подарить мне „Жигули“, учти

— мне нравится голубой цвет». И он тогда пошел к ней в гости, купив в «Детском мире» игрушечные «Жигули», но они были не голубого цвета... А позже вся эта история с «Жигулями» вспомнилась ему однажды горько и больно. Он и директор одного завода были гостями шведской автомобильной фирмы. Воскресенье они целиком провели дома у распорядительного директора одного из заводов фирмы. Его вилла стояла на берегу озера, на зеленом склоне. С утра они ловили рыбу на озере, потом поехали обедать в роскошный туристский отель. Когда вернулись домой, там было полно молодежи. Оказывается, молодежь собралась по случаю дня рождения одной из трех дочерей хозяина виллы. Апофеозом празднования ее дня были минуты, когда отец выехал на лужайку на снежно-белой малолитражке «фольксваген» и вручил дочери ключи от машины. Сколько было счастливого визга, крика...

Сараев не замечал, что он давно уже отвлекся от дела, и сейчас, взглянув на записку, решил, что закончит ее утром, на свежую голову. В этот момент дверь в его кабинет распахнулась и в ее проёме он увидел Кичигина — заместителя начальника отдела его управления.

— Сергей Антонович, вас же вахтеры запрут в министерстве. Нет ли у вас желания поехать со мной посмотреть канадский хоккей? Все равно всех дел не сделать! Поехали, Сергей Антонович!

— А что? — неожиданно для себя встрепенулся Сараев. — У вас машина есть?

— Возьмем разгонную, а оттуда — на такси. Ховайте скорее бумаги в железный ящик и спускайтесь вниз, я пока машину добуду.

Ах, какой молодец этот Кичигин, вытащил его сюда, в этот громадный, гулкий зал, до высоких краев заполненный пестрой публикой, в центре которого,

казалось, излучал голубой свет прямоугольник зеркального льда. Среди публики, к большому его удивлению, оказалось немало знакомых, и все это был разный ответственный люд из самых разных сфер. И уже совсем его поразила встреча с Кутенковым, ставшим недавно заместителем министра одной важной отрасли промышленности. Их места на хоккее оказались рядом — надо же! Когда-то они вместе начинали на одном заводе и вместе потом продвигались вверх, занимая все более ответственные посты в промышленности. Сараев был уверен, что Кутенков поднимется высоко, уж больно он серьезный мужик, службой отрешенный от всего земного. И вот на тебе, Кутенков здесь, на хоккее!

— Вот кого я уж никак не ожидал тут увидеть! — воскликнул Сараев.

Кутенков, наклонясь к Сараеву, ответил негромко:

— Наш министр ни одной игры не пропускает, вот и я «заболел».

В антракте они спустились в вестибюль, и там, в густой толкотне, Кичигин поставил Сараева возле высокого столика, а сам исчез, чтобы вскоре появиться с двумя бутылками пива. Мало того — он вынул из заднего кармана плоский флакон, где у него был спирт... В общем, они неплохо тяпнули, и вторая часть игры смотрелась значительно живее, Сараев уже не вздрагивал от ошалелых криков болельщиков.

Погруженный в жаркую атмосферу азарта, в которой не умолкал рев публики и щелкали по льду клюшки, Сараев думал, что он зря лишал себя таких вот беспечных встрясок. Кроме всего прочего, здесь, на фоне спорта, и выпивка видится совсем иначе.

Во втором антракте они добавили, так что третья часть игры была уже чем-то вроде закуски и сама по себе интереса не представляла и значения не имела.

Ему и в голову не могло прийти, что в этот вечер жулье начинало впрягать его в свои темные дела…

Странное дело — утром голова не болела, и Сараев за час покончил с той трудной запиской и отправил ее в машбюро на окончательную перепечатку уже на бланке.

Зашел Кичигин:

— Не ругаете меня, Сергей Антонович, за вчерашнее?

— За что же? Приобщили меня к спорту, за что же ругать?

— Все-таки канадцы порядочные хулиганы.

Они поговорили немного о вчерашней игре и условились, когда будет интересный матч, съездить еще.

— А если вернуться к нашим автомобилям, — вроде шутливо заговорил Кичигин, — то я позволил бы себе напомнить вам о вашем желании съездить на Каланковский завод. По-моему, там надо все посмотреть нам самим.

— Поедем. Дайте мне все, что у вас есть по этому заводу, и дней через десять отправимся.

— Бу сде… — весело отозвался Кичигин и, смотря на Сараева, думал, что все идет как надо…

Глава двадцатая

Александр Платонович Ростовцев был жуликом везучим. Способ самосохранения у него был простой: он добросовестнейший советский служащий и здесь он старается вовсю — орел в своем гнезде не гадит. А где-то подальше от службы он делает деньги и предпринимает все, чтобы на службе не стало об этом известно. И жил он так, чтобы никто не заподозрил, что у него есть лишние деньги. Надо отдать ему должное:

он ни разу не попадался в руки следствия, хотя близко от него бывал.

Последние годы, после переезда в Москву, Ростовцев работал в довольно солидной организации, ведающей поставкой за границу советских автомобилей и запасных к ним частей. Пробраться на эту работу ему помогли в свое время дружки, замолвили где надо словечко, до сих пор он их раз-два в году красиво угощает в хороших московских ресторанах. Их рекомендации он оправдывал — человек не глупый, он без особого напряжения освоился в этом деле и, начав с простейшей инженерной должности, дослужился до поста одного из заместителей директора.

Наконец, в левых делах он тщательно избегал уже проторенных кем-то дорожек, считая, что раз на этих дорожках побывали его коллеги и конкуренты, значит, там побывала и милиция, а у нее память покрепче человеческой, она у нее в картотеке. Серьезный урок осторожности преподало ему и не очень давнее дело, все же принесшее весьма солидный куш. Прекрасно задуманное, оно могло дать еще больше, но оборвалось на разбеге из-за низкого уровня исполнителей…

…Сейчас Ростовцев подбирал соучастников с особой тщательностью. Ему очень понравилась подброшенная Гонтарем идея, но одновременно она его и как-то по-особому тревожила, и он знал, если в деле будет занято много людей, а это всегда опасно. Кое-какие страховочные меры он продумал — надо иметь дело с клиентами одноразовыми: нашел сладкого клиента, получил с него свое, дай ему то, что просит, и прости-прощай. Только в крайнем случае с помощью первого можно искать нового. Чем меньше людей смогут почувствовать масштаб дела, тем лучше. Только в узловых точках будут действовать два-три постоянных соучастника, и сюда он поставит таких людей, которым

верит как себе. Главные кандидаты уже известны. Это старый его соратник по аферам в Ростове Залесский, и он везет еще из Донецка погоревшего на взятках бывшего председателя райисполкома Лукьянчика, о котором Глинкин отзывался очень хорошо. Посмотрим — увидим. Затем сам первооткрыватель идеи Гонтарь и его давний напарник Игорь Сандалов — Ростовцев знает истинную цену обоим: исполнители беспрекословные, они особо могут пригодиться в пору начальной раскачки дела, когда нужно будет отыскивать первых клиентов. В Минск уже уехал Ревзин. Еще бы подобрать парочку крепких и надежных людей, и пока хватит.

Ростовцев продолжал поиски, нервничая от телефонных звонков Кичигина, который его торопил.

— Нельзя тянуть, — раздраженно говорил. Кичигин. — На верхах, конечно, знают о том узком месте, на котором построено наше дело, и конечно же постараются это узкое место как можно скорее расшить. Надо успеть…

Хорошо ему толкать в спину, сам-то он будет иметь дело с бумажками, а вот ему, Ростовцеву, будут служить люди, которым надо полностью довериться…

Сегодня, придя на службу, Ростовцев немного нервничал — сейчас сюда должны явиться к нему Залесский и Лукьянчик, он сам не знает, почему вдруг изменил своему правилу и сказал Залесскому по телефону, чтобы они с поезда ехали к нему на службу. Зачем он это сделал? Наваждение какое-то… Ну ничего, они сразу же отсюда уедут.

Ростовцев посмотрел на часы — десять пятьдесят утра. Поезд из Донбасса должен прийти в Москву в десять. Они появятся с минуты на минуту. Повернувшись к окну, он смотрел в сад — неуютный, голый, заштрихованный мелким, плотным дождем.

…На боковом столике послышался щелчок, и унылый голос секретарши сообщил, что прибыли товарищи из Донецка.

— Пригласите их ко мне, — сказал в микрофон Ростовцев, встал, прошел в угол, где в шкафу было его пальто, и стал одеваться.

Залесский, войдя в кабинет, заторопился было к нему, размахнув руки для объятий:

— Саша Платонович!

— Проедем сейчас ко мне домой, — сухо произнес Ростовцев, увернувшись от объятий.

Лукьянчик все это засек и подумал: «Дружба-то у них совсем не такая, как расписывал Залесский…» Он все видел, этот Лукьянчик, и все учитывал. Но на этот раз он малость ошибся: как только они вошли в квартиру Ростовцева, тот первый обнял Залесского и они расцеловались.

Прием гостей Ростовцев устроил на кухне.

— Тут все под рукой, — объяснил он. — И не будет конфликтов с супругой насчет испорченной скатерти…

Все было по-простому: водочка, шпроты, масло и черствый хлеб. Главное — разговор, дело.

Ростовцев коротко объяснил, что им предстоит делать. Залесский будет руководить подбором клиентов в Донецкой области и вообще на юге. В его распоряжении будет Гонтарь. Лукьянчик в ближайшее время будет переведен в «Сельхозтехнику» Литвы и оттуда будет действовать по всей Прибалтике. В его распоряжение поступит Сандалов.

— Больше самим никого не привлекать, — строго говорил он. — Мы выходим непосредственно на конкретного потребителя, и одно это уже гарантирует нам безопасность, ибо у потребителя, кроме благодарности нам, ничего быть не может. Ясно?

— Я не знаю Сандалова, а мне с ним работать, — сказал Лукьянчик.

Ростовцев немного разозлился — сам темная лошадка, а тоже…

— Более важно, что Сандалова знаю я. — Ростовцев посмотрел в глаза Лукьянчику. — Он очень надежный исполнитель. Если у вас будет о нем иное впечатление, немедленно сообщите мне.

Шевельнулся Залесский:

— Была ли проведена консультация у юристов, какая статья лепится к нашему делу? — Залесский всегда заранее выяснял, в каком конфликте он будет находиться с законом.

Ростовцев рассмеялся:

— Вы неисправимы, Юрий Янович…. Такой статьи нет. Действительно — нет. Ближе других, конечно, статья о взятках, но все формулировки статьи прямого отношения к нам не имеют, и применение ее может быть легко оспорено. Опасней статья об использовании в корыстных целях служебного положения, но она может быть предъявлена только тем, кто будет находиться, так сказать, на вершине нашего дела, и на этот риск они идут.

— Можно узнать, кто на вершине? — осторожно спросил Залесский.

— Я к вашим услугам, — с улыбкой поклонился Ростовцев. — И еще кое-кто, чьи имена вам ровно ничего не скажут. Да и лучше вам их не знать — мало ли что. Как, к слову, те не знают по именам большинство из вас. Скажу вам только, что наши люди есть во всех необходимых нам центральных учреждениях, и, таким образом, вы будете оперировать вполне официальной документацией, — не моргнув глазом, соврал Ростовцев, которого самого больше всего тревожило, как обеспечил свою часть дела Кичигин, но тот его к этому не подпускал…

— Все будет решать количество найденных вами клиентов, соразмерны будут и ваши личные радости.

И тут снова Ростовцева разозлил Лукьянчик — все-таки у него еще были свежи воспоминания о катастрофе в Южном:

— Предоставляется ли нам право на месте решить вопрос о выходе из дела перед лицом явной опасности?

Ростовцев нахмурился, пристально посмотрел на спросившего:

— Право же, Михаил Борисович, смешно — еще не войдя в дело, уже искать двери для выхода. В конце концов, главную опасность мы тут берем на себя, в том числе и вашу, Михаил Борисович, опасность. Успокойтесь, пожалуйста.

Лукьянчик не ожидал такой отповеди, да еще наткнулся на презрительный взгляд Залесского.

— Я... не хотел... — пробормотал он. — Когда мне ехать?

— Вот это дело, — улыбнулся Ростовцев. — Ехать, дорогие друзья, следует незамедлительно. Просто — завтра же.

Залесский в тот же день самолетом вернулся домой, в Донецк, а вечером поездом уехали в Литву Лукьянчик и Сандалов.

Тем же вечером Ростовцев в кафе «Синяя птица» устроил ужин Гонтарю. Ему как зачинателю дела он сделал исключение, оставил его на два дня в Москве. Однако напоминать, что тот предложил идею их дела, не собирался...

В кафе выступал какой-то модный инструментальный ансамбль, и от его оголтело громкой музыки ломило голову. Разговаривать было невозможно, и им приходилось ждать коротких перерывов между номерами. Но Ростовцеву музыка, если откровенно, помогала — не о чем ему было беседовать со своим большеротым гостем.

— Вы не в претензии, Борис, что я позвал вас в это дело? — спросил Ростовцев, пригубив из бокала холодного кислого вина, отчего губы у него чуть скривились.

— Мне, Александр Платонович, лишь бы не сидеть без дела. А это же дело и от меня идет, это приятно знать. — Его огромный рот разверзся в улыбке. — А еще приятней будет получать за это наличными.

Ростовцев недобро глянул на него и сказал сухо:

— Получишь свое, получишь…

— А я не спешу, — шлепнул губами Гонтарь.

— Будешь работать с Залесским, но знай: для тебя старший он, а для меня — ты. Понял? Если что заметишь за ним, сигналь немедленно.

Гонтарь снова кивнул, и в этот момент грянул железнотрубный гром, на эстраде перед оркестром заметался в судороге парень в джинсах, закричал в микрофон благим матом что-то про одиночество, но что именно, разобрать было невозможно…

Когда они уходили из кафе, Ростовцев не удержался, подошел к оркестру и сказал громко:

— От вашей музыки синяя птица давно сдохла.

— Жаль, что вы не синяя птица, — услышал он ответ мальчишки, щипавшего свою электрогитару.

Ростовцев рванулся было искать директора, но тут же передумал.

Уже на улице сказал Гонтарю:

— Уезжай в Донецк завтра же.

Снова заработал в кафе оркестр, и даже здесь, на улице, слышен был его грохот и вопли певца.

— Я бы их еще сегодня отправил землю рыть, — с яростью сказал Ростовцев…

Глава двадцать первая

В некрологе сообщалось, что министр умер после тяжелой и продолжительной болезни. Но для работников министерства все произошло быстро. Казалось, всего несколько дней назад видели, как он утром в министерстве выходил из лифта на своем этаже, а сегодня в вестибюле уже висит траурное объявление, и с фотографии смотрит на них совсем еще молодой мужчина с энергичным лицом, с живыми, пристальными глазами. Таким министра помнят немногие…

У него был рак. Болезнь вцепилась ему в легкие, в желудок, в печень, и уже не имело значения, где она возникла сначала и где нанесла последний удар. С болезнью, расползшейся по его крупному, сильному телу, он ходил вплоть до дня, когда уже не смог сделать и шага. Тогда его свезли в больницу, и там он через несколько дней умер. Говорят, вскрывавшие его врачи дивились: как мог он так долго не сдаваться болезни. Врачи не учитывали, что министр принадлежал к тому железному поколению, которое прошло через тяжелейшие дела пятилеток и через огонь Великой Отечественной войны. Люди этого поколения сдаваться врагу не приучены. Вот и шел министр вперед, пока мог передвигать ноги.

Кичигин принял активное участие в похоронах министра. Стоял у гроба в почетном карауле, выслушал с постным лицом все речи на гражданской панихиде и поехал на кладбище. В жестко секущую метель стоял без шапки у могилы и в минуты захоронения помог какой-то родственнице покойного. А когда стали с кладбища расходиться, он пристроился в толпе к Сараеву, взял его за локоть, спросил тихо:

— Разве по русскому обычаю помянуть не надо?

— А вы на поминки званы? — съехидничал Сараев.

— Кажется, на поминки можно являться без приглашения.

— А вы знаете, где устраиваются поминки?

— Наша викторина затянулась, — улыбнулся Кичигин. — Не упростить ли ситуацию и не зайти ли нам, без приглашения, в ресторан гостиницы «Украина»? Там очень мило…

Сараеву чертовски хотелось выпить. Еще во время панихиды, когда от трогательных речей у него защемило сердце и он невольно стал думать о себе, что он вот тоже не молод и долго на грешной земле не задержится, — ему до спазм в горле стало жалко себя, стало холодно и вдруг неудержимо захотелось глотнуть крепкого, чтобы дух захватило, согрелась душа и все вокруг стало краше и веселее. Предложение Кичигина было так кстати, что он ответил нетерпеливо:

— А поближе ничего нет?

— Там посолиднее, Сергей Антонович, там можно взять борщок с пампушкой, попросить зажарить колбаски домашней, а под такую закуску выпить — что песню спеть, — сочно рассмеялся Кичигин.

Выйдя с кладбища, Кичигин перехватил такси, и спустя каких-нибудь десять минут они уже входили в дышащий теплом и вкусными запахами ресторанный зал, а навстречу им уже торопился элегантный метрдотель, и, оказывается, он знал Кичигина — они поздоровались за руку.

Как ловко все это умеет Кичигин! Сараев не смог бы даже толком договориться с официантом о заказе. А тут все шло как по маслу.

Пока они ждали заказанное, Сараев оглядывал массивные, прямо церковные, стены зала и заинтересовался сидевшей рядом за большим столом негритянской семьей, и так ему интересно было на них смотреть, что он не сразу услышал, о чем говорит ему Кичигин.

— …Что я думаю, Сергей Антонович, — задумчиво говорил Кичигин, вертя пальцами пустую водочную рюмку. — Как-то зашоренно мы живем, без душевного отдыха…

Официант принес бутылку водки в ведерке со льдом и наполнил рюмки, мгновенно отпотевшие.

— Я вижу, вас заинтересовало черное семейство, — продолжал Кичигин. — Задуматься только — они приехали в нашу Россию из какой-то богом забытой африканской страны и видят больше нас с вами. У нас работа, работа и еще раз работа, пока голова не высохнет… Вы видели фильм «Уставших лошадей пристреливают»?

— Первый раз слышу, — ответил Сараев, продолжая смотреть на негров.

— Нет, правда — работа, работа, работа, и нет этому конца. А вокруг целый мир — с событиями, всякими страстями, а нам вроде нет до него дела. Гляжу сегодня на министра — снежок мягко ложится на его лицо — и думаю, что он вот такого прикосновения снега к лицу за последние тридцать лет не слышал. Не слышит и теперь. У него вся жизнь — кабинет, заседания, машина, поезд, самолет, и так без конца. Ну, и что?

— Жалко его, очень жалко, — тяжело вздохнул Сараев, и на душе у него стало сумрачно.

Кичигин протянул к нему свою рюмку.

— Пусть земля ему будет пухом…

Они выпили коротким броском и не сразу поставили рюмки. Закусили холодной осетринкой с хреном.

— Хорошо придумалось сюда пойти, — сказал Сараев, оглядываясь вокруг с каким-то новым интересом. — Ей-богу, так и есть — даже в такое местечко заскочишь разве что с похорон. — Он как-то стесненно засмеялся.

Кичигин снова наполнил рюмки и заговорил все с той же раздумчивостью человека, которого потянуло на

откровенность:

— Я часто задаю себе вопрос — как видят нас наши зарубежные коллеги? Не думали об этом?

Сараев промолчал. Он вспомнил Швецию, зеленую лужайку перед виллой, белый «фольксваген» и в толпе веселых гостей себя, приметного среди них с первого взгляда.

— Помните приезд наших французских коллег? От фирмы, которая — мы знаем — дышит на ладан. Мы же — фирма — вся автомобильная промышленность великого Советского государства. А как они заносчиво держались! Помните, прием они для нас устроили в отеле. Мы поехали туда прямо с работы, а они встречают нас в смокингах, откуда-то дам выкопали. У меня было такое впечатление, что они все это для того, чтобы посмеяться над нами.

— Смеха-то у них не получилось… — вяло возразил Сараев. — Министр тогда на прием не приехал, послал меня, и я им передал его слова — де не мог приехать, так как занят делами, они сразу увяли.

— И принялись нас спаивать, — сердито добавил Кичигин. — И все со смешком, с улыбочками.

— Я тогда думал только — почему мы не устроили прием для них? Могли бы им предложить не тарталетки с сыром, а по-русски — на отвал.

— Вот это было бы лишнее, — не согласился Кичигин. — А главное, не по-деловому — переговоры были явно безрезультатные, а мы им вместо контракта водочки.

— Тогда у них на приеме, — вспомнил Сараев, — рядом со мной оказался молодой хлыщ с хорошим русским языком. Все подливал мне, подливал, разговор только об одном: «Трудно вы живете, не весело», — говорил точно как вы сейчас. А я ему — зато у нас фирма в полном порядке… — Сараев рассмеялся.

— Вы не правы, Сергей Антонович, — чуть обиженно возразил Кичигин. — Я-то говорю совсем про другое.

— Знаю, знаю, — примирительно сказал Сараев. — Когда мы сами себя за что критикуем, это, конечно, совсем другое. А помните, как они под конец приема залебезили и начали агитировать за контракт с нами?

— Они за это готовы были даже денежек нам подбросить, — подхватил Кичигин. — Между прочим, у них такие подарочки в полном законе, даже бюджетом фирмы предусмотрены.

— Неужели так? — не поверил Сараев.

— Точно, Сергей Антонович, — подтвердил Кичигин и поднял рюмку.

Они выпили.

— А у нас такое бывает совсем по другим нотам, — весело заговорил Сараев. — У меня еще в позапрошлом году было одно смешное наблюдение. Получаю из «Сельхозтехники» от Сахарова для сведения распорядительный план — куда, кому, сколько? План уже отпечатан в типографии. Смотрю, что за чушь? Моему родному Калинину занаряжено двадцать газиков, а в Великие Луки — сто пятьдесят. Звоню Сахарову — почему такая диспропорция? Он там глядит в план и начинает хохотать — у Великих Лук нуль, говорит, лишний. Опечатка! И хохочет в голос. Но самое смешное выяснилось позже — пока суть да дело, Великие Луки под эту опечатку уже успели получить полсотни газиков. Не смешно?

Кичигин смотрел задумчиво мимо Сараева и, когда тот смеялся, сказал вроде бы вслух про себя:

— А тот, кто породил эту опечатку, мог бы получить от Великих Лук солиднейший куш. Иные богатые колхозы за каждый газик готовы платить по две, а то и по три цены. Деньги-то теперь в колхозах куры не клюют, а с техникой положение трудное.

— Так, может, Сахаров и получил? — снова засмеялся Сараев, настроение у него было прекрасное.

Еда была вкусной, пилось как-то душевно, в норме — не напились, а только душу раззадорили, — стало ему легко и беспечно.

Под самый уход Кичигин заказал кофе и мороженое, сказал, что это необходимая полировочка. И тоже было очень вкусно. Сараев подумал: в голову не приходило, а это же так просто — купить на улице мороженого, а дома сварить кофе. Обязательно надо дома сделать…

Когда принесли счет, Кичигин тоже поступил с ним очень ловко, мимолетно глянул в него и вернул официанту уже с деньгами, и тот так благодарно поклонился, что у него хрустнула крахмальная манишка.

— Сколько там вышло? — спросил Сараев.

— Оставьте, — сердито отозвался Кичигин и, чуть помолчав, сказал: — Но просьба одна к вам есть.

Впоследствии Сараев будет не раз вспоминать эту минуту и придирчиво уточнять, произнес ли Кичигин «но» после строгого «оставьте»? Но в ту минуту Сараев на это «но» никакого внимания не обратил, сказал:

— Давайте вашу просьбу.

— Дело такое, Сергей Антонович. У меня есть брат, который работает главным агрономом в большом кубанском колхозе. Умоляет меня о помощи — у них на носу уборочная, а пять грузовиков «ЗИЛ» стоят без двигателей. Я говорил с Милявским автосборочным заводом — у него эти двигатели, с излишком засланные поставщиком, лежат во дворе, могут потерять кондицию. Директор завода сказал, что, если будет бумажка за вашей подписью, он с радостью выделит для колхоза моего брата пять движков.

— А как же он сам вывернется? Ведь кузова-то он рано или поздно получит и откуда тогда он возьмет движки?

— Так у него и так и так излишек, а ко всему год-то кончается. Сделайте это для меня, Сергей Антонович.

— Подготовьте письмо… подпишу, — немного подумав, сказал Сараев.

…На другой день после похорон министра министерство работало как всегда, будто ничего не случилось. И если что и произошло такое, что раньше не случалось, так разве то, что Сараев подписал подготовленное Кичигиным письмо о пяти двигателях для его брата, работающего на Кубани, подписал, не зная тогда, что никакого брата у Кичигина нет и не было и что в тот же день Кичигин от главного агронома кубанского колхоза (он таки был) за это подписанное Сараевым письмо получил наличными семьсот пятьдесят рублей.

Получив эти деньги, Кичигин долго думал, сколько из них передать Сараеву? Передаст триста рублей. Сделает он это очень просто: положит ему на стол конверт с деньгами и скажет мимоходно:

— Выполняю волю брата. Это его ответный вам подарок…

Что это за подарок, Сараев выяснит, когда Кичигина в его кабинете уже не будет, но он ничего существенного подумать об этом не успеет — его отвлечет телефонный звонок.

В это мгновение западня и захлопнулась — Сараев положил в стол конверт с деньгами. Вот до чего просто это иногда происходит — минуту назад он еще был честным человеком, теперь он уже жулик, взяточник. Но, увы, его превращение в жулика произошло все-таки не мгновенно, для того, чтобы это с ним случилось, в его сознании еще задолго до этого мгновения должны были произойти, может пока ему незаметные, сдвиги. Потом, еще позже, когда случится катастрофа, он это начнет понимать хорошо. Ему помогут понять…

В министерстве шла обычная повседневная работа…

На этом совещании в кабинете у Сараева обсуждалась предварительная разверстка той части продукции, которая в следующем году будет направлена в сельское хозяйство.

Ответственный представитель Всесоюзного объедим нения «Сельхозтехника» Турищев доложил потребности своего объединения на грузовые автомашины и другую технику. Названные им цифры вызвали шумное оживление.

— Нереально! — четко произнес кто-то.

— Фантастика! — поддал жару кто-то еще, и тогда сразу заговорили все, говорили будто друг с другом, но одновременно явно и для всех.

Присутствовавший на совещании замминистра Соловьев слушал этот гул с терпеливой улыбкой — сам прекрасный производственник, знающий дело, что называется, от станка до кабинета министра. Сколько раз он сам, будучи еще директором завода, на таких вот совещаниях тоже выкрикивал «нереально!», но потом, позже, спокойно во всем разобравшись, соглашался с директивным заданием и вместе с рабочим коллективом завода даже находил возможности его перевыполнить.

А Сараев нервничал… Он внушал себе, что занят сейчас своим обычным делом и ничто ему не мешает, но он уже не мог быть самим собой. Его лишало этой возможности уже одно присутствие на совещании Кичигина. Он старался его не видеть, но сделать это было трудно — Кичигин сидел очень близко. В свою очередь, Кичигин знал, в каком состоянии сейчас Сараев, не без умысла сел к нему поближе и в течение всего совещания учил его не поддаваться лишним переживаниям — он рисовал на листе бумаги чертей, показывал рисунки сидевшему рядом с ним Горяеву, и они вместе веселились… Раздражало Сараева и само

совещание, хотя он прекрасно понимал, что ничего особенного не происходит, а идет всегдашний спор вокруг плановых наметок.

Сараев застучал что есть силы карандашом по столу и, когда наступила наконец тишина, обратился к Турищеву:

— А реальные планы будете докладывать тоже вы?

— Наши нереальные, по-вашему, планы, — ответил тот, отчетливо вырубая каждое слово, — не уходят за пределы нынешнего пятилетнего плана, утвержденного высшей властью государства.

— Но нельзя же исходные данные заключительного года пятилетки механически переносить в третий год! — воскликнул Сараев.

— Можно, — припечатал Турищев, — если не забывать, что наш рабочий класс выполняет пятилетки и в четыре года!

Удар был, что называется, ниже пояса. Сараев побагровел и промолчал. А потом уже совершенно другим голосом и спокойно сказал:

— Нам бы не хотелось никого обманывать не очень обоснованными заверениями. Давайте послушаем присутствующих здесь директоров некоторых наших заводов. Кто, товарищи, начнет?

Встал высокий, большеголовый, небрежно одетый мужчина лет пятидесяти — директор Гурьевского завода грузовых автомашин Грибков. Он встретился взглядом с Соловьевым, и они улыбнулись друг другу. Они были давно знакомы, не раз вместе и на равных правах присутствовали на таких же совещаниях, и Соловьев сейчас чувствовал себя перед ним немного неловко. Но тогда, три года назад, в ЦК были вызваны они оба и оба они от поста замминистра отказывались, но почему-то доводы Грибкова были признаны более вескими. Грибков человек с юмором, смешливый, когда Соловьев звонит ему на завод и начинает пробирать за

что-нибудь, он быстро признает вину, обещает исправить, но непременно прогудит своим басом: «Что наша жизнь? Игра — сегодня ты, а завтра я...» — и хохотнет на прощанье.

— Я начну с претензий к заводам-поставщикам, — заговорил Грибков, выглядывая, где сидят на совещании представители этих заводов. — Ну, ей-богу, какой-то проклятый вопрос. Не пора ли нам все же разобраться в его природе? Ведь и мы и поставщики сопряжены в едином плане, где все высчитано и выверено, а как только начинается год, вся стройная музыка летит к чертям. Для меня в этот вопрос, как в глухой забор, упирается и наш сегодняшний разговор. Почему мы спешим заявить, что не реально? Потому что, услышав новые цифры, мы прежде всего вспоминаем бессонные ночи, когда ждали телефонный звонок или телеграмму от своего посланного к поставщикам человека, а в это время по сусекам искали последние агрегаты. Я хорошо помню такие ночи. И любое наше обязательство здесь будет выглядеть безответственным, если полагать, что, к примеру, на каждом грузовике как минимум должен быть двигатель, а он делается не у нас, а в Мирославле...

Совещание пошло уже ровно, в меру тягуче, с редкими взрывами, как идут все такие совещания, цель которых напомнить всем, что есть государственная дисциплина. Такое напоминание время от времени необходимо.

Евгений Максимович Горяев впервые был на таком совещании, ему было интересно и немного тревожно, он боялся, что вдруг не сможет ответить на какой-то возникший здесь вопрос. А спросить могли каждую минуту, так как его оперативно-диспетчерский отдел стоял, что называется, на юру и через него шли все дела сверху вниз и обратно.

Горяев старался внимательно слушать ораторов, но ему сильно мешал сидевший рядом Кузьма Аверкиевич Кичигин, которого на этом совещании касалось буквально все, а он сидел, низко склонясь над столом, и рисовал чертей. Нарисует, подвинет под локоть Горяеву и спрашивает веселым шепотком:

— Похож на замминистра?

И черт действительно был здорово похож на Соловьева — Горяев, не удержавшись, фыркнул, отодвигая от себя бумагу…

После трехчасовой работы на совещании был объявлен перерыв. Горяев с Кичигиным пошли перекусить в кафе неподалеку от министерства.

Они сели за столик возле широкого окна, тут было посветлее, а смотреть в окно на мокрую, осенним дождем размытую улицу удовольствия мало. Заказали пельмени и чай с пирожным. Официантка сонно пошла с их заказом на кухню.

— У вас, кажется, своя «Волга»? — небрежно спросил Кичигин.

— Не без того… — неохотно ответил Горяев.

Кичигин рассмеялся:

— Треклятый, обожаемый общественный вопрос — на какие шиши?

— Подарок родителей жены к свадьбе, — чуть раздраженно ответил Горяев.

— Ого! — веселые глаза Кичигина брызнули искрами. — Надо знать, на ком женишься. Я к свадьбе получил только сварливую тещу. Меняю на подержанного «Запорожца», хо-хо-хо! — Кичигин закачался в смехе, и таком искреннем, заразительном, что Горяев невольно заулыбался, и его возникшее было раздражение рассеялось. Кичигин нравился Горяеву своим легким покладистым характером. Кроме всего, только он во всем министерстве поздравил его с

выдвижением, сказав при этом: «Выбор на редкость правильный…»

Им подали еду, и Кичигин, глотая пельмени, заговорил о другом:

— Не знаю, как вас, а меня выводят из себя частые посетители-просители. Ну как терпеть — посоветуйте. К нам все время идут — тому нужен кузов, тому — движок, тому — задний мост, а тому и целый газик на охоту ездить. Во-первых, они явно не знают, куда с этим соваться. Но я — о другом. Ну, понимаю, просит актер какой-нибудь сильно известный или там писатель с медалями, но вот не дальше как вчера является с очень солидной рекомендацией — подай ему кузов для двадцать четвертой «Волги», и, как бы вы думали, кто он?

— Да черт его знает, — вяло отмахнулся Горяев.

— Черт-то знает… — покачал головой Кичигин. — Санитарный врач — вот кто! Откуда у него шиши? Ей-же-ей, обидно — что я, не хотел бы иметь свои колеса, сидя, между прочим, как раз на производстве тех колес? Так нет — санитарный врач может, а я — мимо?

— По-моему, санитарный врач может легко иметь магарыч — придет на какой-то торговый склад и скажет: у вас тут антисанитария, требую закрыть склад… а может он ту антисанитарию и не увидеть…

Кичигин посмотрел на Горяева с веселым любопытством и, ничего не сказав, позвал официантку.

Когда они уже поднимались в министерском лифте, Кичигин сказал небрежно:

— Кстати, о том санврache — нет у вас в отделе сведений по Горькому? Кузов какой-нибудь… сверхплановый или брак…

— Не помню.

— Посмотрите и звякните, ладно?

Дверь лифта шумно раздвинулась, и Горяев ответить не успел, но… почему бы ему не посмотреть и

потом не звякнуть?

…На возобновленном совещании в первые же минуты произошла схватка между директором Мирославского завода Лихаревым и Грибковым. Докладывая о положении дел на заводе, Лихарев рисовал весьма благополучную картину выпуска двигателей и вдруг увидел насмешливую улыбку на лице своего коллеги Грибкова.

— Чему вы ухмыляетесь, товарищ Грибков? Думаете, я втираю очки?

— Я думаю только о том, — ответил Грибков, — что почти каждое утро на моем столе меня ожидает тревожный сигнал из цеха сборки — опять на исходе движки.

— Но вы же — я читал в газете — рапортовали, что полугодовой план заводом выполнен досрочно. Что же вы ставили на машины вместо моих двигателей?

— Товарищи, оставьте пикировку, — вмешался Сараев и обратился к Горяеву: — Евгений Максимович, прошу вас теперь ежедневно давать мне сведения о поставке мирославских двигателей на завод Грибкова. Кстати, ликвидирован излишек двигателей на Милявском заводе? Если нет, передайте движки Грибкову.

Горяев сделал запись для памяти. Совещание продолжалось…

…На другой день Горяев, придя на работу, завел специальную тетрадь для записи ежедневных данных о работе предприятий, входящих в кооперацию с другими заводами. Каждый рабочий день он начинал с опроса заводов, и обычно к полудню у него уже была полная картина и он был готов дать руководству любую справку.

Спустя неделю Сараев вызвал Горяева к себе. Взяв свою заветную тетрадь, Евгений Максимович

направился к нему и перед самой дверью сараевского кабинета столкнулся с Кичигиным.

— Ах, на ковер вызваны и вы? — тихо воскликнул Кичигин. — Не хочу быть пророком, но огонь будет по Грибкову.

Они вошли в кабинет и еще не дошли до стола, как услышали вопрос Сараева:

— Что сегодня у Грибкова?

— Свежие вести у Горяева, — уклонился Кичигин.

Горяев уверенно назвал цифры, полученные сегодня утром.

— Но тогда, — подхватил Сараев, обращаясь к Кичигину, — теперь у Грибкова образовался излишек двигателей — не так ли? Прошу вас, товарищ Горяев, ближайшие две недели внимательно проследить положение с двигателями у Грибкова.

— У вас ко мне все? — спросил Горяев.

— Да, спасибо, — мимолетно обронил Сараев и обратился к Кичигину.

О чем они заговорили, Горяев уже не слышал…

Как только дверь за ним закрылась, Сараев сказал:

— Он молодец, этот Горяев, его отдел заметно оживился.

— Мне он тоже нравится, — ответил Кичигин и, помолчав, прибавил тихо: — А его оперативная осведомленность может нам с вами пригодиться.

От этого «нам с вами» по лицу Сараева мелькнула тень недовольства, он спросил сухо:

— У вас что-нибудь срочное?

— Да ничего особенного, я хотел только, чтобы вы знали — дело для Эстонии затормозилось. Но вы не беспокойтесь — не позже понедельника мы с вами станем заметно богаче… Вот и все. Если понадоблюсь — звоните, я у себя. — Кичигин встал и ушел как-то поспешно, точно боялся, что Сараев возмутится — он явно еще не привык к своему участию в их деле,

мучается этим и как бы не повернул вспять. Но деньги-то он уже взял трижды, так что пора, батенька, кончать переживания и действовать веселей. И потому Кичигин в течение дня непременно наведается к нему, чтобы напомнить ему об их совместных делишках…

Глава двадцать вторая

Каланковский агрегатный завод находился под Ленинградом, поездки туда Кичигин любил, всегда прихватывал два-три лишних дня без всякой на то служебной необходимости, то были дни — подарки, самому себе. Сараев ехал туда первый раз и целиком отдался опытности своего подчиненного, а тот уже достаточно хорошо знал слабости своего начальника.

В «Красной стреле» расположились в двухместном купе. Кичигин деловито задвинул дверь и, как фокусник, молча стал вытаскивать из портфеля коньяк, боржоми, закуски и даже рюмки и бумажные салфетки. Он угадал: Сараеву очень хотелось выпить, и он с нетерпением смотрел, как Кичигин острым дорожным ножом нарезал тонкие ломтики колбасы, лимона, сыра, хлеба и, наконец, откупорил коньячную бутылку.

— Чтоб в пути все было счастливо! — бегло произнес Кичигин, и они вместе осушили по рюмке. И коньяк был вкусным, и лимонный ломтик пошел за ним складно, и, наконец, боржоми приятно пощекотало внутренности, а самая обычная любительская колбаса показалась деликатесом… И уже есть охота поговорить.

— Приятно, когда колбаса свежая, — сказал Сараев.

— Я беру ее только в елисеевском и всегда прошу — от нового куска, — снова наливая рюмки, пояснил Кичигин.

Сараев смотрел на него и думал: хороший он все-таки мужик, умелый на все руки и какой-то еще, черт

бы его взял, уютный…

Когда Кичигин вовлек его в эти, как Сараев называл про себя, вонючие дела, ему поначалу было страшно и стыдно, но вскоре это стало проходить, и, получая черные деньги от Кичигина, он уже не чувствовал особой неловкости, покупал на эти деньги подарки жене, дочерям, внучке, проигрывал их на бегах, посещать которые его тоже пристрастил Кичигин. Он словно не ведал цены этих денег. А может, наоборот — всегда помнил, какие это деньги и что они обычной цены для него не имеют. Бывало, в правом кармане пиджака у него лежала только что полученная зарплата, в левом — деньги «черные», причем их было раза в три больше, ему же те, за которые он расписался в ведомости, были вроде дороже, их он никогда не тратил попусту и до последней копейки нес домой.

Кичигин о нем знал все и как раз вчера узнал даже то, что начальником главка он не станет — вместо давно болеющего начальника собираются назначить нынешнего директора Мирославского завода, и еще неизвестно, останется ли при нем Сараев на своем посту вечного зама, и потому Кичигин торопился, как он выражался, запахать этот клин до самой межи. Он все чаще вовлекал его в авантюры, о которых остальные сообщники не знали, и уже дошел до того, что сам начал подделывать на бумагах подписи Сараева.

Эта поездка на Каланковский завод, по расчетам Кичигина, должна сделать Сараева абсолютно послушным ему исполнителем. А то он нет-нет да позволяет себе взбрыкивать. Как было однажды вначале, когда он вдруг швырнул полученные от него деньги на пол и закричал бешеным шепотом: «Нет! Нет! С меня хватит!» Это были очень трудные для Кичигина минуты, но он все-таки сумел его сломить, заставить подобрать деньги с пола до последнего рубля, и Сараев подбирал их трясущимися руками…

Москва уже перестала гнаться за поездом, давно отлетели назад самые дальние ее окраины, и за окном вагона была густая чернота, изредка прорезаемая огоньками. Они сняли пиджаки, развязали галстуки и, полулежа на постелях, начали вторую бутылку коньяка. Сараев только чуть опьянел, и ему было чертовски приятно. Даже быстро напившийся Кичигин, ставший, как всегда, мрачным и злым, виделся ему симпатичным.

— Кузьма Аверкиевич, друг мой, вы не правы, — мягким голосом говорил Сараев. — Я прекрасно все понимаю, вполне возможно, что новый начальник главка придет со своим замом, но я на этот счет ничего предпринимать не собираюсь. Это не в моем… принципе…

— Так вас сожрут, — уже в третий раз угрюмо пробасил Кичигин, который все-таки решил предупредить Сараева о грозящей ему опасности.

— Вы бы остановились, Кузьма Аверкиевич, — по-отечески посоветовал Сараев и, изогнувшись, взял Кичигина за руку, но тот рванулся в сторону, плеснув коньяк на Сараева.

— Не учите! — крикнул он истерически.

— Да что вы? Что вы? — испугался Сараев. — Если душа требует, пейте сколько хотите. Но я помню, как было вам плохо… тогда, в гостинице «Россия»…

— Чтооо? Кому было плохо? — Кичигин даже спустил ноги на пол, наклонился над Сараевым, дыша ему в лицо терпким коньяком. — Чтобы вы знали и запомнили, плохо там было только вам, дражайший Сергей Антонович! Чего это вам пришло тогда в голову воспитывать мою даму?

— Помилуйте, ну какая же это дама? — попытался улыбнуться Сараев, вспомнив еще яснее тот скандал в ресторане, и добавил брезгливо: — Бесстыжая уличная девка и вдобавок дура набитая…

— А вы от нее схлопотали старого дурака. Хо-хо-хо! — захохотал Кичигин так громогласно, что из соседнего купе постучали в стенку.

— Давайте-ка спать, прошу вас… прошу вас…

Кичигин замахнулся ударить кулаком в стенку, Сараев перехватил его руку:

— Перестаньте! Вам опять будет стыдно… — Ему удалось усадить Кичигина на постель.

Уставясь на Сараева злыми насмешливыми глазами, тот заговорил вдруг охрипшим голосом:

— Домашний поп нашелся. Морали читать, а вы же сами, дражайший мой, уже давно все морали замарали. Ну уличная девка! Ну торгует своей честью, но вы-то кто, чтобы ее воспитывать?

Лицо Сараева выразило такой ужас, что как ни был пьян Кичигин, а понял, что переборщил, сказал устало и примирительно:

— Оставим эту тему, Сергей Антонович, раз и навсегда. Мне ведь тоже лихо… Лихо… — Он судорожно стиснул руку Сараева. — Простите меня, ради бога… — Вдруг стал расслабленно клониться на бок, упал головой на подушку и тут же стал засыпать. Сараев попытался снять с него рубашку — куда там, он тяжело перевернулся на бок лицом к стене и захрапел со стоном.

Сараев смотрел на него уже с жалостью, потому что понимал — действительно же не имеет он права говорить с Кичигиным об этом, тому же вдвойне обидно слышать его поучения, зная, что сам-то он… Тут Сараев свои размышления оборвал и стал укладываться в постель…

Поезд уже стоял у ленинградского перрона, а они, толкая друг друга в тесном купе, матеря головную боль, только одевались, проспав все на свете. Кичигин уже увидел заглядывавшего с перрона в окно их купе директора Каланковского завода, помахал ему рукой.

— Поторопимся. А то угонят поезд в депо, будет смеху… — невесело пошутил Кичигин и никак не мог попасть рукой в рукав пальто.

Когда они вышли из вагона под густо падавший мокрый снег, на перроне, кроме трех человек, встречавших их, уже никого не было. Директор Каланковского завода — краснолицый здоровяк в забеленной снегом ондатровой шапке и дубленке — почти по-военному вытянулся перед Сараевым и представил своего главного инженера, молодого человека с суровым отрешенным лицом. Третий был их шофер, он взял чемоданчик Сараева и ушел вперед.

— На ваше усмотрение предлагается программа такая, — говорил директор, когда они сквозь снегопад шли по перрону. — Сейчас едем к вам в гостиницу, там позавтракаем, а мы с главным инженером сделаем вам краткую информацию о положении дел и ответим на ваши вопросы. Вы скажете нам, что вы хотите смотреть на заводе…

— Чтобы заблаговременно все отлакировать? — весело перебил Кичигин.

— У нас лака нет, чтобы детали красить, не то что… — мгновенно ответил директор и рассмеялся гулко, на весь перрон. — Дальше. Завтра у нас пятница, и мы должны из этого дня выжать все, что можно, машина придет за вами в гостиницу в половине восьмого. Потом мы имеем два нерабочих дня, а в понедельник утром мы подведем итоги, я созову начальников цехов, бригадиров, инженерно-технический персонал, финансистов и кадровиков. Не возражаете?

— А что ж, сегодня, выходит, у нас ничего, кроме завтрака, не будет? — спросил Сараев.

Директор переглянулся с Кичигиным и сказал неуверенно:

— Если у вас есть идеи, мы к вашим услугам, но должен предупредить, сегодня у нас день политучебы и после смены все на занятиях, по крайней мере все коммунисты.

— Да нет уж, давайте, как вы наметили, — решительно вмешался Кичигин. — Кроме всего прочего, я что-то неважно себя чувствую.

Машина мчалась по Невскому, Сараев еле успевал увидеть неповторимую красоту широкого и прямого как стрела проспекта, он так давно бывал в Ленинграде, что сейчас не мог даже вспомнить, когда это было. Кичигин был здесь совсем недавно, всю дорогу расспрашивал директора о каких-то общих знакомых, и тот, почему-то смеясь, отвечал:

— Все живы-здоровы, будьте спокойны.

Машина с ходу развернулась и эффектно подкатила к дверям гостиницы «Европейской», выбежавший швейцар стал открывать дверцы машины, бормоча:

— С приездом, пожалуйста… с приездом…

— Набрались науки с иностранцами, — смеялся Кичигин, отдавая швейцару свой объемистый портфель.

Оформление не заняло и минуты, они поднялись на бельэтаж и вошли в номер, похожий на дворцовый или музейный зал, спальня была отдельно. Посреди большой комнаты стоял уже накрытый круглый стол. И тотчас появилась молоденькая, миловидная официантка. Увидев Кичигина, она непонятно заулыбалась, но тут же ее лицо стало строгим, и она вынула из кармана блокнот. Заказом завтрака занялся директор завода…

Сараев оглядывал номер — в таких он никогда не живал, даже бывая за рубежом. Правда, все неизвестно откуда собранное сюда великолепие заметно поистрепалось, облупилось, но зато на нем появился знак времени и оно рассматривалось уже как музейное имущество. Кому, например, могло прийти в голову на

передней стенке пианино карельской березы нарисовать медальонный пейзаж — пастораль с пастушкой? Или — когда и чей стол украшала ныне, в век «шарика», бездействующая бронзовая чернильница в виде двух львов, сплетшихся в смертельной схватке? Сараев тщетно попытался ее приподнять... Или — кто мог заказать вылить из бронзы эту сильно откормленную, с оголенными грудями даму, почему-то державшую в руках нептуновский трезубец, да еще выгравировать на постаменте «В день ангела К. П. Явись и стань мне беспощадным палачом!»??? Бред какой-то...

Кичигин меж тем уже умывался перед завтраком, напевая арию из «Сильвы».

Завтрак длился до полудня и, как было условлено, проходил вперемежку с делом. Выпивки было всего чуть-чуть, а под очень вкусную еду директор и главный инженер сделали сообщение о положении дел на своем новом, только начинавшем действовать заводе. Бедствием у них стал брак, который, по мнению директора, происходил из-за недоброкачественного сырья, поставляемого заводу. Главный инженер считал, что причина не одна, но назвать другую уклонился, он вообще держался как-то странно: когда директор давал свои пояснения, он отрешенно глядел в тарелку, а когда Сараев попросил его высказать свои соображения, заговорил неохотно и все время повторял, что все, мол, сказал директор. Сараев эту ситуацию усек. Как и то, что Кичигин во всем поддерживает директора. В свою очередь, и директор не скупился на комплименты Кичигину, то и дело вспоминая его ценные указания, полученные в прошлый его приезд на завод.

— Я приезжал сюда, когда у них еще шел монтаж оборудования, — стал рассказывать Кичигин Сараеву. —

И представляете, иду по главному цеху и думаю, дай-ка посмотрю, как будет происходить движение производственного цикла. В это время монтажники как раз распаковали станок и готовились ставить его на фундамент. Гляжу и холодею: батюшки, этот же станок совсем не отсюда!

— Верно! Верно! — подхватил директор так радостно, будто в том, что обнаружил тогда Кичигин, было крупное производственное достижение. — Недогляди тогда Кузьма Аверкиевич, и пришлось бы потом переставлять станки. Представляете, какая получилась бы канитель…

— Давайте выпьем за эту удачу! — смеясь, предложил Кичигин, но директор, очевидно, знал застольную слабину гостя, никак на его предложение не отозвался и вместо этого стал пояснять Сараеву, в чем особые сложности производства агрегата, которым будет занят его завод. Сараева это разозлило — он был многосторонним производственником и, прежде чем прийти в главк, сам был директором завода, он не хотел слушать такие азы… И вообще что-то директор все больше был ему не по душе: Сараев не терпел людей, которые отделываются общими фразами, где следовало бы назвать техническую деталь или конкретную техническую проблему.

— Какие у вас станки? — спросил он у директора.

— В каком смысле — какие?

— В самом элементарном — чье производство, каково их техническое наименование по индексам?

— Борис Евсеевич, какие у нас там станки? — небрежно обратился директор к своему главному инженеру, и тот уже начал отвечать, но Сараев поднял руку:

— Не надо, сам посмотрю… А вам, — повернулся он к директору, — следовало бы самому знать.

Директор глянул на Кичигина, и во взгляде этом был вопрос: чего это он на меня кидается? Уволь-ка меня от этого…

Кичигин рассмеялся:

— Сергей Антонович давно не видел живого станка, стосковался. И кстати, что-то не верится — неужели вы, когда были директором завода, знали все станки своего завода?

— Знал, — твердо ответил Сараев и, помолчав, обратился к главному инженеру: — Вы изучали, где у вас чаще всего происходит брак?

— У меня тут с собой есть все данные, — вскочил инженер, чтобы взять в передней свой портфель.

— Бумажки завтра, — строго остановил его директор.

— Нет, почему же? — вмешался Сараев. — Сегодня нам абсолютно нечего делать, и я с удовольствием посмотрю… бумажки…

Инженер сходил за портфелем и, вынув оттуда пухлую папку, положил ее перед Сараевым.

— Ну что же, тогда завтрак будем закруглять? — спросил директор. — А то мне ведь еще надо и на завод.

Он позвал официантку и, уединившись с ней в передней, расплатился.

— Ну что ж, товарищи, — вернулся он к столу, — теперь вы с дороги отдохните, а часов в пять я позвоню вам, может, мы что придумаем на вечер, я просил наших попробовать достать билеты в театр. Всего, товарищи. Пошли, Борис Евсеевич… — Он точно забыл, что Сараев хотел ознакомиться с документацией, подхватил своего главного инженера под локоть и буквально выпихнул его в переднюю, точно боялся, что тот останется здесь без него.

— Не будем же мы в самом деле отдыхать, — сказал Сараев, когда они остались одни. — Хоть по городу, что ли, пройдемся?

— Ходить я — пас, — отозвался Кичигин, рассматривая картину в тяжелой золоченой раме. Картина занимала чуть не половину стены, а на ней — полуголая женщина возлежала под деревом на зеленом холмике, на фоне старинного готического замка, у ног ее ласкалась борзая розового цвета, и женщина пухлой рукой гладила собаку по спине.

— А ничего бабеночка, Сергей Антонович, поглядите-ка.

Сараев подошел, стал позади Кичигина:

— Рыхлая какая-то…

— Глядите-ка, спец нашелся… — и жестко спросил: — Чего это вы на директора окрысились?

— Не люблю болтунов, не переношу, у меня такое впечатление, что он дела своего толком не знает.

— Не тор *о*питесь с ярлычком? А потом, все же мы у него в гостях.

— Очень хотел бы ошибиться, но завтра всё увидим… Я все-таки прогуляюсь. — Сараев прошел в переднюю, оделся и ушел.

Кичигин выждал, пока увидел в окно Сараева переходящим заснеженную улицу, и сел к телефону.

Первый звонок директору:

— Сын Аверкия говорит. Уже добрался? Слушай внимательно: сегодня же вечером надо погасить моего спутника, иначе все полетит к чертям. Ты понял меня? В нем проснулся производственник-энтузиаст, и на тебя он заимел зуб. Многовато ты за завтраком ораторствовал, а твой главный — наоборот, и, по-моему, он действует тебе поперек. Завтра смотри в оба. Но сегодня спутника моего надо погасить в принципе и навеки, чтоб ему и впредь неповадно было. Понял ты меня? У тебя еще работает та Галочка с родинкой на щеке? Тебе неудобно? Я сейчас ей позвоню сам и приглашу к нам в гостиницу с подружкой. Как думаешь,

найдет она приличную? Ладно, я сейчас тебе перезвоню…

Следующий звонок той, с родинкой ка щеке:

— Галочка? Вас беспокоит один ваш поклонник.

— Господи, кто ж это?

— Угадайте…

— Ой, их у меня так много — запутаюсь.

— Галчоночек, а не помните вы одного такого, который рассказывал вам сказочку про черного петуха и белую курочку?

— Ой! Кузьма? Ты?

— Я, мое солнышко.

— Откуда?

— Из «Европейской».

— Ясненько.

— Не все. Есть у тебя подружка и чтобы была не хуже тебя? Для друга моего, мы с ним вместе приехали.

— Бу сде… Ваш номер?

— Сто десять.

— Явка?

— Двадцать ноль-ноль.

— Записано. Пока, Кузя, бабам обуза!

— Не забыла, чертовка…

Снова звонок директору:

— Товар есть. Твоя задача — придумать вступительное мероприятие. Надеюсь на тебя. Товар явится к восьми: исходя из этого и планируй.

— Будет на уровне, не тревожься.

Кичигин положил трубку и улыбнулся: у него о директоре мнение иное — мировой парень. Он познакомился с ним в одной московской компании, когда тот был директором небольшого авторемонтного завода. Они пришлись друг другу по душе, погуляли вместе всласть — новый его знакомый оказался докой по «женскому» вопросу.

Два года назад Кичигин устроил его сюда на новостроящийся агрегатный завод. Теперь они встречаются не часто, но, когда директор приезжает по делам в Москву или Кичигин в Ленинград, всякое «дело» непременно заканчивается гулянкой, и такой, чтобы, как говорил Кичигин, «было что забыть»…

Когда в семь утра Кичигин, сам еле стоя на ногах, начал будить Сараева, тот долго никак не реагировал и лежал ничком недвижимо, как труп. Кичигин сорвал с него одеяло и открыл окно — с улицы в спальню хлынул холод. Сараев стал оживать, открыл глаза и долго озирался, ничего не понимая.

— Через полчаса за нами придет машина! — в третий, в четвертый раз кричал Кичигин, сам уже одеваясь.

Кое-как оделись — молча, только громко сопя и постанывая от дикой головной боли. Кичигин сходил в другую комнату и принес оттуда еще с ночи приготовленные им два фужера с водкой.

— Нате опохмелитесь… да быстрей же! А то оба умрем… — Он двумя большими глотками осушил фужер и вздохнул шумно и радостно. — О господи…

Выпил и Сараев — закашлялся чего-то, но свинцовая тяжесть сразу покинула голову, начал проясняться мозг.

— А где все? — несколько сконфуженно спросил Сараев.

— Кто именно? — Кичигин решил проверить, что он помнит.

— Ну… директор… потом…

— Шурочка?

— Да…

— Так бы прямо и говорили. Она ушла часа в четыре, вы же ее совсем растерзали, вон что от нее осталось, — сипло смеясь, Кичигин вытащил из постели Сараева шелковый оранжевый шарфик. — Держите на память!

Сараев стоял низко опустив голову, очевидно трудно вспоминая, что было минувшей ночью.

— Ладно, все — позади, впереди — дело, — энергично распоряжался Кичигин. — Идите в ванную, умойтесь быстренько.

— Хорошо бы душик.

— Не выйдет, в восемь ноль-ноль нас ждут на заводе.

Когда им в номер снизу позвонил шофер, они были уже более или менее в порядке, если не считать их мятых физиономий…

На заводе Сараев довольно быстро стряхнул с себя тяжелую ночь, и голова его заработала активно и ясно. Все тут было ему привычно, на министерской службе он, конечно, соскучился по заводской атмосфере, по зримой конкретности труда, по ощущению своей реальной и сиюминутной полезности.

Сначала было совещание в кабинете директора. В нем участвовало около десятка инженерно-технических работников, но Сараев сразу заметил: нет главного инженера. Спросил — где он?

— Он что-то забюллетенил, — ответил директор сиплым после той же ночи голосом и открыл совещание.

Сараев как только увидел сегодня директора, его от злости ознобом прохватило — какой-то частицей ума он все же понимал, для чего директор организовал эту разгульную ночь, но странным образом, сильнее ему хотелось, чтоб это было не так, чтобы директор, как и Кичигин, оказался просто мастаком гульнуть на свободе, а он тут, как говорится, им под руку подвернулся. Так или иначе, симпатии он к директору не испытывал и по ходу совещания все ждал повода сцепиться с ним. Повода, однако, все не было и не было: директор на этот раз больше молчал. Все работники завода вину за брак дружно валили на поставщиков некачественного сырья, а два оратора покритиковали

еще какую-то серию станков как морально устаревшую. Сараев все силился и не мог вспомнить, что это за серия, и для памяти записал ее номер. В общем, все складывалось в поддержку позиции директора, и у Сараева не было никаких оснований не верить заводским инженерам, которые все знали конечно же лучше залетных ревизоров…

Выступил Кичигин, хотя Сараев просил его не торопиться с высказыванием своего мнения и сперва вооружиться необходимой убедительной информацией. Кичигин хитро извернулся, заявив, что он обязан верить тому, что сказали здесь заводские специалисты, но он тоже хотел бы побывать в цехах.

— Вы будете говорить, товарищ Сараев? — спросил директор.

— Я хочу побывать в цехах, — негромко отозвался Сараев, уже понимая, что директор так же умело организовал это совещание, как и минувшую тяжкую ночь…

По заводу шли втроем: директор, Сараев и Кичигин. Директор, очевидно, чувствовал неизменившееся настроение Сараева и предпочитал только отвечать на вопросы. Спрашивал больше Кичигин. Его вопросы были толковые, а иные для директора даже опасные, и все — по делу. Но и директор сегодня отвечал деловито, с явным пониманием дела. Откуда Сараеву было знать, что об этой викторине они на ходу сговорились еще вчера вечером.

В одном цехе Сараев увидел сгрудившихся у станка рабочих и пошел туда.

— Вы продолжайте обход, я задержусь на минуточку, — сказал он Кичигину.

Тот смешался, хотел было пойти за Сараевым, но тут же передумал, крикнул ему, что они будут ждать его в кабинете начальника цеха.

Сараев подошел к окружившим станок рабочим, хотел послушать, о чем они там толкуют, но они стояли так плотно, что ничего нельзя было услышать.

— Здорово, народ! — громко произнес Сараев. — Что случилось? Может, нужна помощь? Я из министерства, зовут Сергей Антонович. А кто тут главный у вас?

— Я вроде… Колей зовут… — смущенно ответил розовощекий парень в сдвинутом на ухо берете.

— Над чем голову ломаете? — спросил улыбаясь Сараев.

Когда Сараев был директором завода, он очень любил такие вот разговоры у рабочего места, когда решать задачу можно и нужно не языком, не чистописанием на бумаге, а умелыми руками и хорошим знанием производства.

Прошло не более десяти минут разговора, у остановленного станка, и Сараеву было ясно, что он имеет дело с хорошими молодыми рабочими, но их техническая подготовка оставляла желать лучшего. Это его ощущение еще больше укрепилось, когда он поговорил и с другими рабочими. Картина окончательно прояснилась, И он был уверен, что главная причина массового брака в этом — завод молодой, технически весьма современный, а укомплектован рабочим молодняком, вчерашними учениками ПТУ — народ они хороший, рвутся работать лучше, а достаточных технических знаний и опыта у них нет. Руководство же завода организовать для них толковую техническую учебу не удосужилось…

Об этом Сараев и сказал, когда все они после обхода вернулись в кабинет директора, сказал очень серьезно, резко. Произошло неожиданное: директор завода принялся его благодарить за то, что он открыл им глаза на упущенную ими задачу.

Сознался даже, что об этом же ему давно твердит главный инженер, а он не прислушался. Теперь он

немедленно примет необходимые меры, организует на заводе серьезное техническое обучение рабочих. В заключение он еще раз поблагодарил Сараева и Кичигина за огромную помощь и сказал, что завтра же напишет об этом министру.

— Это уж лишнее, — проворчал Сараев. Все же такому исходу дела он был рад и понимал, что после вчерашней ночи ссориться с директором ему никак не с руки.

Спустя час Сараев и Кичигин обедали вдвоем в ресторане своей гостиницы. Билеты на поезд уже в кармане, оттого, что дело сделано, на душе спокойно, и можно малость расслабиться…

— Когда я забегал в номер, звонила ваша Шурочка, на будущей неделе она будет в Москве, спрашивала ваш телефон, я дал ей свой. Правильно?

— Правильно, — сухо ответил Сараев, напоминание было неприятным.

— Видать, забыть вас не может, — тихо рассмеялся Кичигин.

— Между прочим, кто она — не знаете? Я спрашивал, а она все острила, что она человек с планеты Земля… — Сараев невольно улыбнулся своим воспоминаниям.

— Директор говорил, она работает где-то экономистом-социологом.

Кичигин за обедом не напился, и, вернувшись в номер, они решили до поезда поспать, все же прошлая ночь давала о себе знать…

Телефон в другой комнате номера долго звонил, прежде чем Кичигин наконец пробудился, прошел в гостиную и взял трубку:

— Слушаю…

— Можно товарища Сараева?

— Кто его спрашивает?

— Из Смольного.

— Одну минуту.

Сараев долго не мог сообразить, что от него хотят, но наконец понял и подошел к телефону.

— Товарищ Сараев? Кажется, Сергей Антонович? С вами из Смольного говорит Потапов Сергей Михайлович. Помните, я у вас был в главке, когда готовилось решение о строительстве Каланковского завода?

— А? Как же, как же, помню, помню… — окончательно пробудился Сараев.

— К сожалению, о том, что вы здесь, в обкоме узнали только, час назад. Вы были на заводе — какое у вас впечатление о директоре?

— Да как вам сказать? В основном положительное… в основном…

— А у нас мнение, что его нужно освобождать.

— За что?

— За отсутствие данных занимать этот пост и еще… как бы помягче сказать… за моральное несоответствие… это, повторяю, выражаясь мягко, — обком располагает на этот счет основательными данными. И мы хотели просить вас доложить это наше мнение министру, а он может связаться с секретарем обкома по ВЧ.

— Хорошо, я сделаю это…

— Очень жаль, что мы не увиделись. До свидания…

Кичигин, встревоженно слушавший весь разговор, спросил:

— Что там такое?

— Смольный предлагает вашего директора снимать, и я должен доложить об этом министру.

— Этого нельзя допустить, — тихо, но властно произнес Кичигин.

— Вы что, не понимаете, что такое Смольный и что означает для министерства его мнение? — как только мог спокойно ответил Сараев. — Они считают, что у

него нет данных быть директором. И кроме того, как он выразился, — Сараев кивнул на телефон, — моральное несоответствие…

— Чепуха! Все можно повернуть так, как нужно нам. А неужели вы не понимаете, что этот директор с его агрегатами будет нам очень и очень полезен? Нам! Понимаете? Вы что думаете, я не вижу, что он слабый директор? Но он идеальный для нас. Для нас, Сергей Антонович!

Сараев молчал. В который раз Кичигин вот так припирает его к стенке и заставляет подчиниться. Но сейчас он просто не знал, как быть…

— Кстати, — продолжал Кичигин. — Наша вчерашняя вечеринка вместе с премиальными для дам, такси и утренним завтраком по приезде стоили триста рублей, без десятки, кажется. Уплатил директор. Не забудем об этом своем долге ему, если его… выгонят. Но вы доверьте это дело мне, я подработаю такую контршпаргалочку, что ваш Смольный умоется. Я сейчас же еду к директору домой — надо его предупредить. Встретимся в поезде.

Кичигин прибежал, когда поезд уже трогался. Запыхавшийся, он обрушился на койку в купе и долго сбивал одышку, со злостью глядя на Сараева. Наконец, когда за окном уже не было огней Ленинграда, он заговорил под мерный, рокот колес.

— Будь все проклято, — тихо произнес он и сорвал с шеи галстук. — С директором плохо… — Рывком расстегнул воротник сорочки. — Он, оказывается, снюхался с какими-то торгашами, влез с ними в аферу, их посадили, и они дали на него показания. В Сестрорецке они на даче одного из торгашей бардак открыли… с финской баней… И представляете, что он за типчик — мне об этом ни слова! Нетрудно домыслить, куда он мог нас затащить! Страшно подумать. Так что, Сергей Антонович, как можно скорее докладывайте

министру мнение Смольного и поддержите его обеими руками, пусть его немедля гонят к чертовой матери…

Сараев молча раздевался, в эти минуты он подумал, что его похождения с Кичигиным могут плохо для него кончиться, и ему стало знобко. Забравшись под одеяло, Сараев сказал:

— Он мне сразу не по душе пришелся — болтун… и царек…

— Ладно, ладно, — ответил Кичигин. — В тот вечер он был вам хорош, на брудершафт пили… В общем, забыли о нем, будто его и не было. Аминь.

Глава двадцать третья

Вот уже и зима. Черт побери, как летит время. И работа идет дальше. А что это значит? Хотите знать точно? Каждый день — глаза в глаза с жульем. Но такая уж у них работа: вчера — удача, принимаешь поздравления товарищей, а сегодня гори голубым пламенем над беспросветным делом и сочувствия ни от кого не жди.

Именно такое дело и дал Куржиямскому майор Любовцев. Барабаня пальцами по лежавшей перед ним не очень пухлой папке, он сказал:

— Дело это какое-то вялое, обвислое, в сон кидает. С самого начала оно повелось пятками вперед…

— Так прикрыть его и делу конец? — с обреченной надеждой спросил Куржиямский.

— Нельзя. И сразу запомните, капитан, — Любовцев хитро улыбнулся, — дело подарено нам нашим министерством, значит, будем бдительны. И попробуем проглядеть его вместе, кое-что тут все-таки уже есть… — Любовцев открыл папку. — Вот видите? Сопроводиловочка. Так… Тут обращается наше с вами внимание на то, что существо дела находится в прямой

связи с решением недавнего Пленума ЦК КПСС. Запевка, ничего не скажешь, крепкая.

Но дальше дело выглядело действительно вяло. Начиналось оно с газетной вырезки — опубликованное в областной газете письмо колхозного бухгалтера обвиняло председателя колхоза Степового в том, что он незаконным путем добывает запасные части к автотехнике и платит за них вдвойне колхозными деньгами. Дальнейшие страницы дела фиксировали попытки провести проверку этого сигнала местными силами. Все было в этом материале весьма шатко…

— Такое впечатление, что проверявшие выгораживают председателя, — заметил Любовцев.

Но одно обстоятельство — тут в деле кто-то в министерстве густо подчеркнул две строки, — видимо, и предрешило пересылку дела в отдел Любовцева. Агроном колхоза в своих показаниях утверждал, что ту сделку председатель колхоза будто бы совершил в Москве, в Министерстве автопромышленности, а оно находилось в этом же районе столицы.

Дальше в деле шло уже то, что сделали работники отдела до Куржиямского, и эти страницы он сейчас читал очень внимательно. Любовцев предупредил:

— Начинать с министерства мы не могли, а там на месте наши товарищи растеклись по древу… В общем, штудируйте и потом доложите свои соображения…

Куржиямский сейчас читал дело заново, но надо сказать, ему несколько мешала объявленная сегодня радостная весть о присвоении ему звания капитана. Правда, он умел не поддаваться чувствам и, стиснув голову ладонями, внимательно читал страницу за страницей.

Газетная вырезка сильно потрепалась. Куржиямский аккуратненько наклеил ее на лист бумаги и сам себе улыбнулся — страница словно помолодела. Но что же тут дальше? Запросы… Ответы… «Так как нет для этого

основания...» «Проверкой не подтверждено...» Это все Костя Тарабрин упражнялся в стрельбе на дальние расстояния. И вот приказ ему от Любовцева — выехать на место. Куржиямский помнит, как уезжал Костя и как все просили его привезти воблы... Докладная Кости о поездке... Так... так... Картина вроде абсолютно ясная: оказывается, бухгалтер сводил счеты с председателем колхоза, который уличил его в каких-то махинациях с колхозным медом и за это выгнал. Заметка в газете — месть. Молодец Костя, вылупил яйцо, только глотнуть его и осталось... Но нет, не таков майор Любовцев. На Костином проекте постановления о прекращении уголовного дела наискось его резолюция: «Из этого не ясно, было ли все-таки незаконное приобретение запасных частей, а только это для нас и важно. Послать на место лейтенанта Сурова и студента-практиканта Акишина». Поехали ребятки, загремели... Как же они там действовали?

Суров был более осмотрительным, чем Костя. Он допросил почти сорок человек, но тут был как раз тот случай, когда количество переходит в качество: картина была пестрая, противоречивая, и никакого определенного вывода по ней сделать было нельзя. Куржиямскому показалась относительно важной та часть показаний председателя колхоза Степового, где он косвенно признал покупку «левых» запасных частей, но тут же утверждал, что та переплата в конечном счете дала колхозу прибыль, в десятки раз превосходящую расход. Деньги для переплаты он, оказывается, брал из колхозной кассы, они были ассигнованы на оплату художников за оформление клуба и правления. Он признавал, что делать это было нельзя, но не на себя же он тратил те деньги. Его рассказ о том, как была произведена покупка и где, был крайне запутан. Кому он платил — не помнит и вообще умоляет не дергать его больше по этому вопросу, а если

надо, он готов внести истраченную сумму в кассу колхоза из своих личных средств. Получалось по Сурову, что председатель колхоза прямо героический защитник колхозных интересов, в то время как его следовало судить за одну операцию с тратой денег, предназначавшихся совсем на другое. В общем, неудивительно, что майор Любовцев написал резолюцию: «Товарищу Куржиямскому провести дополнительное расследование на месте, обратив особое внимание на...» — далее следовали его дотошные конкретные указания.

Подходил к концу рабочий день. Куржиямский, встряхнувшись от вязкой дремоты, принялся в который раз читать протокол допроса председателя колхоза. И вдруг он замер — как это раньше не заметил этих строчек? Прочитал еще раз: «Человека, который помог нам добыть запасные части, я не знаю, не знал раньше, мне не известна ни его фамилия, ни где он работает, ни где он постоянно пребывает. А по его внешности могу сказать только одно — рот у него больно широкий и вообще неприятный. И еще я слышал, как привозивший его шофер однажды назвал его Жора, но, может, я и ослышался...»

Жора-обжора! Жора Томак, последняя кличка — Фонарь. Неужели тот Жора из дела по краже часов? Бывает же так — два раза читал эти страницы и не зацепился. Это, наверно, от почерка Сурова — растягивает слова по строчке, того и гляди одна волнистая линия получится. Но вот же зацепился!

Куржиямский разыскал свои записки по тому делу о краже часов и стал их читать. Нелегкое занятие разбираться даже в собственных каракулях — в обрывках слов, в каких-то цифрах и знаках.

Быстро тогда Зарапин сработал — в понедельник утром с часового завода поступил сигнал о краже часов,

а в среду они с Зарапиным уже допрашивали воров. Правда, помогла картотека угрозыска... Двое воров были грузчиками при заводском складе, оба пьянчужки, готовые продать совесть за пол-литра, и сразу было ясно, что они не могли придумать это довольно хитрое воровство. Его инициаторами и режиссерами оказались два профессионала со стороны. Один из них — Нестеренко — был ясен как стеклышко: уже имел две отсидки, но вор среднего пошиба и притом неудачник — было у него три серьезных затеи, и на всех трех он завалился. Это выработало в нем специфический скептицизм. На допросах он особенно не вилял и, если видел, что улики против него есть, резину не тянул. А вот второй — Жора со странной фамилией Томак (Георгий Иванович Томак), обладавший ртом от уха до уха, был фигурой посложней, и Куржиямский почему-то был почти уверен, что он в этой компании — чужак.

Жора Томак с первого же допроса стал главным помощником Куржиямского, но чем больше он старался, признаваясь сам и склоняя, а то и вынуждая к признаниям своих сообщников, тем все непонятней становился мотив такого его поведения, тем более что по всему было видно — преступник он опытный. Даже возникла мысль — не влез ли Жора в это дело, чтобы упрятаться в колонию от какой-то грозившей ему гораздо большей опасности. Это подозрение, как и то, что среди воров данной шайки он чужак, подтверждало отношение к нему главаря Нестеренко, утверждавшего, будто знает Жору плохо и взял его в дело только из-за безрыбья...

Но все-таки тот ли это Жора? Что-то не похоже, чтобы тот Жора вдруг ринулся в сельское хозяйство. Впрочем, почему бы и нет? В колхозах теперь много денег, а жулье это сразу засекает.

Но позвольте, как он мог заняться сельским хозяйством и вообще чем-либо, если ему еще сидеть и

сидеть? Ему дали тогда четыре года, а не прошло еще и двух…

Все это Куржиямский доложил Любовцеву, и тот вдруг непонятно оживился.

— Хватит гадать на кофейной гуще, — сказал он энергично. — Поезжайте в управление, ведающее местами заключения, и точно узнайте, где отбывает наказание этот Жора Томак. Помните, как гневался министр на нашем городском активе по поводу того, что нередки случаи, когда преступникам удается не отбывать полностью присужденный им срок? Мы тут их раскалываем, осуждаем, а потом по характеристике начальника колонии им могут скостить год, два, а то и больше. Есть и другие щели, куда они пролезают.

— Вы думаете, что и Жора…

— Я почему-то уверен, что это тот самый Жора, и тогда — да, выскочил на свободу и он. И мы имеем возможность этот факт проверить.

Глава двадцать четвертая

Утром за завтраком Наташа спросила у Горяева, не помнит ли он, чем отмечен в истории этот день? Как ни ломал голову, он вспомнить не смог.

— Эх ты, романтик, — горько усмехнулась Наташа. — Сегодня пятая годовщина нашей свадьбы.

— Счастливые часов и дат не наблюдают, — парировал Горяев и хотел поцеловать жену, но она отстранилась.

— Нежности потом, дорогой мой муженек, — решительно заявила она. — А в субботу я хочу позвать гостей. Устроим всё на даче. Прошу выделить на мероприятие двести рублей… — Она протянула руку, он полез во внутренний карман пиджака, где как раз лежали полученные им вчера от Кичигина двести

рублей, эффектно выхватил их оттуда и положил в ее протянутую руку. Она смяла деньги в кулак и рассмеялась: — Ты Кио! Последнее: ты можешь со своей стороны позвать в гости трех человек, и ни души больше. Подарки от всех не обязательны, от тебя — желателен.

Он сразу решил — Кичигина, Сараева и Ростовцева…

К этому времени он сошелся с ними достаточно близко и послушно делал все, что они ему поручали, а деньги, которые он за это получал от Кичигина, всякий раз были как нельзя кстати: по-прежнему дом и дача жрали их непрерывно. Самое смешное и приятное — когда у него появились деньги, теща притихла и даже перестала тяжело болеть… Горяев старался уверить себя, что никакая опасность ему не грозит хотя бы потому, что он ведать не ведает, как делаются те деньги, а выполнение поручений Кичигина может выглядеть как служебная исполнительность.

Решив впервые приблизить их к своей личной жизни, он все же тревожился — следует ли это делать?

С другой стороны, ему хотелось, чтобы эти люди стали ему еще ближе. Особенно — Сараев, его непосредственный начальник.

Приехав в министерство, он сразу отправился к Кичигину. У того в кабинете, как всегда, клубился народ: кто-то просил что-то подписать, кто-то просил совета, как отвечать на запрос какого-то завода, кто-то выслушивал нотацию Кичигина за нерадивость… Как-то Горяев сказал ему, что он не смог бы работать в такой вечной толкотне, а Кичигин, засмеявшись, ответил:

— А я такую ярмарку обожаю, дела должны иметь человеческие лица, тогда ими хочется заниматься…

Дождавшись, когда его кабинет все-таки опустел, Горяев сказал, сбиваясь на торжественность:

— Моя супруга и я приглашаем вас в субботу к нам на дачу — будет обед по случаю пятилетия нашего

бракосочетания.

— Наконец-то я увижу вашу жену, говорят — чудо как красива.

— Да ладно вам. Будете?

— Всенепременно!

— Как вы считаете, могу я пригласить Сараева?

— Вполне. Но разрешите мне передать ему ваше приглашение, мы вместе и приедем. Дорога есть до самой дачи? Черкните адресок…

Горяев написал адрес дачи и спросил:

— А кого бы позвать еще? Может, Ростовцева?

— Не надо, прошу вас. И вообще больше со службы никого не надо. Понимаете?

— А если Соловьева? — вдруг пришло ему в голову. — Как-никак мой крестный в начальники отдела.

— Может не прийти, и тогда вам будет неловко. Субординация дело хитрое, не забывайте — он замминистра.

— А я все-таки позову…

— Я бы просил вас этого не делать… из известных соображений, — жестко сказал Кичигин и, отыскав на столе какую-то бумажку, протянул Горяеву: — Как посмотрите?

Это было письмо-заявка из Литвы от руководителя дорожно-строительной колонны, он просил для колонны два двигателя Мирославского завода и кузов для «Волги-24».

— Самотек? — поинтересовался Горяев.

— Ни в коем, это сработано нашими людьми в Прибалтике.

— А тогда в чем вопрос?

— Двигатели я уже обеспечил, а вот с кузовом дело хуже… Я не хотел бы обращаться к Ростовцеву, а лишний кузов сейчас есть как раз в его объединении, его там забраковали, и, судя по всему, Ростовцев хочет

этот кузовок затемнить от нас. Понимаете? Так вы можете позвонить ему как диспетчер по готовой продукции и с полным служебным основанием спросить, куда идет тот кузовок, и сказать о нашем расчете — для Литвы.

— Цену сказать ему прежнюю?

— Да, но сразу утешьте его, что он получит половину.

— Ясно… Так, значит, в субботу мы вас ждем.

— Всенепременно будем вместе с Сараевым. А Соловьева не звать…

Горяев вернулся к себе и тут же позвонил Ростовцеву:

— Александр Платонович, поклон в пояс. Это — Горяев.

— Здравствуйте, слушаю вас. — Когда Ростовцев отвечал по телефону так служебно, это означало, что у него в кабинете есть люди.

— Позвоните мне, пожалуйста.

— Ясно. Минут через десять…

К этому времени жульническая группа уже работала активно, получение взяток было поставлено, что называется, на поток. Выяснилось, что клиентов другой раз и искать не надо, один тянул за собой другого — язык, как известно, до Киева доведет. Редкие дни, когда преступники не клали в карман черные деньги; у них выработался даже особый лексикон при телефонных и личных переговорах, связанных с преступными делами. Негласным главарем группы уже давно стал Кичигин, ему подчинялись все, даже заместитель начальника главка Сараев. Ростовцев вынужден был с этим примириться. Силы были расставлены так: Залесский — его постоянное место Донецк — обрабатывал юг Украины и Крым, помощником у него был Гонтарь, который почти все

время разъезжал по своей зоне. В Прибалтике, подальше от места прежней службы, где он пережил катастрофу, действовал Лукьянчик и с ним — Сандалов. Они тоже поставляли клиентуру. Кичигин, Сараев, Горяев и Ростовцев обеспечивали незаконное оформление техники за взятки. Ревзин действовал в Минске, но что-то не очень активно, наверно, еще не пережил испуг от дела по базе стройматериалов. Свои люди были заведены в объединении «Союзсельхозтехника» и еще в нескольких нужных взяточникам учреждениях, те работали за ресторанные угощения или разовые подачки... К главному корыту их не допускали, используя нерегулярно.

Фальшивые документы были искусно включены в поток официальных распорядительных бумаг. Был разработан даже своеобразный прейскурант взяток — сколько за что. Скажем, за новый автодвигатель Мирославского завода — сто рублей. По-божески! Но сотни быстро складывались в тысячи. В общем, хватало всем и все были довольны. И они не очень тревожились, считая теперь, что их защищает от разоблачения прежде всего дикая заинтересованность в запасных частях тех, кто давал взятки.

Был довольно холодный зимний день, но стол накрыли на веранде дачи. Наташа слышала, что возникла мода устраивать приемы гостей на зимней даче.

Гостей оказалось ровно столько, чтобы было и не тесно и вместе с тем достаточно многолюдно. Быстро стало тепло и необыкновенно уютно оттого, что за окнами веранды виден был зимний сад. Наташа позвала три супружеских пары, в которых жены были ее сокурсницами по институту. Всех ее гостей Горяев видел впервые и, знакомясь с ними, удивлялся, что у его жены столько друзей, которых она захотела

увидеть на пятилетии своей свадьбы. Потом, по ходу застолья, Горяев удивился еще и тому, что все гости жены оказались на удивление бесцветными людьми. Как будто она специально их так подобрала, чтобы на их фоне блистать в своем белоснежном костюме с горящими, как костер, рыжими волосами. Она изо всех сил старалась втащить своих гостей в разговор, но, отчаявшись, оставила их в покое, решив, что, приняв вина, они разговорятся сами.

В этот момент появились новые гости. Кичигин, как и обещал, приехал вместе с Сараевым. Они появились в саду, неся вдвоем большой сверток. Горяев с Наташей вышли им навстречу. На садовой, плохо протоптанной в снегу дорожке гости остановились, попросили Горяева отойти в сторону и, когда он шагнул в снег, сорвали со свертка обертку и бросили к ногам Наташи развернутый в броске ковер. Целуя ей руку, Кичигин сказал:

— Прелестнейшая Натали, этот коврик пусть лежит у вашего брачного ложа, но непременно с вашей стороны, чтобы только ваши ножки не стыли поутру. Космически недостижимая нам, смертным, мечта — вдруг однажды, ступив на этот коврик, вы вспомните нас? Но лучше меня одного…

Наташа, весело смеясь, ступила на коврик. Все было очень мило, хотя и малость «по-купецки», так, по крайней мере, показалось Горяеву.

Ковер так и остался лежать на дорожке, а новые гости прошли на веранду и сели за стол. Теперь в сборе были все.

С приходом Кичигина за столом стало заметно веселее, он взял на себя обязанность тамады, делал это весело, без конца сыпал анекдоты, поговорки; правда, чем больше он выпивал, тем все гуще его поведение пахло пошлостью. Горяева это злило, тем более что Наташа, тоже порядком выпившая, неприлично громко смеялась каждой остроте Кичигина, и тот старался еще

больше. И тут Горяев вдруг обнаружил, что Кичигин красивый мужик и даже похож на какую-то кинознаменитость, но не мог вспомнить, на кого именно.

Но особенно портила Горяеву настроение теща. Ольга Ивановна сидела во главе стола и держалась так, будто праздник этот был ее: вертела во все стороны своей птичьей головкой с хищным клювом, стараясь услышать все, что говорилось за столом, с лица ее не сходило выражение жадного интереса.

— Мама, мне кажется, устала... — шепнул Горяев жене.

— Не тронь ее, ради бога, — весело ответила Наташа и снова повернулась к Кичигину, собиравшемуся говорить новый тост. Он уже сильно опьянел, и его высказывания становились все более рискованными.

— Господа, друзья и товарищи! — так он начинал все свои тосты. — Я хочу привлечь ваше внимание к женщине, сидящей по полному праву во главе нашего стола. Я говорю об Ольге Ивановне! — Он замолчал, пристально глядя на Ольгу Ивановну, точно хотел в эту минуту постичь все ее значение в жизни. А она замахала обеими руками:

— Ах, оставьте... Ну зачем вы, зачем вы? — восклицала она, кокетливо поправляя волосы, и вдруг зарумянилась.

— Как это зачем? — картинно возмутился Кичигин и рывком головы вскинул свои обвисшие на виски густые каштановые волосы. — Не было бы вас, не было бы нашей звезды Натали, а без нее и мне здесь незачем быть. Так вот... Перед нами сидит мать — начало всех начал.

— А кто тут отец? — пьяно пробормотал Сараев.

— Мы ответим и на этот вопрос, попозже... — весело огрызнулся Кичигин и продолжал, показывая пальцем

на Ольгу Ивановну: — Вот оно — начало всех начал! Да... Именно! Боже! Но как пашне нужно зерно, так... Боже! Но какое же это было драгоценное зерно, если из него родилось вот это! — Кичигин резко развернулся в другую сторону и показал на Наташу. — Ольга Ивановна! Пусть будет священным тот миг, когда во чреве вашем возник плод, ныне именуемый Наташей, виноват... Наталией Семеновной. Господи, рождаются же такие красавицы!

Горяев видел, что его жена, ничуть не шокированная пошлостью оратора, улыбалась ему — неужели она так глупа или так много выпила?

— Ольга Ивановна! — продолжал Кичигин. — Вы произвели на свет чудо и подарили его нам. Спасибо, дорогая Ольга Ивановна! За ваше здоровье! — Кичигин опрокинул рюмку водки и поставил ее со стуком на стол.

Все зашумели, подняли рюмки, протягивая их к Ольге Ивановне, а она, разрумянившаяся, тоже подняла свою и протянула ее наискось через стол к Кичигину, тот с непостижимой ловкостью выгнулся ей навстречу через стол, схватил ее руку и принялся целовать, бормоча: «О счастливая мать... О счастливая мать...» Ольга Ивановна, к великому удивлению Горяева, выпила свою рюмку до дна, поставила ее и, повернувшись к зятю, сказала:

— Учитесь, Евгений Максимович... — и своими глазами-ледяшками показала на Кичигина.

Горяева захлестнула дикая злоба, но в это время Наташа толкнула его локтем и сказала, тоже показывая на Кичигина:

— Ты заметил, что он похож на Альберто Сорди?

— А кто это такой? — не в силах подавить злость, спросил Горяев.

Наташа посмотрела на него удивленно, даже отстранилась немного, чтобы лучше его видеть:

— Сорди — знаменитый итальянский киноактер.

И в самом деле! Горяев тоже вспомнил этого Сорди — он играл роль какого-то простака, продававшего собственный глаз…

Меж тем Кичигин пересел к Наташе и, бесцеремонно обняв ее за плечи, бубнил ей что-то в ухо, а она прямо таяла и смотрела ему в глаза не то удивленно, не то радостно. Горяев пытался разобрать, что ей говорил Кичигин, но не мог расслышать, до него донеслась только дважды повторенная Наташей фраза:

— Это уже лишнее…

Но Горяев видел, что и это лишнее ей тоже приятно, и злость захватывала его все сильнее, он пил не пьянея, но уже чувствовал, что все это, раскисшее за столом, он взорвет скандалом…

В этот момент Кичигин через плечо Наташи увидел Горяева и вскочил, обводя застолье шалыми глазами:

— Господа! Товарищи! С ума сойти! Мы же здесь по случаю годовщины бракосочетания непревзойденной нашей красотки Натали и кого еще? — он ткнул пальцем в Горяева. — Евгения Максимовича Горяева! — Он схватил со стола чью-то рюмку: — За здоровье счастливейшего обладателя звезды с неба! Ура!

Застолица в поднявшемся гвалте, в звоне рюмок и бокалов не заметила, что герой тоста свою рюмку уже не поднял.

Прошло какое-то время, когда Горяев, сидя за столом, дремал и потерял контроль над происходящим вокруг, но, когда очнулся, не обнаружил за столом тещи. Облегченно вздохнув, он обвел взглядом стол, точно приглашая всех разделить с ним радость, но оказалось, что, кроме него, за столом еще только трое: одна супружеская пара и откровенно дремлющий Сараев. А остальным гостям теща, оказывается, показывала дачу. Но там не было Кичигина и Наташи! Дверь с веранды была открыта, слышно было, как

шумел на ветру бело-черный сад и оттуда тянуло холодом. Но Горяева будто кипятком обдало — Наташа ушла куда-то с Кичигиным!

Он вскочил, опрокинув стул, и быстрыми, неверными шагами пошел в сад. С необъяснимой уверенностью он шел по чьим-то свежим следам на снегу, сгибаясь под ветвями деревьев. Там дальше, в малиннике, — беседка, следы вели туда.

Беседка возникла перед ним так внезапно, что он в первое мгновение сделал шаг назад, но тут же увидел обнявшихся и целующихся Наташу и Кичигина.

— Сволочи! — закричал он звериным голосом и успел увидеть, как Наташа вырвалась из объятий Кичигина, побежала в темноту, по нетронутому снегу. Словно в полусне, он вернулся на веранду, там никого не было. Он налил фужер водки и быстрыми глотками выпил, грохнул фужер об стол. Полная потеря сознания…

Очнулся утром. Он лежал в постели одетый, только галстук снят и расстегнут крахмальный воротничок. Наташи рядом не было… Страшно болела голова, и он пытался вспомнить, что же было, и то, что сквозь муть прояснялось, казалось невероятным… может быть, сном?

Из всего мутного отчетливо помнилась только беседка и там обнявшиеся Наташа и Кичигин. Неужели это было? Но не дано Горяеву узнать, что было в эту ночь и чего не было.

Тихо постанывая от непереносимой головной боли, он с трудом встал с постели и вышел на веранду. За разгромленным столом сидел один Кичигин, вид у него был расхристанный, на щеке зияла глубокая царапина. Он поднял тяжелый взгляд на Горяева:

— Подсаживайся, горемыка, опохмелись…

Горяев сел за стол напротив, взял из его рук полную рюмку и выпил ее одним махом.

— Где Наташа? — спросил он сиплым голосом.

— Еще ночью уехала с мамой на машине Сараева.

— А что же вы?

— Оставили при вас медсестрой и няней, — хрипло рассмеялся Кичигин. — Мы с Сараевым, наверно, целый час тащили вас из сада домой, а вы отбивались так, будто мы тащили вас в ад... — Он осторожно потрогал царапину на щеке.

— А я думал, это Наташа, — сказал Горяев.

— От нее я получил изустно... — Кичигин тяжело и шумно вздохнул: — Беда... как только выпью лишнего, становлюсь что твой зверь... Женщину не могу видеть спокойно.

— Это уж да... — покачал головой Горяев.

— Что «да»? — сердито насторожился Кичигин и начал застегивать рубашку, затягивать галстук. — Что вы видели? Вы же ни черта не соображали.

— Не беспокойтесь — соображал, — усмехнулся Горяев. — И у беседки я не слепой был... — Он помолчал и вдруг сказал со злостью: — И я не хочу вас видеть.

— Ну вот... ультиматум Керзона. Глупо это, Евгений Максимович. Я был пьян до безобразия... Если уж вам приспичило меня воспитывать, сказали бы вовремя, что мне пить больше нельзя, и я съел бы это, не моргнув глазом.

— Вы вели себя безобразно, — ваши пошлости за столом были непереносимы... И вообще...

— Главное, наверное, «вообще»? — иронически поинтересовался Кичигин. — Знаете что? Объясните-ка мне, как пройти к станции.

Горяев объяснил, и Кичигин ушел, оставив двери веранды открытыми.

Горяев долго сидел один неподвижно за столом, пока его не начало трясти от холода. Вдруг ему подумалось — надо же на работу! Вскочил и тут же вспомнил: воскресенье ведь! Снова ощутив дикий

холод, он вошел в дачу, но и там теплее не было. Механически надел дубленку, нахлобучил меховую шапку — надо все-таки отсюда уезжать, все ему тут было противно.

Гараж был заперт, смутно вспомнилось, что Наташа вчера специально оставила машину в Москве, боялась, что кто-то спьяну захочет покататься, и они ехали на дачу электричкой.

Горяев медленно брел к станции. Шагал тяжело, трудно дышалось. Но от холодного ветра, бившего в лицо, сознание будто пробуждалось, и в его гудевшей голове возникла мысль, что произошедшее — не что иное, как наказание ему за темные дела, связавшие его с трижды проклятым Кичигиным, который привлек его не только к своим делам, но и к его такой же темной жизни, и она, эта жизнь, становится теперь для него как бы обязательной, и со всем этим ему придется примириться, иначе… тут мысль тревожно обрывалась.

Плохо нахоженная дорога наискось пересекала широкое снежное поле, и впереди далеко-далеко по его краю торчали столбы с проводами электрички. Горяев удивленно почувствовал, как тело его наливается силой. Еще минуту назад идти было тяжело, а сейчас прекратилась одышка и он непроизвольно ускорил шаг. И мысли пошли более ясные и сильные. Не будет он мириться с кичигинской мерзостью! Больше он никогда не сядет с ним за один стол, и это освободит от близости с ним. Ну, а если думать об их совместных делах денежных… тут снова мысль тревожно затруднилась… Нет. Пусть будет так: кроме денег, больше нас не связывает ничто. Это простое решение странным образом разрешило и все переживания минувшей ночи — да, с завтрашнего дня все в его жизни пойдет по-другому. Объяснится он и с Наташей, скажет ей твердо и искренне — той ночи попросту не было, и все.

Он шагал все быстрее, не замечая, что полы незастегнутой шубы развеваются от порывов ветра, а галстук откинулся на плечо и развевался за его спиной, как флажок.

К станции подошел удачно — поезд через десять минут. Пройдя по перрону вперед, остановился у места, где будут первые вагоны поезда. Заметил, что немногочисленные пассажиры посматривают на него с улыбкой, кто-то за его спиной рассмеялся. Горяев поправил галстук, застегнул шубу и теперь сам оглянулся на пассажиров — ну что же вы больше не скалитесь. В это время он увидел милиционера — розовощекого, молоденького, — который внимательно вглядывался в него. Ну, а тебя, начальство, что не устраивает? Горяев настроился даже на веселый лад…

Он сел во второй вагон, где было не больше десятка пассажиров. Когда поезд тронулся, в вагоне появился милиционер, который сел напротив Горяева и продолжал внимательно на него смотреть.

— Я вам нравлюсь, — подмигнул ему Горяев.

Милиционер наклонился вперед, сказал негромко:

— Предъявите, гражданин, документы.

— Ах так? Вы даже пожелали со мной познакомиться? Извольте…

Но увы — никаких документов у него не оказалось, не было даже проездного билета, который он забыл купить. Милиционер терпеливо ждал, пока он шарил по карманам, а потом сказал:

— Сойдем на следующей станции, гражданин.

— Дорогой мой страж порядка, — Горяев еще продолжал держаться на веселой ноте, — я начальник отдела министерства, еду по срочному служебному делу.

— Это в воскресенье-то? — усмехнулся милиционер и добавил: — Начальники из министерства на электричках не ездят.

— Тогда кто ж я, по-вашему?

— Разберемся, гражданин, не беспокойтесь…

Бывают такие сны — над тобой свершается какая-то дикая и страшная нелепость, а ты ничего не можешь сделать, чтобы вырваться из кошмара. Так чувствовал себя сейчас Горяев.

Поезд остановился.

— Выйдемте, — сурово сказал милиционер и протянул руку. Горяев ее отпихнул, однако встал и пошел впереди милиционера.

— Руки, кажется, полагается сцепить за спиной? — оглянулся он.

— Идите, идите… — легонько подтолкнул его милиционер.

На станции было отделение милиции, помещавшееся в маленьком дощатом домике. В нос Горяеву ударила кислая вонь водочного перегара. Тусклая лампочка еле освещала небольшую дежурную комнату, а окно, очевидно от холода, было заставлено фанерным листом.

— Сядьте сюда, — милиционер показал на скамейку у стены и прошел за барьер к дежурному, и они долго о чем-то тихо разговаривали. Потом его провели в другую комнату, где усадили на стул, а за стол сел парень в штатском и сбоку — молоденький милиционер.

— Предъявите ваши документы, — попросил парень.

— У меня с собой ничего нет. Но товарищу сказано — я начальник отдела Министерства автомобильной промышленности.

Вдруг идиотский вопрос милиционера:

— Откуда у вас эта шуба?

— Как это откуда? Купил еще в прошлом году.

— Где?

— По случаю…

— Где вы были минувшей ночью? — спросил парень.

— У себя на даче, в Велихове, праздновал пятилетие свадьбы.

— Уточните, пожалуйста, что означает — купил по случаю? У кого, где? За сколько?..

Кошмарный сон продолжался…

— Может, вы считаете, что я ее украл и еще кого-нибудь при этом убил?

— Кто может подтвердить, что сегодня около полуночи вы были у себя на даче? — спросил парень.

— Минимум десять человек, — ответил Горяев и почему-то первым вспомнил Кичигина — вот кто может вырвать меня из этого кошмара! — Я могу от вас позвонить в Москву?

— Зачем? Кому?

— Моему достаточно ответственному коллеге из министерства, который был сегодня у меня в гостях.

Все-таки парень, видимо, засомневался:

— Назовите номер телефона.

Горяев назвал домашний телефон Кичигина, и парень тут же его набрал. Были слышны продолжительные гудки, но никто к телефону не подходил. Горяев подумал не без злорадства: он там сейчас дрыхнет без задних ног…

— Не отвечают, — сказал парень.

— Подождите, подождите, ради бога, — испугался Горяев. — Подойдут обязательно.

И действительно, в Москве ответили, парень торопливо передал трубку Горяеву.

— Кузьма Аверкиевич? — сорвавшимся голосом спросил Горяев.

— Кто звонит? — сердито спросил Кичигин сиплым басом.

— Горяев… Вы меня слышите?

— Что случилось?

— Я звоню из отделения милиции на станции Лихово.

— Что-что? Не понимаю.

— Я звоню из отделения милиции на станции Лихово, — раздельно и четко произнес Горяев.

— Из милиции? — переспросил Кичигин уже ясным голосом.

— Да, да, меня задержали, спрашивают, откуда у меня моя шуба и где я был сегодня в полночь и так далее... Засвидетельствуйте...

— Бред какой-то, — перебил его Кичигин. — Повторите название станции.

— Ли-хо-во, отделение милиции.

— Какой там номер телефона?

— Ради бога, этот кошмар нужно прекратить немедленно! — закричал Горяев, который подумал, что Кичигин сейчас положит трубку и тогда все останется по-прежнему.

— Успокойтесь, я сейчас позвоню одному их начальнику, и все будет в порядке, вы останетесь при своей шубе. — Кичигин там, в Москве, громко рассмеялся. — Ладно, подождите немного.

Горяев отдал трубку парню:

— Сейчас вам позвонят.

— Кто?

— Какой-то ваш начальник...

— Сколько же это мы будем ждать?

— Он сказал — скоро.

Прошло, однако, около двадцати минут, и кошмар продолжался.

— Скажите мне все-таки, почему вы меня схватили? Я же буду жаловаться! — возбужденно сказал Горяев.

— Сегодня около полуночи возле станции Фирсово ворье раздело артиста, возвращавшегося с концерта, и вдобавок избили его до потери сознания. Должны мы искать бандитов?

— Должны, — ответил Горяев. — Но разве я так похож на бандита?

Парень не ответил — отвернулся.

— Теперь бандиты одеваются, как артисты, — серьезно заметил милиционер.

Горяев подумал — а вдруг все это с шубой только спектакль и задержан он по совсем другому поводу?

— А что же я еще забрал у того артиста? — улыбаясь, спросил Горяев.

— А зачем вам это знать? — лениво спросил парень.

В это время зазвонил телефон, и он схватил трубку:

— Следователь райотдела милиции Прудников слушает. Да, да, товарищ полковник... Задержан по подозрению... Слушаюсь... Слушаюсь... Конечно, я вас знаю. Да, помню, товарищ полковник. Не затрудняйтесь, товарищ полковник, я ваш голос знаю. Слушаюсь. — Парень положил трубку, помолчал, не глядя на Горяева, и сказал тихо: — Нам приказано извиниться перед вами за произошедшее...

— А если б не было приказано? — уже со злостью спросил Горяев.

Парень не ответил, милиционер, заглянув в свою записную книжку, сказал:

— Поторопитесь, сейчас поезд.

Электричка быстро наполнялась, пассажирами и обыденность происходящего вокруг все больше успокаивала Горяева — нет-нет, никакого спектакля не было, он был задержан действительно по недоразумению.

Глава двадцать пятая

Проверка, которую Куржиямский мог провести в Москве, заняла почти два дня, но никакой ясности в отношении местонахождения Жоры Томака не наступило. Установлено, однако, что в колонии, куда он поначалу был отправлен, не пробыл и половины срока, а

затем, как нуждающийся в каком-то специальном лечении, переведен на поселение. А вот куда именно, установить не удалось. По одному косвенному документу — вроде бы куда-то ближе к Москве…

Любовцев выслушал результаты проверки с непонятным Куржиямскому удовольствием.

— Видите, как интересно все складывается! — воскликнул он, но, заметив на лице капитана недоумение, мгновенно разозлился: — Не пойму вас, Куржиямский, — то подай вам право рассматривать дело шире, а то сами смотрите сквозь щелку. Вам надо ехать в колхоз к Степовому, с двойным прицелом, это ясно как дважды два четыре. Установите там, ваш ли Жора снабжал колхоз левой техникой, и если ваш, мы бьем по двум целям — приближаемся к спекулянтам и к возможности установить, как совершается таинство досрочного освобождения преступника, за что нам министр скажет особое спасибо. Понимаете?

— А если окажется, что Жора не тот?

— Будете искать другого, — Любовцев все еще злился и говорил жестко, отрывисто: — Боитесь съездить зря? Так не бывает. На вашем месте я был бы рад хотя бы посмотреть страну. Поезжайте сегодня же…

Однако выехать удалось только на другой день утром, остаток дня Куржиямский постарался не попадаться на глаза Любовцеву, выждал, когда уже под вечер тот отправился по делам на Петровку, и поспешил домой.

Дежурный в обмен на ключ от кабинета выдал ему письмо:

— Опять вам, товарищ капитан, какой-то зек пишет.

Действительно, по обратному адресу судя, письмо было из колонии. Куржиямскому нередко писали его бывшие подследственные — вот оставлял он в их душах

что-то такое, что побуждало их однажды сесть к столу и написать письмо…

Куржиямский сунул письмо в карман — скорей домой.

Эти письма он обычно читал вместе с семьей — считал, что этим он вызывает интерес семьи к своей службе.

Куржиямский сел рядом с женой. Распечатал конверт, вынул из него письмо, написанное на обратной стороне противопожарной листовки.

«Уважаемый Всеволод Кузьмич!

Не было у меня такого желания — писать вам письмо, хотя, помните, разговор об этом у нас с вами был и вы приглашали писать. Но что, интересно, вы скажете на нижеследующее?

Не помните ли вы по нашему часовому делу такого Жору Томака? По кличке Фонарь — мы так прозвали его за то, что во время дела он стоял у фонаря возле киоска, и как раз я доставил ему туда коробки с часиками, исключительно дамскими и частично золочеными. Чтоб я больше не жил — это одна чистая правда, А в чем же неправда и на что я смею жаловаться? Читайте дальше.

1. Жора Томак вошел в наше дело слева и был нам дан как гиря на шею. Кто нам его дал и почему я его взял, рассказывать не буду. Когда мне в школе выдавали аттестат перезрелости, отмечалось, что у меня сильно развито чувство долга, и это так уж и есть на самом деле. Но не в этом дело, а в том, что правды на земле нет, хотя вы и силились доказать мне обратное.

2. Вернемся к Жоре Томаку. Я, конечно, понимал, что его суют в мое дело под грим — это когда надо быка загримировать под козла.

Где-то он горел по-серьезному, на больший срок, и его спрятали на маленький срок по нашему делу. Во всяком случае, могу вас заверить, что человек, который сунул Жору к нам, по мелким делам у вас проходить не будет.

Итак, привесили Жоре четыре годика. А мне, если не забыли, с учетом моего заслуженного прошлого, дали в два раза больше — восемь то есть. И я отсиживаю их по звонкам. А Жора Томак уже давно на воле. Сперва он сачковал в колонии при канцелярии, а потом отбыл в неизвестном направлении. А третьего дня получил я письмо от дружка верного, как штык, и который трепаться не умеет, что Жора уже гуляет на свободе и проворачивает дела, по сравнению с которыми наше часовое дело игра в бирюльки.

3. Поскольку вылез Жора из колонии в явное нарушение закона, он, таким образом, положил на вашу законность, которую вы без устали мне внушали во время следствия. О чем и спешу вас уведомить. Но поскольку на суде открылось, что он еще и нас заложил, я, чтобы облегчить вам свидание с Жорой, хочу предупредить, что сейчас Жора Томак зовется как-нибудь иначе, он загодя имел паспорт для дальнейшей жизни. Вот, Всеволод Кузьмич, как плюют на ваши святые законы.

С полным к вам уважением

Иван Нестеренко».

— Ну и дал же он тебе по носу, — обрадованно смеялась жена. — Болтают, болтают: соцзаконность,

соцзаконность, а на деле — кто как хочет, так и воротит. Чего же стоят все твои ночные бдения? Ты погляди на себя. На кого ты стал похож? Одни глаза на лице, и те как у голодного волка.

— Ленуся, погоди, дай подумать. Собери лучше чемоданчик…

Утром, вручая ему чемоданчик, Лена сказала печально:

— Ну что ж, езжай, езжай…

— Ленуська, не нужно… — Он обнял ее за плечи, прижал к себе. — Мы же любим друг друга, несмотря ни на что… ведь так?

— Так… — прошептала она и при этом с такой невыносимой бабьей тоской смотрела ему в глаза, что он всю поездку помнил эти глаза и сколько мог торопился назад, домой…

Глава двадцать шестая

Горяев подъехал к министерству с двухчасовым опозданием. Заехав в тупичок, где был вход в министерство, он поставил машину, как полагалось, радиатором к окнам министерства — разбитый зад машины лез всем в глаза…

Семеняк ничего у него не спросил, только глянул на него — не последует ли кивка идти за ним в кабинет? Кивка не было.

В кабинете звонил телефон. Горяев не поторопился к нему, разделся, причесался перед зеркалом в шкафу и только тогда взял трубку внутреннего телефона.

— Что случилось? Или некому было тебя разбудить и ты проспал? — звонила Наташа.

— Мне разбили машину… на том проклятом выезде на бетонку.

— Но я же видела, как ты сейчас на ней подъехал к министерству.

— Ты бы лучше спросила, не пострадал ли я сам?

— Надеюсь — нет?

— Только переживания…

— Слава богу… постучи по дереву. Ночуй сегодня дома.

По переговорной соединился с Семеняком:

— Что-нибудь особо срочное есть?

— Вроде нет, Евгений Максимович.

— Давайте фотографию…

«Фотографией» дня у них называлась придуманная Горяевым ведомость в квадратный метр, в которой были названы все основные предприятия отрасли и в нескольких графах отражалась их работа вчера и сегодня. Обычно к часу дня Горяев сдавал «фотографию» Сараеву.

Пришел Семеняк, расстелил на столе «фотографию», сказал:

— Ничего тревожного нет. Разве вот у гурьевцев снова увеличился излишек двигателей.

— Дай бог такие тревоги по всем заводам, — сказал Горяев и попросил дать ему папку с оперативной перепиской.

Больше всего он не любил разбираться в этих бумагах, в каждой непременно была какая-нибудь просьба, а так как его отдел собственными возможностями не обладал, по каждому самому маленькому вопросу нужно было знать, куда стучаться. Семеняк сильно облегчал ему эту работу, на каждой бумажке он карандашиком как бы подсказывал, что следовало бы сделать. Горяев не раз дивился изворотливости ума своего помощника.

В этот день Горяев заметил, что его помощник чем-то взволнован и даже нервно возбужден. Только хотел

спросить его об этом, как вдруг Семеняк протягивает ему бумажку:

— Вы не помните это, Евгений Максимович?

Горяев только мимолетно глянул и все вспомнил — это была копия служебного письма за его подписью Ростовцеву о выделении по указанию Сараева райвоенкомату запасных частей и узлов для «Волги» за счет остатков от экспорта. Он подготовил письмо по просьбе Сараева, переданной ему Кичигиным, речь, помнится, шла об освобождении племянника Сараева от призыва в армию. Дело это давнее, призыв давно миновал, и все это забыто. Почему же вдруг Семеняк вытащил это из-под спуда?

— Конечно, помню. А в чем дело? — Горяев не смог скрыть настороженности.

— Я тут разбирался в прошлых делах, сдавал, что надо, в архив и напоролся на эту бумажку… — как-то заученно проговорил Семеняк. — И вот не знаю, в архив это можно сдавать?

— А почему нет?

— Это полагалось бы сдать в архив вместе с ответом товарища Ростовцева об исполнении или неисполнении… — уже не так уверенно говорил Семеняк и не сводил с начальника напряженно-внимательных глаз, чего Горяев не замечал, так как сам чувствовал себя не очень-то ладно.

— Насколько мне известно… — Горяев прищурился, сделал вид, будто напряженно вспоминает давнее, стершееся в памяти. — Да, да… все по этой бумажке давно сделано, и ее можно сдавать в архив.

— Тогда, может быть, вы, Евгений Максимович, напишете вот тут сбоку: «В архив» — и делу конец.

Горяев хотел было отказаться, но вовремя сообразил, что делать этого нельзя, и вынул из кармана ручку:

— Где надо писать? Тут? Пожалуйста. В архив... — Горяев подписался. — Пожалуйста, и, ради бога, успокойтесь...

— Да как же мне не беспокоиться, — взяв бумажку, сказал Семеняк. — Во-первых, за порядок в канцелярии отвечаю все-таки я, и в случае чего за шкирку возьмут меня. Во-вторых, Евгений Максимович... можно начистоту? Вы помните, эту бумажку готовил я... так я еще тогда подумал, зачем нам надо так, напрямую, делать что-то военкомату? Если услуга за услугу, то какая от него услуга? Чаще всего — нарушение священного закона о военной службе. Разве не так, Евгений Максимович? Любой так подумает. Говорю вам прямо, ибо помню, что подготовить эту бумажку указание вам было от Сараева. Помните, я еще тогда приходил к вам, спрашивал, почему Ростовцев должен выполнять просьбу диспетчерского отдела? А вы еще сказали мне, что просить — это право всех, мы еще посмеялись с вами над этим правом трудящихся...

Горяев слушал все это с похолодевшей душой — конечно же Семеняк с его дотошностью допер до того, что бумажка эта была противозаконной. Но как теперь увести Семеняка от этой темы, заставить его о ней забыть?

Ему помог сам Семеняк: сказав «в архив так в архив», он не стал ждать от Горяева никаких разъяснений и ушел. Горяев подумал, что впредь он не будет поручать ему готовить бумаги такого рода. Все надо делать самому.

Дверь в его кабинет приоткрылась, и Горяев увидел сараевского шофера.

— Можно?

— Прошу, прошу. Что у вас?

— Товарищ Сараев велел мне взять у вас ключ от вашей «Волги», чтобы я перегнал ее на одну

спецавтобазу, там ее быстро и хорошо отремонтируют, он уже договорился…

— Как же это он все решил без меня? — удивился Горяев.

— Они вместе с Кичигиным решили, — улыбнулся шофер. — Кичигин увидел вашу побитую машину, показал из окна Сараеву, а у того приятель — директор спецавтобазы, они в момент и договорились. Так что давайте ключи, там уже ждут…

Горяев отдал ключи, а потом увидел в окно, как его машину погнали на базу.

А в общем все шло к лучшему: вот, свалился с души и этот камень — Горяев представить даже не мог, с какого конца подступать к ремонту машины.

Дверь распахнулась, и в кабинет энергично вошел Кичигин.

— Где ваш гениальный помощник? — спросил он, не здороваясь и опускаясь в кресло.

— А в чем дело? — сухо спросил Горяев.

— Я все ждал, что вы мне позвоните, — нахально глядя в глаза Горяеву, сказал Кичигин.

— Разве я обещал? — шутейно встревожился Горяев. — Или дело какое запамятовал?

— Евгений Максимович, не стройте из себя клоуна, — тихо сказал Кичигин, пружинно вскочил с кресла и подошел к дверям: — Можно запереть, чтоб никто не лез?

— Ключ с той стороны, — усмехнулся Горяев.

Кичигин махнул рукой и вернулся в кресло.

— Могу я просить вас, Евгений Максимович, сделать кое-что для нашего общего дела?

Горяев молчал.

— Ответьте, пожалуйста, подпирает время…

— Что именно? — через силу спросил Горяев и подумал о том, что завалить общее их дело он не имеет права.

— Сейчас к нашему министерству подъедет на такси один товарищ из Молдавии, он будет ждать у лицевой стороны памятника, для порядка спросите, кого он ждет, он скажет, что ждет меня, вы скажете, что я прислал вас вместо себя, и прибавите, что в отношении задних мостов к «ЗИЛам» все исправлено. Это надо сделать сейчас же, он, наверно, уже там.

Человек из Молдавии стоял перед памятником, разглядывая его.

— Вы, товарищ, кого ждете? — негромко спросил Горяев.

— А вам-то что? — резко обернулся человек.

— Если Кичигина, то он послал меня вместо себя, он очень занят.

— Другой коленкор... — улыбнулся человек и, приподняв колено, положил на него портфель и стал открывать застежки.

— Кичигин просил передать, что в отношении зиловских задних мостов все исправлено.

— Вот это спасибочко! Большое спасибочко! — повторял он и все никак не мог открыть вторую застежку на портфеле. Рванул ее с силой, открыл, вынул из портфеля конверт, обклеенный ленточкой-липучкой, и сунул его Горяеву: — Большое спасибочко!

Горяев поднялся к себе и позвонил Кичигину:

— Вам от него пакет.

— Возьмите себе. Это долг Сараева. Забыли? — Кичигин положил трубку.

Такой долг действительно был, и Горяев почувствовал себя не очень ладно. Пачка, однако, была довольно толстой, и он засунул ее в карман. На том все его переживания и кончились...

Глава двадцать седьмая

Уже не меньше часа Куржиямский трясся в разбитом «рафике» по степной дороге. Бежавший впереди беспокойный свет автомобильных фар то и дело опасно вспыхивал на обледенелой дороге. Несколько раз автобус, не подчиняясь управлению, норовил соскользнуть с дороги, и шофер, матерясь, с трудом его укрощал, а потом курил жадными глотками.

Слава богу, возле станции случайно оказался этот драндулет, который везет его теперь почти до самого колхоза «Вперед», где председателем Василий Михайлович Степовой.

Узнав, что подобранный им пассажир едет туда, шофер спросил:

— Наниматься?

— Почему обязательно наниматься? По делу.

— К нему отовсюду едут, условия дает хорошие.

— А в других колхозах таких условий нет?

Так вдруг завязался разговор о человеке, к которому ехал Куржиямский. На его вопрос шофер долго не отвечал, да и автобус снова взыграл…

— Вот вы про условия спросили, — заговорил наконец шофер. — Действительно, вроде загадки получается: рядом два колхоза, а из одного специалисты бегут в другой. Даже из других мест рвутся в тот другой. Я у Степового год работал, шоферил на трехтонке. Он поймал меня на «леваке» и тут же попросил написать заявление «по собственному желанию». Так что, с другой стороны, он никакого рая для своих людей не устраивает.

— А сам он не левачит? — осторожно спросил Куржиямский.

— Сам? — шофер рассмеялся, но в это время его «рафик» снова заскользил боком, и он еле удержал его на дороге. Раскурив сигарету, сказал убежденно: — Левачит он сам. Левачит. Но не под себя лично. Понимаете?.. — Шофер тронул машину с места и

осторожно повел вперед. — У него, скажу я вам, когда надо что сделать для колхоза, поперек не становись. Однажды он взялся привести в порядок свои побитые дороги и мосты. А дорожники заартачились, они тогда стелили дорогу к санаторию химиков, а те им давали весь необходимый материал, и вообще дело это дорожникам было выгодно. Так Степовой такой фокус проделал, что дорожники враз перекинулись к нему и дороги отладили как надо. Он такой, этот Степовой…

— А что же он тут слевачил? — поинтересовался Куржиямский.

— Степовой перво-наперво добился, чтобы дорогу к санаторию вели через его территорию, получалось всего на пару километров длиннее. А колхоз, таким образом, получал дорогу. Для химиков та часть материала, что ушла на удлинение, — потеря небольшая, да и дорожники экономию развернули. А у Степового были средства на материал для ремонта дорог, так эти средства пошли дорожникам. И всем хорошо, и все… для общего дела, — шофер опять рассмеялся. — Такой вот он, Степовой. Кто для его колхоза пользу делает, того он никогда не обидит…

Шофер замолчал. Куржиямский смотрел в белесую мглу впереди машины — ветер гнал через дорогу крупные полосы снега, того и гляди метель запляшет.

Когда шофер высадил Куржиямского у развилки дорог, снежная поземка хлестнула ему в ноги, сильный злой ветер задрал полы пальто и потащил: он хотел резко, всем телом развернуться против ветра, но земля ушла из-под ног, и он растянулся поперек ледяной дороги. Будь все неладно!

Указатель на развилке сообщал, что до колхоза «Вперед» шесть с половиной километров. За час не уложишься — огорчился Куржиямский. Ветер рвал наискось дороги, идти приходилось боком и все время придерживать рукой полы пальто. Противно ныло

ушибленное колено. Где-то далеко-далеко горел в чьем-то окне огонек, напоминавший о домашнем тепле. Степь стала темно-синяя. Куржиямский прибавил шагу и, стараясь отвлечься от злого ветра и холода, стал думать о деле. Если Степовой опознает Жору, об этой проклятой дороге можно будет сразу забыть.

Куржиямский взошел на пригорок, и перед ним открылась редкая в этих степных просторах низина, до краев наполненная яркими огнями, будто сюда спрятались все звезды с неба, ставшего от этого густо-черным.

Это и был поселок колхоза «Вперед». И это была сама жизнь — теплая, беспокойная, которой служил Куржиямский, которую любил и которой он ежедневно помогал освобождаться от скверны. Не было у него ничего дороже этой жизни, ибо в нее входила и его собственная жизнь, и жизнь Лены с Димкой, и его нелегкая, очень нужная людям служба, заставляющая его сейчас идти по степной обледенелой дороге…

Чуть не бегом спустившись в низину, Куржиямский вскоре уже поднимался на крыльцо дома из белого кирпича, над которым клубилось, вокруг яркой лампочки, красное полотнище.

Правление колхоза.

Василий Михайлович Степовой сидел перед телевизором и смотрел хоккей, который он абсолютно не понимал, но любил за стремительность и безоглядный азарт. Он не слышал, как вошел Куржиямский, и вздрогнул от его вопроса:

— Кто с кем играет?

— А лихо их знает кто, — ответил Степовой, вглядываясь в пришельца. — А ты откуда взялся?

Когда Степовой узнал, кто и зачем к нему пожаловал, он рывком погасил телевизор, встал перед Куржиямским лицо в лицо и глаза его загорелись недобрым огнем.

— Надоели вы мне, как клопы в районной гостинице! — зарычал он. — Что вы лепите бабу из прошлогоднего снега? Дела больше у вас нет? Да те движки давно сносились в работе, а вы все еще по ним музыку играете! Что вам от меня надо? В тюрьму хотите отправить? Да? — Он смотрел на Куржиямского своими серыми бешеными глазами.

Невозмутимо переждав, пока он все выговорил, Куржиямский не спеша вынул из портфеля завернутую в бумагу пачку фотографий, аккуратно снял обертку и разложил фотопортреты на председательском столе. На одной из фотографий был Жора.

— У меня к вам сперва дело такое, — сказал Куржиямский и, показав на стол, спросил: — С кем из этих вы знакомы?

Степовой нехотя сделал шаг к столу, летуче глянул на фотографии и обернулся к Куржиямскому, удивленный:

— Гляди, нашли-таки! Ну доки! Вот он! Он, грибастенький, кто ж еще может иметь такое хлебало? — Степовой взял со стола фотографию Жоры и будто любовался им, но Куржиямский видел, что председатель нервничает.

— Кем он вам тогда представился? — спросил Куржиямский осевшим голосом, он тоже заволновался.

— Точно и не помню, — пробормотал Степовой. — Вроде какое небольшое начальство, теперь же что ни портфель, то начальник — звание всех разве упомнишь? Но у него большие связи в самом министерстве.

— Давайте, Василий Михайлович, составим протокол опознания.

— Погоди, успеешь, — раздраженно возразил Степовой. — Сейчас пойдем ко мне домой откушать. Поди, промерз?

— Когда идешь пешим ходом, не холодно.

— Откуда же ты шагал-то? — вроде бы испугался Степовой.

— От развилки.

— Тоже не мало... и ветрило же. — Степовой внимательно посмотрел на Куржиямского и почему-то вздохнул: — Ладно, пошли...

Куржиямскому есть очень хотелось и любопытно было посмотреть, как живет этот нахрапистый председатель.

Дом его оказался рядом с правлением и был точно такой же — из белого кирпича, только флаг над ним не развевался и свет в окнах не горел.

Внутри дома только чуть потеплее, чем на улице.

— Ничего, сейчас включу все электроплитки, вмиг обогреется, — гудел Степовой, зажигая свет. — Меню будет не очень, я-то мужик-одиночка, ко мне два раза в неделю приходит бабка — уборку делает и еду на три дня варит. Сегодня как раз свежие щи, только вчера сварены...

Из обстановки в доме только самое необходимое. Пока щи разогревались на плитке, Степовой поставил на стол бутыль:

— В точном понятии — самогон, а гляди, чистота какая. Делаем эту красоту в силу необходимости, если ставить на стол коньяк или даже водку — колхозу будет полное разорение. Знаешь, сколько гостей принять надо? Миллион! Вот только за сегодняшний день двоих угощал в столовой и ты у меня второй — дома. И все пьющие. А ревизор из КРУ, так тот просто грандиозно пьющий — две бутылки вылакал.

— Спаиваете начальство? — усмехнулся Куржиямский, не ожидая, что это вызовет ярость председателя.

— Я, что ли, придумал такое хлебосольство? Я? Да не угости я этого из КРУ, знаете, что было бы? В колхозе всегда найдется гвоздик, за который ревизор может

зацепиться. А тогда пошло-поехало, выговор из области в два счета схлопочешь. А зачем он мне, этот выговор? У меня их вон сколько! Два года тому назад я выступил об этом на сессии областного исполкома. Предлагал одно из двух — либо дать колхозам на это специальную расходную статью, либо покончить с этим раз и навеки.

— Ну, и что решила сессия?

— Решила? Похохотали над моей речью досыта и разошлись.

— Ну ничего, я вам дорого не обойдусь, я вообще не пью, — улыбнулся Куржиямский. — Вся потеря — тарелка щей…

— Страхуешься? — усмехнулся Степовой и налил себе полную кружку самогона, выпил ее под кусочек хлеба, налил другую, но отодвинул и занялся разливкой щей.

Щи были такие кислые, что за ушами пищало, — Куржиямский таких щей еще ни разу не пробовал, — не заметил, как вычерпал тарелку и попросил добавки.

— Ешь сколько влезет и наливай сам… — угрюмо обронил Степовой и снова взялся за кружку. Отпил и сказал усмешливо: — А за самогон можешь заводить дело. Варит его, правда, мой шофер, но аппаратура и сырье — мои. Так в протоколе и пиши, — Степовой рассмеялся нервно, неестественно.

Куржиямский внимательно на него посматривал — мужик, видать, неплохой, но с заворотами.

На второе было по хорошему шмату жирной свинины из щей. Степовой допил кружку и сразу помрачнел. Они долго молча ели.

— Так что же получается? Из-за этого грибастенького ты пер через всю страну сюда ко мне? — вдруг спросил Степовой.

— Из-за него, окаянного, — подтвердил Куржиямский. — Такая уж у нас работенка — за жульем гоняться.

— Сколько же вам государство за такую работенку отваливает?

— С выслугой… двести выходит, — почему-то затруднился Куржиямский.

— Не густо… — покачал головой Степовой и вдруг сказал: — Иди работать ко мне в колхоз. Честно говорю, голову кладу, не сходя с места пишу приказ — моим замом по всему колхозному имуществу, чтоб твой пригляд был. И кладу тебе гарантийно — триста! Слышишь?

Куржиямский кивнул, что слышит, но на вопрос не ответил, даже не вдавался в смысл того, что сказал Степовой.

— Так идешь ко мне? — печально спросил Степовой. — У тебя семья есть? Дом тебе построю. В мае новоселье справишь в новом доме, кирпичном… участок… все чин по чину. А природа у нас — ты не гляди, что степь, — зеленый океан! Честное слово! Пшеничные моря из золота литого, ветер его как качнет — золото колышется волнами, будто расплавленное. Ой, не говори и не спрашивай, как я люблю эту землю… — он даже всхлипнул, и Куржиямский невольно глянул на бутыль с самогоном — да нет, вроде выпил он не так уж много, а что-то расплавился?

— А зачем вам понадобился именно я? — спросил Куржиямский, чтобы хоть как-то поддержать разговор.

— Зачем? Зачем? — проворчал Степовой. — Чтоб спокойно спать и знать, что за колхозным имуществом есть железный пригляд по всем статьям закона.

— Любого честного человека посадите на это дело и чтобы он добросовестно выполнял свои обязанности — спичка колхозная не пропадет, — убежденно проговорил Куржиямский. — Что у вас в колхозе, честных никого нет?

— Почему? — точно проснулся Степовой, выпрямился всем своим могучим телом, так что

крякнула спинка стула, тряхнул упрямо головой: — Чтоб ты знал наперед, — в колхозе честных более, чем где еще, и вот у нас, друг ты мой, жизнь — точно по Карлу Марксу: не работаешь, так тебе и жрать нечего, а хорошо работаешь, так у тебя и нос в табаке. Но нету в колхозе вот таких... — Степовой щелкал пальцами, глядя на гостя. — Таких вот, как ты, железных... и чтобы против лютого ветра пешком идти ради того хлебалы.

— Я не ради него шел, — начал Куржиямский, но Степовой перебил его:

— Знаю, ради чего, знаю... — Он провел по лицу ладонью сверху вниз, будто маску снял, судорожно вздохнул и сказал угрюмо: — А теперь слушай мое признание — я твоих товарищей, что приезжали сюда, обманывал. Говорил им неправду. Стыдно мне было правды... Да, стыдно, что влез я в это говно обеими ногами. Думал — время все спишет... Так вот... Не ко мне сюда жулики приезжали, а я к ним в Москву с деньгами сам ездил. Жулики те сидят в Министерстве автомобильной промышленности. Вот этого грибастого фамилия Гонтарь. Другого — Сандалов, но его фото у тебя нет. Третьего по фамилии не знаю. Вот теперь давай пиши протокол. А хочешь, сам подробно все изложу...

Куржиямский, как положено, оформил показания Степового, разъяснил ему, что есть все основания привлечь его к уголовной ответственности, но пока он привлекается к следствию как свидетель.

Степовой подписал протокол и сказал тихо:

— Ей-богу, полегчало... Ей-богу...

К полуночи, порядком охмелев, Степовой хватал Куржиямского за руки, умолял слезно:

— Думаешь, я не знал, что против закона действовал? Знал... Знал. Арестуй меня, сердцем прошу... Арестуй, а не то я сам пойду сейчас в район и

сяду в каталажку... — И тут же слезы у него высыхали от злости. — Ведь на чем, паразиты, наживаются? На том, что в стране нашей трудности всякие еще есть, машин, к примеру, мало. Так за это ж вешать надо! На площади! Под барабан! Как — я видел — в Краснодаре фашистов вешали! — И вдруг сникал, ронял голову и бормотал сдавленно: — Но я-то, я-то, пулеметчик ее величества пехоты, колхозный вожак и по совместительству уголовник... — И крупное тело его сотрясалось от рыданий.

Совершенно трезвый Куржиямский смотрел на него со смешанным чувством жалости и раздражения.

Назавтра Куржиямский вместе со Степовым выехали в Москву.

В дороге они обедали в вагоне-ресторане. Степовой глядел в окно, за которым медленно каруселило заснеженное пространство, и вдруг сказал:

— Как все чисто глядится, когда все выбелено, что твое полотно... — В это время пролетел мимо железнодорожный переезд, перед шлагбаумом стоял грузовик, кузов которого был закрыт брезентом. — А на том грузовичке, может статься, ворованное везут... — Он повернулся к Куржиямскому, и, тяжело вздохнув, сказал: — Это ж такая досада, такая досада — народ трудится, вкалывает, об отчизне беспокоится и сам хочет жить по чести, а тут объявляются эти жирные клопы, вши тифозные... Нет, я бы у вас работать не смог, дров наломал бы сразу.

— А мы вас к себе и не взяли бы, — сказал Куржиямский. — Вы же своими руками отдавали жулью колхозные деньги.

Степовой надолго умолк, все же обиделся. И только когда стали расплачиваться, сказал:

— Я вижу, тебя надо всякий раз прихватывать с собой в дорогу — рестораторы словно чувствуют, откуда ты, и кормят на совесть, а то раз я попал... —

Степовой внезапно умолк, вспомнил, что это было как раз тогда, когда он жулика, вот так же как и Куржиямского, звал на работу в колхоз. Ему стало неловко, и он боязливо глянул на Куржиямского, будто тот мог подслушать его воспоминание.

Глава двадцать восьмая

В Москве сразу взялись за дело — Куржиямский вместе с Зарапиным отправились в Министерство автомобильной промышленности. Сдав пальто в гардероб, они поднялись на нужный им этаж, следуя очень точному описанию Степового. Тот кабинет отыскали сразу; согласно карточке на двери, он принадлежал Семеняку, который, судя по всему, один там и восседал. И видимо, он был очень нужен многим — к нему то и дело заходили люди.

Вернувшись к себе, они проштудировали справочник министерства — ни Гонтаря, ни Сандалова там не было. Но в нем, оказывается, были далеко не все сотрудники. Установили только, кто такой Семеняк, но он ли был тогда третьим?

— Да вы покажите мне этого третьего хотя бы издали, я же его сразу узнаю, — горячился Степовой.

Спустя час ему показали фото, и он твердо произнес:

— Этот.

— Он был активным участником сделки? — спросил Куржиямский. — Может, те двое только воспользовались его кабинетом?

— У меня впечатление, что он-то и есть главный... Во всяком случае, наряд-распоряжение я получил из его рук.

...В кабинете Любовцева собрались Куржиямский, Зарапин и секретарь Лидочка, у подполковника (он

получил это звание накануне) был такой порядок — оперативные совещания обязательно фиксировались в подробном протоколе, который искусно вела Лидочка. «Чтоб меньше говорили глупостей», — объяснял он совершенно серьезно. Да и впрямь, два раза подумаешь, прежде чем скажешь, когда видишь Лидочку с занесенным над бумагой «шариком»…

Куржиямский сделал краткое сообщение о ходе дела.

— Что предлагаете дальше? — сразу спросил Любовцев, у него была эта манера: когда начинал влезать в операцию, он делал это стремительно, остро и очень не любил в это время лишней болтовни.

— А что, если Степовой пойдет к Семеняку и спросит у него, нельзя ли повторить ту операцию, он, мол, опять горит с запчастями, — предложил Зарапин.

— Провокациями не занимаемся, — отрезал Любовцев и повернулся к Куржиямскому: — Где все-таки базируются те двое: Гонтарь и как его…

— Сандалов, — подсказал Куржиямский. — Как где? В Москве, очевидно. И тот и другой сами говорили это Степовому.

— Установили, где они прописаны?

— Нет.

Любовцев сердито посмотрел на секретаршу, в это время прекратившую запись.

— Пишите, пожалуйста, все — они адреса проспали… Значит, сегодня же установить их московские адреса. Сегодня же! Нужны не только их адреса, но и хотя бы краткие данные о них самих — участковые инспектора знают все.

И тут Любовцев снова всем дал урок службы. Бросив на стол карандаш, он оглядел по очереди всех своих сотрудников, при этом в глазах у него сам бес прыгал.

— Ну, господа сыщики, имею к вам вопрос: из тех людей, что теперь возникли перед нами, ничья фамилия

вас особо не царапает? А? Ну, капитан Куржиямский, как ваша оперативная память?

Куржиямский повторил про себя все за последнее время всплывшие фамилии и только пожал плечами.

— А какой голубоглазый красавчик пытался у нас работать? Он еще ездил на синеньком «жигуленочке»? А?

— Семеняк! — в один голос выкрикнули Куржиямский и Зарапин.

— Смотри, кой-какая память еще есть, только надо ее раскачивать, как дизель на морозе... — Любовцев снова оглядел всех по очереди, улыбнулся: — Я сам только минуту назад допер. И то, что этот самый Семеняк, не сомневаюсь, он же мне сам говорил, что идет в автомобильное министерство. Недалеко от нас ушел, всего за два квартала. Если я скажу вам, что я тогда еще разгадал жульническую душу Семеняка, вы, конечно, будете смеяться, но вы же не знали, как он перекрасил своего «жигуленка» на третьей автобазе, расплатившись одним ласковым взором своих голубых глаз. А мне потом с этой автобазы звонили... Помните, у него вот такие большие голубые глаза? Да... Жулье толпится на узкой дорожке, — сверкнув веселыми глазами, Любовцев встал: — Идите работайте! Мух не ловите!

Куржиямский с Зарапиным пришли в свой кабинет. Постояли друг перед другом. Куржиямский сказал:

— Все-таки наш Любовцев голова. Что скажешь?

— Подполковника зря не дали бы, — согласился Зарапин.

К вечеру на столе у Любовцева лежали адреса Гонтаря и Сандалова и краткие справки о них, из которых важным было только то, что оба они были холостяками и что последнее время в Москве не проживают, находятся в длительных командировках и приезжают домой только на день, на два... Тут же

лежало уголовное дело Жоры Томака, добытое Куржиямским из архива суда, а в него он вложил письмо ему из лагеря главного обвиняемого по этому же делу — Ивана Нестеренко.

Когда Куржиямский и Зарапин вечером попозже зашли в кабинет подполковника, он встретил их вполне дружелюбно.

— Вижу, что поработали, — сказал он и сразу спросил уже с ехидством: — Но почему не вижу справки, судился ли Сандалов?

— Дело Жоры Томака я сам вел и потому знал, где его искать, — ответил Куржиямский. — По Сандалову сделан запрос, обещали дать ответ завтра или послезавтра.

— Старайтесь обходиться без «или», — пробурчал Любовцев. — Лучше сказать: обещали послезавтра. Но вот что: я обзвонил всех своих коллег по столице, и начальник ОБХСС Ленинградского района уверяет меня, что Сандалов проходил у него по делу какого-то жилищного кооператива, который весь состоял из одних взяточников, а взятки брал Сандалов. Так найти вам будет легче, товарищ капитан.

— Я бы не откладывая пригласил Семеняка на первый разговор, — предложил Зарапин.

— Нет, — резко мотнул головой Любовцев. — Сначала надо найти в делах министерства копию той бумаги за подписью замминистра, которую он готовил. Тогда можно будет поставить перед ним вопрос напрямую — что это такое — и объяснить ему соответствующую статью Уголовного кодекса.

Глава двадцать девятая

Семеняк по-прежнему оставлял свои «Жигули» на улице Жданова напротив Архитектурного института и

оттуда шел на работу. Тротуары заполняла толпа спешащих — служилый люд, как всегда, еле-еле поспевал к месту своей работы. Поток нес с собой и Семеняка, и это его раздражало, он как бы лишался в эти минуты самостоятельности, своего «я». На Кузнецком мосту он, чтобы вырваться из толпы, шагнул к двери «Гастронома» и стал там — был яркий зимний день, синий в тени снежный вал у тротуара казался берегом, вдоль которого текла черная людская река, и теперь она не тащила его. И вдруг напротив, возле входа в бюро пропусков КГБ, он увидел председателя колхоза Степового. Он даже дыхание остановил — чего это он тут? И поскорей нырнул в людской поток, теперь он в нем спасался…

Семеняк, конечно, не забывал Степового, и всякий раз память воскрешала его злые презрительные глаза, когда он, сунув им деньги, уходил и швырнул им: «Шустрые ребятки, далеко пойдете…» Еще чаще он стал его вспоминать, когда сообразил, что его непосредственный начальник Горяев занимается тем же промыслом, каким ему довелось однажды заняться вместе с Гонтарем и Сандаловым. И он уже задумывался, как ему поступить — то ли выдвинуться на костях разоблаченного шефа, то ли самому подключиться к его денежному делу?

Но сейчас ему стало страшно — и за давнее свое, и за более позднее, к чему он даже не имел прямого отношения. И он решил не медля, насколько возможно, обезопасить себя.

После работы он заперся в своем кабинете и по памяти, по заметкам на календаре восстановил все случаи, когда он или сам послушно, по указанию Горяева, готовил незаконные бумаги, или просто обнаруживал их, изготовленные другими, но молчал. Все это он выписал на двух страничках в своем блокноте. И все время держал в уме, что может всплыть

и его проделка со Степовым. Наверняка всплывет! Может, Степовой специально для этого в Москве? У него спросят — кто его сообщники? А он-то о них толком ничего не знает. Сандалова он вообще в глаза не видел. С Гонтарем встречался не раз, а что он о нем знает? Всего ничего... — Последний раз он виделся с ним в начале зимы. Тот пригласил его в «Арагви» и за вкусным обедом рассказал, что работает теперь в Донбассе. Засмеялся своим лягушиным ртом: «Не боись, я там не уголь рубаю, на природе пасусь, дышу полной грудью степным воздухом...» А под конец обеда вдруг попросил достать ему министерских бланков, пообещав заплатить по десятке за штуку.

— Сидеть вместе с тобой в тюрьме мне не улыбается, — категорически отказался Семеняк.

На том они и разошлись в разные стороны.

«А может, это как раз и хорошо, что я их толком не знаю?» — подумал Семеняк. Так или иначе, от принятого решения он не откажется.

На другой день в час обеденного перерыва Семеняк отправился в Прокуратуру РСФСР, которая была, кстати, поблизости...

Капитан Куржиямский вместе с Зарапиным в этот час обедали в столовой, находившейся напротив их райотдела. Здесь питались многие их сослуживцы. Столовой заведовал пожилой дядька, инвалид войны — у него не было одной руки. Он сам шутил, что начальство, зная, какое опасное соседство у столовой, специально подобрало сюда его с одной рукой, чтобы поменьше все-таки хапал. Столовую эту любили не только служилый народ из учреждений поблизости, но и окрестные жители. Почему-то здесь никогда не бывало толкотни, не забредали сюда пьяницы со своей подстольной водкой, было чисто и по-домашнему уютно, а главное — кормили вкусно и сытно при весьма

скромной цене. Однажды Куржиямский спросил у заведующего, как ему удается все это, и тот вполне серьезно ответил:

— Для этого я всегда только честно выполняю свои обязанности и не позволяю шалостей другим.

Ответ этот Куржиямский вовсе не принял как шутку, знал — это была чистая правда.

Сегодня Куржиямский и Зарапин обедали несколько раньше, чем обычно, в столовой было пустовато, и заведующий подсел за их столик:

— Как рассольник?

— Очень вкусно… Аромат какой-то особый.

Заведующий рассмеялся:

— Этот аромат мог стоить мне неприятностей, если бы я, попросив повара купить на рынке разной зелени, не дал ему на это свои два рубля. А за счет столовой такую покупку сделать нельзя, и, по-моему, это безобразие. Почему так? Где воруют тысячами, мы часто хлопаем ушами, поскольку все бумажки на месте и красиво подшиты, а где нужна копейка, чтобы людям сделать приятное, становимся на дыбы — нет, и никаких гвоздей.

Куржиямский и Зарапин промолчали — заведующий был прав, но ругать вместе с ним установленный порядок им не хотелось, они только, уходя, крепко пожали его единственную руку. И как раз в этот момент откуда-то из глубины столовой послышался женский голос:

— Товарища Куржиямского просят к телефону.

Звонил Любовцев, и голос его добра не сулил:

— Приятного аппетита. Семеняк сейчас находится в Прокуратуре Российской Федерации. Немедленно — туда. Он ждет приема на втором этаже, комната двадцать девять. Проскуряков. Все. И это вы должны были мне докладывать, а не наоборот… — Трубка

положена, Куржиямскому показалось, что положена с грохотом.

Спустя пятнадцать минут Куржиямский на втором этаже Прокуратуры РСФСР прошел мимо сидящего в коридоре Семеняка.

В двадцать девятой комнате его ждал младший советник юстиции Проскуряков — худенький, моложавый, совсем юноша.

— Я боялся, что он удерет, — сказал Проскуряков. — Два раза дверь открывал, у меня, говорит, на работе перерыв кончился. Здесь его примете или добыть вам комнату?

— Давайте здесь, а потом по ходу дела будет видно.

Семеняк старался держаться спокойно и с достоинством, прежде всего выяснил, дадут ли ему справку, что он задержался в прокуратуре. Куржиямский разрешил ему сослаться, если потребуется, на него и дал свой номер телефона.

И только сейчас Семеняк припомнил Куржиямского — лицо его мгновенно залила краснота, и он сделал такое движение, будто собрался уйти, но пересилил себя и сказал тихо:

— Привет старшему лейтенанту... — И выдавил улыбку.

— Уже капитану, если можно, — ответно улыбнулся Куржиямский.

— Вон как встретились...

— А как? Я-то еще не знаю, что вас сюда привело?

— Что? — Семеняк посмотрел Куржиямскому в глаза. — Привела меня сюда или честность, или излишняя подозрительность... — Было заметно, что эта фраза приготовлена заранее. Семеняк вынул из кармана блокнот. — Вот здесь у меня записаны случаи, когда через делопроизводство нашего министерства проходили, по-моему, противозаконные бумаги.

— Можете объяснить на примере?

— Пожалуйста. — Семеняк пробежал взглядом по своим записям и остановился где-то внизу страницы… — Вот… Отношение за подписью первого заместителя начальника главка товарища Сараева, направлено на Гурьевский автозавод, в нем речь идет об отправке в Донбасс для спецавтобазы пяти автодвигателей из создавшихся на заводе излишков. Здесь все не так, как надо, — пояснил Семеняк. — Излишки должны быть переданы в распоряжение Госснаба, и только он может их распределять. Но и Госснаб не может распределять напрямую, он должен это делать через соответствующие учреждения, например, через «Сельхозтехнику». И вот…

— Вы думаете, что подобные нарушения порядка производились за плату? — перебил его Куржиямский.

— Чего не знаю, того не знаю, — ответил Семеняк.

— Скорей всего, все-таки за плату, — резко сказал Куржиямский. — Ну, скажите, почему вы с Гонтарем и Сандаловым за такое нарушение взяли хорошие деньги, а кто-то будет делать то же самое бесплатно?

Расчет Куржиямского, не лишенный, конечно, риска, оказался правильным — Семеняка точно кирпичом по голове ударили, он весь согнулся, вдавил в плечи голову, лицо у него стало мелово-белым, а потом пошло красными пятнами. Он беззвучно шевелил губами…

— Значит, за эту, приведенную вами бумажку получил, наверно, Сараев? — как ни в чем не бывало поинтересовался Куржиямский.

Рано утром во Внуково поехали Куржиямский и Зарапин. Машина своя, райотдельская, свой водитель Сеня Клебанов, у него есть обязанности и в операции задержания. Договорились так: поскольку Куржиямский Гонтаря знает, он будет встречать его у самолета. Оттуда он с ним пойдет не вместе с другими пассажирами, а к углу здания аэропорта, где будет

стоять машина с Сеней. Зарапин операцию страхует — мало ли как поведет себя Гонтарь? Или Куржиямский вдруг не углядит Гонтаря в толпе и пропустит, а Гонтарь попытается убежать. Словом, мало ли что, и на любой такой случай поблизости и будет Зарапин, а в резерве — Сеня.

Спустя полчаса они уже сидели в кафе аэровокзала, не спеша попивали горячий кофе и наблюдали обычную аэродромную суету, в которую то и дело врезался вещий радиоголос, объявлявший прилеты и отлеты. До прибытия самолета из Донецка оставалось меньше часа. Зал аэропорта гудел то сильнее, то потише, людские приливы и отливы чередовались все чаще, ими словно управлял вещий радиоголос.

Наконец объявили о посадке самолета из Донецка.

— Счастливо, ребята, — Зарапин сорвался с места и исчез в бурлящей толпе.

Глава тридцатая

Гонтарь ничего в багаж не сдавал, при себе у него в самолете были портфель «дипломат» и спортивная сумка «адидас», и сейчас, угадывая с небольшой высоты Подмосковье, он уже держал свои вещи на коленях, готовый первым покинуть самолет.

На этот раз он летел в Москву что-то с неохотой — предчувствие, что ли? Да нет, просто устал, ему идет как-никак пятый десяток, а спокойной жизни все нет и нет. Черт побери, за всю жизнь мало было приятного! А такого, когда мороз по спине, — хватало. Взять хотя бы тот суд за изнасилование. Мартын — его друг — получил стенку. Не забыть, как уводили его из суда, приговоренного к расстрелу, — до сих пор дрожь пронимает. А его спасло только то, что был пьян как свинья, до тахты не добрался, двинуться с места не мог.

Потом четыре года в колонии ему не раз снилось, как расстреливают Мартына возле щербленной пулями кирпичной стены… Да…

Или то «золотое» дело, в которое его втянул Ростовцев, — ничего себе золотое, если от него пришлось прятаться в тюрьме. Слава богу, ненадолго. А знаете ли вы, друзья любезные, что такое хотя бы один год в колонии? То-то же…

А последнее время там, в Донбассе, возле Залесского, стало Гонтарю пронзительно скучно — друзей не заводи… не пей водку… на баб не кидайся. Тоска. День за днем в разъездах — ищи клиентов. Думаете, это просто и не опасно? Раньше он никогда не занимался подкопами под закон в открытую; бывало, он роет, а никто не ведает, чего он там роет, тут же он, что называется, на самом переднем крае, более того — он тут разведчик, первый и открыто должен идти на сближение с жертвой, а та, конечно, с первых же слов знает, кто перед ней, и если не волокет тебя тут же в милицию, то только потому, что жертва эта свое дело так любит, что готова ради него идти на темные сделки, но не очень это надежный заслон… Не может Гонтарь забыть, как в Николаевской области он пришел к директору спецавтобазы, зная, что тому позарез нужны двигатели ГАЗ-51 и ЗИЛ-375/я, и с места в карьер предложил ему эти двигатели от Донецкой «Сельхозтехники». Директор прямо зашелся от радости — вот, говорит, дожили-таки до времечка, когда государство послало по стране коробейников с техникой! Кончился, говорит, еще один дефицит! Гонтарь еле дождался паузы, чтобы сообщить директору неприятную деталь, что за эти двигатели нужно сверх их цены платить по сто рублей за штуку. Директор аж посинел от ярости, стал хвататься за телефон: да я тебя, спекулянт несчастный, отправлю сейчас… Гонтарь не стал выяснять, куда он собирался

его отправить, и смылся более чем быстрым шагом... После этого он Николаев стороной объезжал. Нет, нет, не так это легко искать клиентов. Единственно, что хорошо, — связь у него с клиентами краткая. Выяснить только, согласен он платить левую доплату, и все дело — желаю вам успехов и счастья в личной жизни. Остальное делал уже сам Залесский, он и деньги получал. И Гонтарю выдавал, что ему полагалось. Ничего получалось, терпеть можно...

Сейчас Гонтарь летел в Москву с тугим пакетиком денег для Кичигина и его сообщников — вот эти гребут солидно. Но как учил еще его дружок Кеша — никогда не считай чужие деньги... Сегодня он пойдет обедать в «Арагви» — это его любимое местечко. Жаль, некого позвать. Разве Семеняка по старой памяти? Нельзя. Залесский специально предупредил, ни с кем из министерства не вязаться.

Меж тем самолет уже заходил на посадку, и земля надвигалась все ближе и ближе. Выглянуло солнце и, отраженное от белого снега, ударило в глаза Гонтарю голубым блеском. И тут же снег внизу стал грязным и оборвался, а под крыло самолета понеслась бетонная полоса. Гонтарь застегнул меховую куртку, насунул на голову пыжиковую шапку.

...Куржиямский стоял у трапа самолета и ждал, когда откроется его дверь. Яркое солнце, сверкающая белизна собранного в сугробы снега резали глаза. Он волновался — столько раз ему приходилось вот так задерживать разных преступников, и каждый раз он волновался: честный человек никогда не может привыкнуть к жулью.

Дверь открылась, из самолета вышла стюардесса в синем форменном пальто, и сразу за ней в черном проеме появился Гонтарь.

Вот он, Жора-обжора! Вот он, грибастенький! Лоб мыслителя, в глубоких ямах спрятались бегающие

глазки. Куржиямский уже нисколько не волнуется, он пристально смотрит в лицо Гонтарю с приготовленной для него приветливой улыбкой.

Их взгляды встретились — Гонтаря точно током ударило — дернулся в сторону, на мгновение замер на лестничном трапе, но идущие позади подтолкнули его, и он пошел вниз по ступеням шагами-рывками, не отрывая, однако, взгляда от лица Куржиямского, и тоже улыбался всем своим большим ртом, что делало его лицо глупым и смешным. Сойдя с трапа, он приблизился к Куржиямскому:

— Всеволод Кузьмич?! Здравствуйте!

— Здравствуйте, Томак.

— Встречаете кого, Всеволод Кузьмич?

— Вас, Томак.

— Да ну?

— Точно, Томак, — вас. Пойдемте сюда, там наша машина.

— С моим большим удовольствием… — потускневшим голосом проговорил Гонтарь и пошел рядом с Куржиямским, раскачивая в такт шагам «дипломатом» и сумкой «адкдас». — А знаете, Всеволод Кузьмич? Можете, конечно, не верить, но я рад вас повидать, я часто вспоминал по-доброму и вас, и наши с вами беседы на неприятные темы. Знаете, чем вы покорили меня? Что вы обращались со мной как с человеком, попавшим в беду и нуждающимся в вашей помощи. Честное слово, правду говорю…

Куржиямский молчал. В это время они приблизились к углу здания аэровокзала, где стояли запасные трапы, электрокары для перевозки грузов и еще какая-то подсобная техника. В момент, когда они проходили через узкую щель между электрокаром и запасным трапом, Гонтарь, шедший позади Куржиямского, чуть пригнувшись на мгновение, поставил свой «дипломат» к

подножью трапа и зашагал дальше, но тут же наткнулся на спину остановившегося Куржиямского.

— Вы портфель обронили, Томак. Вернитесь, возьмите.

— Да что вы? — удивился Гонтарь, но послушно сделал два шага назад, подхватил портфель. — Прямо не понимаю, как это я... — бормотал он, снова шагая рядом с Куржиямским.

— Не надо фокусов, Томак, — жестко сказал Куржиямский и показал на «Волгу», стоявшую в сторонке: — Сюда прошу...

Шофер Сеня Клебанов уже открывал заднюю дверцу.

...Машина мчалась по шоссе к Москве, которая вскоре уже вышла им навстречу — новые дома оттесняли от дороги лес, то и дело закрывали вид на безбрежные снежные просторы. Зарапин сидел сосредоточенный, изредка косясь на Гонтаря — как ты там, голубчик, чувствуешь себя?

Куржиямский смотрел в боковое окно, но ничего не видел, он пытался угадать, о чем сейчас думает Гонтарь, плотно зажатый между ним и Зарапиным и напряженно смотрящий вперед. Куржиямский нарочно не отвлекает его разговором, пусть хорошенько подумает над тем, что с ним случилось, и не валяет дурака на допросе...

А Гонтарь в это время задавал себе только один вопрос — что о нем может знать этот въедливый, как головная боль, Всеволод Кузьмич? Ему нужно было определить, на сколько оборотов раскручиваться на допросе и чтобы ни на четверть оборота больше. Знает ли он, к примеру, сделку с председателем колхоза Степовым? Знает ли, чем он занимался сейчас на юге? Если знает, то насколько? Больше всего его страшило, не знают ли они чего о Ростовцеве, который выручил

его из колонии? Не начнут ли спрашивать о нем? Ведь с ним связана и та страшная история с грузинским золотом. А чьи деньги в «дипломате»? Мои. Откуда? В карты в «железку» играл с богатыми шахтерами. А ну-ка покажите, что за игра? А он не знает, так как с юных лет не терпел карточной игры… Ладно, посмотрим, как все пойдет, и примем необходимые решения по ходу дела. Да, а знают ли они его прежние прегрешения? Если знают, то только то дело с часами, ведь тогда больше разговора ни о чем не было — они почему-то не спрашивали, а он, конечно, рассказывать не торопился. Да и о чем ему было рассказывать? След у них имеется только по изнасилованию, при котором он только присутствовал и на суде в списке участников стоял пятым и получил тюрьмы всего ничего… А все остальные его проказы и даже то страшное золотое дело с грузинами, слава богу, обошлись для него без следов на бумаге. А вдруг — нет? «Тьфу ты, как долго ехать!» — нервничал Гонтарь…

Меж тем милицейская «Волга» мчалась уже по Москве и спустя несколько минут въехала во двор, где был черный вход в следственный отдел райотдела милиции. Гонтаря провели в свободный кабинет, и там с ним остался Зарапин.

А в это время Любовцев разговаривал по телефону с городской прокуратурой.

— Звоню вам, потому что наш районный прокурор поторопился сказать «нет», руководствуясь соображением: подумать лучше одним разом меньше… — Говорил он почти весело, но тех, кто знал Любовцева, эта веселость ее обманывала. Видимо, знал подполковника и говоривший с ним работник городской прокуратуры.

— Слушаю вас, подполковник, и по возможности… с соображением, — смеялся прокурор.

— Мы только что задержали одного перспективного типа. Нужна санкция на немедленный обыск и, может, на арест, если мы не решим пустить его на сутки погулять на привязи наблюдения.

— Давайте его заслуги.

— Жизнь по двум паспортам и по обоим нечестная — достаточно? Далее: участие в спекуляции государственным имуществом — достаточно? Организатор взяток — достаточно? И наконец, подозрительное сокращение срока пребывания в колонии по старому делу о краже — достаточно?

— Вполне. Действуйте. Постановление оформим еще сегодня.

— Благодарю вас за содействие следствию, — не удержавшись, съязвил Любовцев и, положив трубку, распорядился доставить ему имущество задержанного.

Любовцев вместе с Куржиямским в присутствии Гонтаря и понятых занялись изучением того, что находилось в портфеле «дипломате» и сумке «адидас». Гонтарь делал вид, будто его эта процедура совершенно не волнует, и кривил в усмешке свой огромный рот.

Денег в свертке было три тысячи восемьсот пятьдесят рублей, пятидесятирублевыми купюрами, завернутыми в два куска бумаги, на одном из кусков на внутренней его стороне Любовцев обнаружил надпись четким почерком: «Залесскому Ю. Я.» — возможно, раньше в этот кусок бумаги была завернута записка этому Залесскому или еще что… На наружных сторонах свертка никакой фамилии не было. Еще в портфеле были три «Огонька» с продолжением детектива и чьими-то отчерками на полях. Любовцев передал журналы Куржиямскому:

— Посмотри отчерки — по какому они поводу?

— О господи, — вздохнул Гонтарь, — это же несусветная халтура…

Куржиямский засел читать детектив, а Любовцев продолжал изучать содержимое «дипломата». Рубашка — в ее нагрудном кармане вчетверо сложенный листок из настольного календаря, на оборотной чистой стороне нарисован, судя по всему, план местности: дорога… крестик в кружочке — наверно, церковь, возле которой дорога поворачивает направо, дальше — стрелка, поперек острия которой написано «Севидово», и сбоку две фамилии Крупенский и Хвыля. В скобках число — «2 марта». Любовцев распрямил, разгладил ладонью листок и положил его в папку под бумаги. Так, что еще? Распечатанный конверт с письмом от какого-то Игоря из Риги… «Привет бродяге от бродяги! Шестой день лежу в гостинице с гриппом, жрать приносит официант из ресторана, один день приносит парень, другой — девка, так что один день у меня значительно интересней, чем другой. А вообще — тоска. Не знаю, как у тебя, а мой Лукьянчик — жмот, и, по-моему, он меня подрезает. Интересно, что ты имел за первую половину февраля? Я — 420 и отповедь, что работаю плохо. Напиши, интересно сравнить. Вообще картина такая: деньжата есть, вроде их все больше, потому что траты малые и работа не особо пыльная, а — тоска. Знаешь, что я думаю: мне не по душе работа без собственного соображения, гонят тебя вперед, как барана на бойне. Напиши, как ты думаешь про это? Может, подорвем из этой компании и организуем собственное дело? Напиши-ка про это поскорее, ведь приближается лето, и у меня одно соображение есть, и оно курортного направления. Жду с нетерпением. Игорь…» На конверте обратный адрес: «Рига, гостиница „Рига“», но фамилия не написана.

Подполковник Любовцев сделал какую-то запись на своем листе бумаги и показал Куржиямскому, там было написано: «Надо оформить просьбу нашим товарищам в Ригу, установить всех Игорей, живших в гостинице

„Рига“ последние два месяца». Куржиямский вышел передать это приказание и вскоре вернулся.

Любовцев взялся за спортивную сумку «адидас». Тут были только трое новеньких джинсов без признаков, какого они производства. Но внутрь одних джинсов был вложен кусок желтой кожи, на которой несколько раз черным цветом было тиснено «Лас-Вегас — США».

Сделали точную опись всего, и Гонтарь внизу автоматически подписался привычно, росчерком «Гонтарь». Ушли, поставив свои подписи, понятые…

— Теперь поговорим, — весело сказал Любовцев.

Гонтаря попросили сесть к приставному столу, лицом к окнам. За стол подполковника сел Зарапин — он будет вести протокол допроса. Любовцев и Куржиямский сели напротив Гонтаря.

— Гражданин Томак… — начал Любовцев и в это время взял лист описи имущества задержанного. — Погодите-ка, тут вы расписались как-то иначе. Гонтарь? Это ваша фамилия? А кто же тогда Томак? Капитан Куржиямский, вы тогда вели чье дело? Томака? Гонтаря?

— Томака…

— Заглянем в паспорт, — Любовцев раскрыл лежавший на столе паспорт задержанного и раздельно прочитал: — Гон-тарь… Капитан, а тогда фамилия его фиксировалась тоже по паспорту?

— Естественно!

— Значит, у вас, Томак-Гонтарь, было два паспорта?

Гонтарь лихорадочно придумывал, как вылезти из этой самим поставленной ловушки, и счел за лучшее промолчать.

— Ну что же, жизнь по двум паспортам мы фиксируем, но, чтобы сейчас не путаться, я буду считать, что вы Гонтарь. Договорились? — Глаза подполковника откровенно смеялись, и это совсем

сбивало с толку Гонтаря. — Зачем вам было иметь два паспорта?

Гонтарь молчал.

— По закону советский человек имеет один паспорт. Как Томак вы по делу кражи часов получили четыре года. Не отсидели и половину. А остальной срок отсиживал, что ли, Гонтарь?

— Никто не отсиживал… — пробормотал Гонтарь.

— Так… Значит, пока мы устанавливаем факт вашего досрочного освобождения из колонии. За что?

— Могу объяснить.

— Охотно послушаем. Сначала уточним, сколько вы недосидели?

— Право, не помню, — Гонтарь спрятал свои удивленные глаза.

— Слушайте, Гонтарь-Томак, вы в милиции, а не в детском саду, мы знаем, как точно и на всю жизнь помнит ваш брат все, что касается тех сроков. Сколько недосидели?

Гонтарь поднял взгляд на потолок и прочитал там неуверенно:

— Два… года и… шесть месяцев, — на выпуклом его лбу выступил крупнозернистый пот.

— Не можете рассказать, как вам это удалось? Кто помог?

Наморщив свой лоб мыслителя, Гонтарь пошевелил большим ртом и сказал обиженно:

— Никто не помогал. Никто… — И вдруг заговорил энергично, напористо: — Есть же документы, посмотрите сами. У меня сильно заболели ноги — невыносимая боль день и ночь. Я так кричал в бараке, что зеки спать не могли. Однажды меня прямо с утренней поверки — на медкомиссию, и там нашли у меня какую-то мудреную болезнь, названия я и тогда не мог выговорить, тем более теперь, в общем болезнь костей, вроде рак костей… Редкая болезнь — говорили.

С этим диагнозом примерно через месяц, по ходатайству колонии, решением суда я был определен на поселение ближе к месту, где была необходимая мне и будто бы единственная в стране больница и научный институт какой-то…

— Как он называется? — легко спросил Любовцев.

— Длинное, мудреное название, я туда ездил на сеансы лечения…

— Где находится институт?

— В самой Москве.

— Где именно?

— Не могу вспомнить улицу… — Жалкая улыбка большого рта получилась смешной.

— Ну, как вы туда добирались с места поселения? Это вы не забыли? — наступал Любовцев.

— Ну… сперва на электричке… до Белорусского вокзала… Так? Потом на метро до…

— Ну-ну, Гонтарь, до какой станции метро?

— Решительно не помню.

— Ну хорошо, а: после, выйдя из метро, куда вы направлялись, каким транспортом?

— А дальше уже пешком… совсем недалеко…

— Но на больных-то ногах. Ну ладно, расскажите, какое вы там в институте проходили лечение?

Молчание довольно длинное, терпеливое ожидание Любовцева.

— Ну ладно, Гонтарь. — Любовцев смотрел на него с терпеливой брезгливостью. — Сколько длилось ваше, лечение?

— Почти четыре месяца.

— И вы, конечно, начисто не помните, из чего это лечение состояло?

Опять долгое молчание.

— Ну ладно. Что дало лечение?

— Ничего не дало, — огрызнулся Гонтарь, его длинные губы извилисто стиснулись. — Дали мне такое

заключение. Я его отдал в местное МВД, где был на поселении.

— И там вы продолжали кричать, не давая спать окрестным жителям? — тихо засмеялся Любовцев. — Кстати, где именно вы были на поселении?

— Город… Лесной… — с мгновенной запинкой ответил Гонтарь. — Ну, не сам город… чуть дальше.

— Так, — записал Любовцев. — Между прочим, оттуда вы должны были ехать до Савеловского вокзала. Лучше надо врать.

— Дальше было полное освобождение на длительное лечение, — ответил Гонтарь.

— Куда вас направили лечиться?

— Да в тот же институт.

— И вы лечились?

— Да нет… Если говорить откровенно, я в эту свою таинственную болезнь не верил и значения ей не придавал. А может, уже помогло и лечение, а только ноги уже болели не сильно. И я решил отдохнуть немного и начать искать работу. Поехал в Крым…

Любовцев откинулся на спинку стула и насмешливо смотрел на Гонтаря, а тот молчал в полном смятении.

— Ну, вот что, Гонтарь, будете говорить нам правду о том, кто вас выручил из колонии? Не хотите? Предпочитаете рассказывать нам рождественские сказки?

Томак молчал. Он думал в эту минуту: нет, нет, Ростовцева я вам не назову, а у вас никаких данных об этом нет. И если все дело в сроках отсидки, черт с вами — досижу. Главное, чтобы не добрались до Ростовцева…

— Скажите, вы стали Гонтарем до отдыха в Крыму или после?

— Сразу после освобождения.

— Зачем вам понадобилось менять фамилию?

— Не хотелось тащить на спине клеймо судимости…

— Где доставали фиктивный паспорт?

— Наоборот, товарищ подполковник, — вмешался Куржиямский. — Фиктивный ему сделали для прохождения по процессу с кражей часов. А Гонтарь — это его фамилия подлинная.

Любовцев покачал головой:

— С ним не трудно запутаться. Ладно... Значит, сразу после освобождения вы забыли, что вы Томак, и вернулись к старому паспорту на имя Гонтаря?

— Точно... Всеволод Кузьмич информирует правильно.

— И председателя колхоза Степового вы обрабатывали уже как Гонтарь?

— Не знаю никакого председателя, — поспешно и решительно заявил Гонтарь, глазки его засверкали — опять приближение к Ростовцеву.

Любовцев звонком вызвал секретаря:

— Лидия Михайловна, там в кабинете Куржиямского сидит товарищ Степовой, позовите его сюда... Знаете что, Гонтарь, я думал, вы умнее и хитрее.

Вошел Степовой.

— Василий Михайлович, вы знаете этого человека?

— Отлично. Это Гонтарь...

— Гонтарь, а вы знаете этого человека?

— Первый раз вижу.

— А тот раз, когда вы в кабинете Семеняка получили от меня деньги, не считается? — спросил Степовой, бешено в упор глядя на жулика.

Гонтарь молчал.

Любовцев вызвал секретаря и попросил ее пригласить Семеняка. Гонтарь все-таки заволновался, лицо его покрылось красными пятнами.

— Перестраивайтесь, Гонтарь, пока не поздно, — тихо сказал ему Любовцев.

Вошел Семеняк.

— Скажите, пожалуйста, — обратился к нему Любовцев, показывая на Степового, — вы знаете этого человека?

— Да. Это председатель колхоза «Вперед» Степовой Василий Михайлович.

— А это кто? — кивок на Гонтаря.

— Борис Борисович Гонтарь, который обработал этого председателя, чтобы он уплатил тысячу рублей за незаконное предоставление ему двигателей.

— Санкцию прокурора на ваш, Гонтарь, арест мы имеем. Принимайте, капитан Куржиямский, вашего старого дружка. Хочу верить, что к завтрашней встрече с вами он поумнеет…

Глава тридцать первая

В этот же день у Куржиямского произошел неприятный разговор с подполковником Любовцевым. Не сразу на это решившись, он зашел к нему в кабинет и, что называется, с ходу заявил:

— Считаю, что сегодняшний допрос мы провели тактически неправильно.

— Да? — летуче спросил Любовцев, весело глядя на него. — Давайте дальше, я из тех, кто необычайно любит критику снизу. И сядьте, ради бога, критиковать стоя трудно… — Это его ерничество не обещало ничего хорошего. — Слушаю вас, капитан. Да, люблю точность — неправильно провели следствие не «мы», а я.

— Мы раскрыли Гонтарю все наши карты, — продолжал Куржиямский, устраивая под приставным столиком свои длинные ноги.

— Я в карты не играю и не знаю, плохо ли это — раскрывать свои карты? — сухо заметил Любовцев, веселости его как не бывало. — И еще раз не «мы», а я.

— Зачем мы сразу свели его со Степовым и Семеняком?

— Послушайте, капитан, если вы еще раз скажете «мы», я оборву нашу теоретическую беседу, ибо если «мы», тогда все вопросы вы можете задать самому себе, не отнимая времени у меня. Итак, почему я их свел?

— Да. Надо было сначала подробно допросить его одного, потом предъявить ему показания Степового и только после этого дать им официальную очную ставку. А Семеняка лучше было придержать до последующих допросов. А теперь Семеняк, увидев, что Гонтарь все отрицает, может поостыть со своим порывом честности и прийти к выводу, что и ему нужно отречься от данного эпизода со Степовым.

— Все? Теперь послушайте меня… Шаблон в тактике следствия опасен, и им слепо пользуются только бездарные работники. Я не гений, но шаблонов не терплю… — Любовцев злился все больше. — В каждом новом деле передо мной новый человек со всем, что он есть. Если говорить о Гонтаре, то он мне ясен до дна со всеми его умственными возможностями. Верней — со всеми отсутствующими у него такими возможностями. Уже пройдя тюремную школу первой ступени, он как раз должен знать все наши шаблоны, и я считаю полезным сразу же увести его в сторону от шаблонов и тем скорее поставить его на то место, какого он достоин. Я протащил его по лестнице его собственной лжи о его досрочном освобождении, и, будьте спокойны, капитан, у него на боках от этой лестницы остались ссадины. Кстати, пока вы ездили, я кое-что об этом его освобождении разузнал, но, как вы заметили, сегодня ему я это не выложил. Но он почувствовал, что я знаю. Почувствовал.

— Его досрочное освобождение — факт, стоящий в стороне от очень большого приоткрывшегося нам дела, — убежденно сказал Куржиямский.

— Стоп! На этом дискуссию кончим. И решим так — ваше несогласие с моей тактикой остается при вас, а нам вместе надо двигать вперед то приоткрывшееся нам дело. Возражений нет? Вот и прекрасно.

На другой день утром Гонтарь сказал Куржиямскому:

— Не троньте меня, Всеволод Кузьмич, дайте мне сообразиться, без этого я буду либо молчать, либо врать, это — железно.

— Если вы решили, Гонтарь, тянуть время и вынюхивать, что нам о вас известно, — напрасный труд.

Отправив его обратно в следственный изолятор, Куржиямский задумался. Задержка с дальнейшим допросом Гонтаря его нервировала, и он продолжал винить в этом Любовцева. Но все-таки в одном у них полное согласие: главное — это то дело, которое приоткрылось в показаниях Семеняка, и надо за него браться.

За те два дня, пока Гонтарь «соображался», была проведена тщательная проверка документов, которые находились в перечне Семеняка. Оказалось, что он ошибся только в одном случае, остальные названные им одиннадцать операций были противозаконными. На второй день поиск был расширен, и нашли еще более двадцати таких же документов. Стало ясно, что здесь действовала целая группа крупных взяточников.

В этот день зашевелился Гонтарь: позвонили из следственного изолятора — просится грибастенький на допрос. Одна досада — до сих лор в Москву еще не доставлен из колонии главарь по тому делу с кражей часов Иван Нестеренко. Но ничего, можно будет, в случае чего, использовать его письмо…

День выдался солнечный, тихий. В высоком бледном небе самолеты медленно чертили мелом строгие линии. Такой день посредине зимы как бы хочет напомнить

нам, что весна непременно придет. Куржиямский подумал об этом, возвращаясь после обеда в отдел, и вспомнил, что Лена просила его подать заявление на пионерлагерь для их сына. Вот это действительно весенняя примета, улыбнулся Куржиямский.

А в его кабинете, выходившем единственным окном во двор, было сумрачно, стекла были заморожены. Куржиямский раскрыл форточку прямо в высокое бледное небо и услышал музыку — жилец в доме напротив играл на рояле что-то печальное. Захотелось замереть, прислушаться к льющимся звукам, но в это время проскрипела дверь, и в кабинет втек Гонтарь, а за ним — конвойный.

— Всеволоду Кузьмичу добрый денечек, — Гонтарь разлапил свой ртище в улыбке от уха до уха. — Поговорить захотелось. Пора. Американцы говорят: время — деньги, а для меня время — это срок.

Форточка осталась открытой, и допрос начался под ту печальную музыку, отдаленно, неясно слышимую.

— Гляди, свадьба с музыкой, — глянув на форточку, усмехнулся Гонтарь.

Куржиямский захлопнул форточку:

— Еще, не ровен час, простудитесь тут у меня…

— Я, Всеволод Кузьмич, здоров как бык.

— А рак костей?

— Так вылечили же! — радостно воскликнул Гонтарь, осклабив громадный рот.

— Собираетесь снова толкать эту сказку?

— Не торопитесь, надо поговорить… — Он сразу стал сумрачным.

Заполнив формальные графы протокола, Куржиямский спросил:

— Выработали тактику?

— Ничего не вырабатывал, — повел головой Гонтарь. — В себя должен был прийти. И вы же, Всеволод Кузьмич, знаете меня — со мной вам

нетрудно, что за мной есть, то я на стол вам и выкладываю. Помните?

— Что да, то да: вам со мной было не колко — промолчали о своем деле с изнасилованием, а я не спросил, так и кануло тогда это вонючее дельце.

— А что бы оно вам дало? Все, что в том деле было, уже перегорело и моим честным отбыванием в колонии покрыто.

Все же Куржиямский внес в протокол и то вонючее дело, подумав, что надо будет проверить, так ли уж честно отсидел Гонтарь и по тому делу? Теперь надо было переводить его из прошлого в настоящее. Главная трудность тут состояла в том, что Куржиямский еще не знал, к каким конкретно преступным сделкам имел отношение Гонтарь; у него был пока только один официальный документ, относящийся к его деятельности в Донецкой области, — изъятая в министерстве бумага — наряд на предоставление двигателей спецавтобазе номер шесть и еще — листик из календаря, на котором рукой Гонтаря нарисован план дороги в Севидово и записаны две фамилии — Крупенский и Хвыля. И, наконец, было письмо Игоря из Риги, из которого видно, что они действуют в каком-то одном деле, но оба не имеют в нем самостоятельного положения. Фамилия Игоря установлена — Сандалов, но кто он и где он теперь, пока неизвестно.

— Догадываетесь, почему с таким почетом мы встречали вас во Внукове?

— Не совсем.

— Совсем не понимаете? Или не совсем понимаете?

— Не совсем понимаю.

— Тогда что же вам все-таки понятно?

— Ну… Раз встречали меня именно вы, значит, что-то, по-вашему, вы мне недовесили в прошлом. Или решили выяснить, почему я недосидел. А это я уже объяснил вашему подполковнику.

— Жалкая ложь, Гонтарь, это не объяснение. Нами установлено — ни в каком московском институте по костным заболеваниям вы никогда не лечились. Скажите-ка лучше прямо и ясно — кто вас выручил из колонии? Мы же все равно это выясним, наши люди уже изучают всю переписку по вашему делу, и не сегодня-завтра мы сами расскажем вам, кто вас выручил от наказания, но тогда на вас не распространятся блага чистосердечного признания, как это было по делу с кражей часов.

Гонтарь надолго замолчал. Ростовцева он назвать не мог. Если он откроет его, придется открывать и все с ним связанное, в том числе и то «золотое» дело с грузинами.

Куржиямский терпеливо ждал. Нестеренко писал ему из колонии, как Гонтаря сунул ему в часовое дело и потом выручил из тюрьмы некий человек, который по мелкому делу проходить не будет. Говорить о нем Гонтарь явно не хочет, может быть, даже боится. Попробуем сделать шаг в сторону:

— Вы Ивана Нестеренко помните?

— Как вы сказали? — встрепенулся Гонтарь. — Нестеренко? Понятия не имею.

— Нехорошо, Гонтарь. Рядом на скамье сидели.

— Прошу прощения, прошу прощения, — заторопился Гонтарь. — Вот как вредно не отбыть наказание полностью — все дело из головы вылетело. Помню, помню Нестеренко! Главный наш по часам…

— Расскажите, как вы с ним познакомились? И вообще как вы влезли в то дело с часами? Мы тогда это, к сожалению, не изучили.

— Что значит «влез», Всеволод Кузьмич? Не юридическое это выражение, на вас не похоже. Я вошел в то дело по сговору.

— По сговору с кем?

— Ну… с Нестеренко этим.

— Как это произошло? Где? Когда? Как вы узнали, что он есть на свете? Или наоборот, как он узнал, что есть вы? Только учтите, что впереди вас ждет очная ставка с ним.

Гонтарь молчал. Значит, очевидно, прав Нестеренко, что всунуло Гонтаря к нему в шайку и потом выручало его из колонии одно и то же лицо, и потому Гонтарь молчит и сейчас. А может, он в одном деле с тем человеком и сейчас? Куржиямский решил надавить на это больное для Гонтаря место:

— Вы молчите потому же, почему молчали и раньше, — к Нестеренко вас подсунул тот же человек, который спас вас и от наказания, и фамилия его…

Гонтарь резко поднял голову, вонзил глаза в следователя и так подкусил нижнюю губу своего большого рта, что она стала белой, он даже дышать перестал. Молчал. Ждал, какую фамилию сейчас назовут.

— Я все-таки оставлю вам возможность для чистосердечного признания по этому вопросу и чуть подожду, когда вы сами назовете эту фамилию. Но чего это вы так разнервничались?

— Я абсолютно спокоен. Нестеренко я нашел сам. Сидел в Москве без дела и без денег. Пошел в бильярдную ЦПКО и там с ним познакомился. Вот и все тайны.

— Вот как все просто, но тогда тем более непонятно, почему вы молчали и нервничали? Вот что, Гонтарь, по сравнению с нашей прошлой встречей вы здорово испортились — очень много врете.

— Только в пределах самообороны, Всеволод Кузьмич.

— Вы продолжаете отрицать, что знаете Семеняка?

— Я его не знаю.

Куржиямский сделал в уме еще одно логическое замечание для памяти: опасность для Гонтаря может быть связана и с Семеняком, поэтому он не пускает следствие и сюда. И решил снова испугать Гонтаря своей осведомленностью:

— Расскажите, Гонтарь, какие у вас были дела в Херсонской области, в Севидове, с Крупенским и Хвылей?

Вопрос произвел на Гонтаря сильное впечатление, он даже отшатнулся и посмотрел на следователя напряженно, пристально, гадая, что о нем знают еще и не пора ли действительно начать говорить правду? Куржиямский ждал, уже зная по ответу из Херсона, что Севидово — село в Херсонской области, а фамилии Крупенский и Хвыля принадлежат председателям двух соседних там колхозов. Зарапин как раз сейчас искал в министерстве документы, где были названы эти колхозы.

— Просто я знаком и с Крупенским и с Хвылей, а что — разве это запрещено?

— А с чего это вы вдруг заинтересовались сельским хозяйством?

— Да господи, говорю вам правду: случайно познакомился с этими колхозными деятелями. Случайно.

— Где познакомились? Когда? И учтите, Гонтарь, что их мы уже допросили.

Куржиямский чувствовал, что Гонтарь подошел к барьеру запирательства. Чтобы выиграть время на обдумывание, он попросил дать ему воды, потом заявил, что у него какой-то прилив к голове, и попросил прервать допрос.

— Но раньше я хочу позвать врача, чтобы он вас посмотрел и оказал помощь.

— Не надо врача, Всеволод Кузьмич... Оба эти деятели хотели приобрести личные автомашины, и я

пудрил им мозги, будто могу им помочь.

— Вот это уже ближе к правде, но еще не сама правда. Они вам дали деньги за услугу?

— Какие деньги? Я ничего не получал.

— А зачем же вы туда к ним ездили?

— Я ездил только узнавать, как и сколько тут можно взять.

Куржиямский запротоколировал это очень важное признание Гонтаря, но решил продолжение допроса все же перенести на завтра, за это время, может быть, что-то найдет Зарапин в бумагах министерства, а вечером должны были позвонить коллеги из Херсона, и у них тоже могли выясниться важные подробности…

Так все и получилось — вернулся из министерства Зарапин:

— Бери, Сева, шарик и пиши… Херсонская область, колхоз «Десять лет Октября», председатель Крупенский… месяц назад получил известным тебе путем, подпись Сараева, — три двигателя для грузовика «ЗИЛ» и запчасти. Оплата по государственному ценнику, а размер взятки они в документах не указывали, так что тут придется повертеть мозгами тебе.

— Спасибо и на этом. Когда ты там кончишь?

— Спроси у Любовцева. А у тебя как?

— Петляет как заяц, но петли постепенно сужаются.

— Жми его, Сева…

Минувшей ночью из колонии привезли Ивана Нестеренко, и утром он был доставлен к Куржиямскому. Поначалу он испугался — зачем понадобился? Стал разыгрывать перед Куржиямским обиду.

— Как же это вы, Всеволод Кузьмич? — говорил он, низко опустив голову. — Я вам от сердца написал письмишко, а вы меня — в следствие? Нехорошо как-то получается.

— На вас, Нестеренко, ничего нового у нас нет. Мы занимаемся известным вам Жорой Томаком, и я подумал, что вы нам поможете, — успокаивал его Куржиямский.

Наконец Нестеренко начал давать показания. Злость его на сверхудачливого сообщника была так сильна, что возникло опасение, как бы он не наговорил на него лишнего. Но нет, все было похоже на правду… А главное — он вдруг назвал фамилию Ростовцева!

Куржиямскому стоило усилий не показать, как для него это важно, он же все время помнил того Ростовцева, который возник еще во время следствия по делу Ревзина, и как он неудачно беседовал с этим седоголовым красавцем в его солидном кабинете. Сейчас он почему-то был уверен, что это один и тот же Ростовцев. Но откуда знает его Нестеренко?

— Каков он из себя, этот Ростовцев? — как только мог равнодушно спросил Куржиямский, не беря в руки «шарика».

— Красавец мужчина, — усмехнулся Нестеренко. — Седогривый. И делец будь здоров. Скажу начистоту: если б мне еще не сидеть да сидеть, я бы и слова не решился сказать — такие у него длинные руки.

— У вас с ним были какие-нибудь дела? — небрежно спросил Куржиямский.

— Ну вот, Всеволод Кузьмич, сказали, что на меня ничего нового писать не будете, я же вас за честного держал..

— Не вы нам нужны, Нестеренко, а Ростовцев, — сказал Куржиямский.

Нестеренко долго молчал, соображая что-то, и наконец заговорил:

— Дела у меня с ним, собственно, не было, так что можно кое-что сказать… Был у меня приятель. Мы с ним родом с одного московского двора на Пятницкой. Некий Вова по кличке Козырь. Правду говорить, так именно он

меня против кодекса и повел. Но о нем говорить уже нечего, он в одночасье под машину пьяный попал, — насмерть… Да… Но вот он однажды привел меня к тому Ростовцеву, думаю — на смотрины. Встреча была в Центральном парке культуры. Я тогда уже был не мальчик и сразу понял, что он хочет взять меня в какое-то дело. Даже деньжишек мне как аванс подбросил. И наконец я узнаю, чем тут пахнет. Грузия, и дело, как мне показалось, связано с золотом. Извиняюсь — только он меня и видел. Честное слово, Всеволод Кузьмич, сказал тут полную правду. Прибавлю даже, что Ростовцев за мой отказ назвал меня жалким трусом. Поэтому, когда он потом пришел ко мне с просьбой взять Томака в мое дело, я это сделал. Конечно, я дурак, но не хотелось носить клеймо труса. Правда, мне в ту же минуту стало ясно, что почему-то ему Томака надо спрятать. Может статься, они оба на том золоте и подломились. Тогда и сам Ростовцев выглядел кисло. Все, Всеволод Кузьмич. Остальное вы знаете и без меня.

Куржиямский поблагодарил Нестеренко и сказал, что ему придется пробыть в Москве еще парочку дней для очной ставки с Томаком.

Уже поздним вечером у Любовцева был подведен итог дня. Куржиямский и Зарапин доложили о своей работе. Любовцев помолчал немного и вдруг весело улыбнулся:

— Вот и въехали мы с вами в большие ворота, в большое дело. Но, увы, сие нам и не по силам, и не по субординации. Утром я еду в союзную прокуратуру договариваться о передаче им дела. Но в интересах же дела буду предлагать вас обоих в их следственную группу. Не возражаете?

— А как же вы тут без нас? — спросил Куржиямский.

— Стерпим, сдюжим. Но и по сути ваше участие будет полезным. И для вас самих — тоже. Пройдете там

хорошую учебу. Наконец, не хочется остаться на обочине, когда так хорошо начали. Верно?

Уже на другой день Куржиямский и Зарапин были включены в следственную группу союзной прокуратуры и приступили там к работе.

Часть третья

Глава тридцать вторая

Возмездие неотвратимо, и это знают все преступники, уже сидящие за решеткой. Еще не сидевшие тоже, в общем, знают, но надеются на удачу…

Залесский был на редкость удачливый преступник, но и он ожидал и боялся возмездия. Однако, как и все, кого оно пока не коснулось, он полагал — не будучи, впрочем, до конца в этом уверен, — что он может оказаться исключением, так как он-то уж предпринял все возможные предохранительные меры. Но почему он уверен в этом не до конца? Все дело в том — и так бывает всегда, — что он не один, а уже за второго он поручиться не может.

Недавно Залесский отправил в Москву Гонтаря, и тот уехал что-то без особой охоты, хотя раньше, бывало, только заикнись — и у него уже билет в руках. Вечером они разговаривали дома у Залесского. Сидели за столом, водочка — в графине, но Гонтарь пить отказался. Опустошил графин один Залесский, он последнее время что-то пристрастился к горячительному.

— Так чего ж вы не хотите ехать? — спросил Залесский.

— Сам не знаю… — пробурчал Гонтарь.

И вдруг Залесский, глядя в глаза Гонтарю, тихо пропел:

Дорогая моя Мура,
Не боись парней из МУРа,
Знай и помни, моя Мурка,
Не продаст любимый урка.

Гонтарь весьма удивился познанию Залесским тюремных песен.

Залесский коротко рассмеялся и строго спросил:

— Поняли, на что я намекаю?

— Чего же тут не понять? — обиженно ответил Гонтарь. — Уж который раз вы даете мне понять, что во мне не уверены.

— А что? Не было основания? — быстро спросил Залесский. Гонтарь промолчал. — Забыли ту историю в Николаевской области, когда вас чуть не взяли за шиворот?

— Легко судить. Вы сидите на отдалении, а я с опасностью глаза в глаза каждый день.

— Все зависит только от вас. Когда тот николаевский деятель взъярился, вам надо было сразу все перевести в шутку и спросить: не продает ли кто в их колхозе дом? И опасности как не бывало. А вы бросились удирать. Не умно. Не умно… только в том и дело. Ну ладно, обиды строить не надо, дело-то у нас одно, и мы друг за друга в ответе, а я-то постарше, могу когда и поучить. — Залесский налил рюмку и проговорил торопливо: — Чтобы все в поездке было о’кей…

Гонтарю надо было рано вставать, ехать на аэродром, и он, получив последние указания, вскоре ушел. Залесский в одиночку допил водку и лег спать. Сон не приходил, а тревога не уходила.

На другой день утром он узнал, что двух председателей колхозов из Херсонской области, которых недавно обрабатывал Гонтарь, вызывали в

областную прокуратуру. Конечно, их могли вызвать по тысяче других поводов, но почему именно их и только их?

Залесский заперся в своем кабинете в «Сельхозтехнике» и ходил из угла в угол. Вот когда тревога была уже не просто логическим предположением, а реальностью, имеющей адреса и имена...

Но все же это был еще не страх... Ведь вся его сознательная жизнь в общем прошла неспокойно, и к тому были достаточно серьезные основания. Чего стоит один оккупированный Львов, когда он работал в гестапо, — он же действительно в рубашке родился, если и это прошло ему безнаказанно... А встреча в ФРГ с тетушкой и еще кое с кем во время туристского круиза? А их вместе с Ростовцевым жульническая панама на юге? Все ему сходило, но тревога не покидала никогда. Как бы он порой ни уверял себя, что бог есть и ему благоволит, вся жизнь его шла как бы под спудом тревоги, и это сильно мешало ему ощущать радость своей удачливости. Примерно полгода назад он окончательно решил, что пора ему уезжать за границу, хотя от получения опасных открыточек оттуда избавился, все-таки ту встречу в ФРГ он держал в уме как возможный исход из мира тревоги. Дома у него в хитром тайнике было уже собрано немало драгоценных «камушков», золотых вещей и даже долларов, — по его подсчетам, этого, хватило бы ему на первые несколько лет безбедной жизни за границей. А затем — и вот в этом он был абсолютно уверен — он сумел бы прочно врасти в ту жизнь. К этому он готовился осторожно, втайне изучал туристские маршруты и удобные для него страны, но даже с женой разговора об этом пока не заводил...

Залесский сел за стол и, сжав голову руками, стал думать...

Почему не возвращается из Москвы Гонтарь? Правда, он звонит оттуда почти каждый день и, если ему верить, действительно выполняет там его поручения, но из-за всяких обстоятельств, вполне, надо сказать, достоверных, дела затягиваются. И все же третьего дня он строго сказал ему, чтобы немедленно возвращался, не окончив дел, а его все нет, хотя билет на обратный авиарейс ему был куплен еще здесь.

Залесский не знал, что все последние разговоры с ним по телефону из Москвы Гонтарь проводил из кабинета Куржиямского и под его руководством. Гонтарь с охотой участвовал в этой телефонной игре: мстил, что ли, Залесскому за то, что тот держал его в черном теле. С охотой-то с охотой, но не с уменьем, и, может быть, поэтому Залесский что-то неладное почувствовал и тут…

Этим утром Залесскому показалось, что за ним ведется слежка. Весь день он то из-за цветка в окно наблюдал за улицей, то покидал службу и мотался по Донецку, проверял «спину», но нет — позади все было чисто. Ничего не изменилось и на службе. Наоборот — он всегда считал, что руководитель «Сельхозтехники» относится к нему прохладно, а тут вдруг зашел к нему в кабинет, справился о здоровье и предложил съездить вместе с ним в Херсон — в порядке изучения опыта посмотреть, как там идет распределение техники. Но почему именно в Херсон? Не скрыт ли в этой поездке подвох? Ведь в этой области они с Гонтарем недавно обработали семерых клиентов. Двое из них вызваны в прокуратуру…

Залесский ехать отказался — остерегался покинуть Донецк.

Вот еще очень тревожное — ночью ему домой позвонил из Москвы Ростовцев и говорил так иносказательно, что Залесский, признаться, не все и понял.

— Здорово, дружище! Ты что — спал? А лучше бы нам с тобой не спать, — начал разговор Ростовцев. — Как настроение? Нормальное? Очень рад, но ты получше осмотрись, тогда оно у тебя будет еще нормальнее. Помнишь жару в Ростове? А в Донецке такие деньки бывают? У нас в Москве такого вроде не бывает. Так что, если припечет, приезжай…

Залесский спросил, видел ли он Гонтаря.

— Он мне только звонил по телефону и обещал занести твое письмо. Но после этого ни письма, ни звонка. А он что, все еще в Москве? Я завтра утром позвоню Кичигину, может, он его задерживает? А может, не он? Но тогда кто? Ладно, я его поищу. Что ему передать? Чтобы немедленно возвращался? Ясно…

Зачем такой звонок, да еще ночью, понадобился Ростовцеву? Что значат все его намеки? Почему лучше не спать? Зачем нужно получше осматриваться? Зачем он вспомнил жаркие дни в Ростове, когда они ловко ушли из-под удара за взятки на новостройках? Но как понять этот намек? И что значит — если припечет?

Тревога все сильнее. И вдруг он вспомнил ситуацию с тетушкой из ФРГ… Его осенила неожиданная идея — а не может ли эта «заграничная ситуация» спасти его, если грянет катастрофа по делам его «внутренним»? Он тогда сам обратится в органы государственной безопасности и расскажет, как его вербовали, когда он был в ФРГ в туристской поездке, и как он потом избежал продолжения этой связи. И тогда он станет почти героем по политическому делу, и в благодарность за раскрытие вражеских шпионских планов его выведут из-под удара за дела внутренние…

Черт побери, но почему он все-таки решил, что катастрофа нависла над ним уже неотвратимо и надо думать о таких крайних мерах? Не нервы ли все это? Не нужно ли ему просто встряхнуться? Жена как раз у сестры в Ленинграде, можно кой-чего себе позволить…

Вечером Залесский с двумя верными друзьями пошел в ресторан и в эту ночь спал без тревоги…

Почувствовал тревогу и Ростовцев.

…Днем он получал деньги от клиента. Они встретились на проспекте Мира возле Ботанического сада. Вокруг никого не было, но как раз в тот момент, когда он у кассы сада заговорил с клиентом, в переулке резко затормозила машина «скорой помощи», и Ростовцев отчетливо увидел, как в приоткрытое боковое окно высунулась какая-то черная трубка с блеснувшим внутри стеклом. В это время клиент, подняв портфель на грудь, стал его раскрывать, чтобы вынуть деньги, но Ростовцев сжал ему руку:

— Пойдем отсюда…

Они вышли не на проспект Мира, а в переулок. «Скорая помощь» умчалась, повернув направо на проспект. Они молча шли по переулку, и вдруг Ростовцев замер на месте — впереди шагах в двухстах стояла «скорая помощь» — та самая или другая?

— Пойдемте обратно, — сказал он. Клиент посматривал на него с недоумением. Чтобы не затягивать эту неловкую ситуацию, Ростовцев завел клиента в первый попавшийся двор и там получил деньги.

— Уходите первый, — сказал он клиенту, и тот пошел, удивленно оглядываясь.

Минут через пять из ворот вышел Ростовцев — ничего подозрительного вокруг не заметил, не было и «скорой помощи». Он торопливо зашагал к себе на службу.

— Ко мне никого… — буркнул он секретарше и заперся в своем кабинете на ключ.

Так что же это было? Случайное совпадение или эта «скорая помощь» гонялась за ним? Сколько он ни думал, получалось так: если он хотел уверить себя, что

была слежка, он находил для этого убедительные подтверждения, но находились подтверждения и когда он хотел успокоить себя версией случайного совпадения. Надо выждать и быть предельно внимательным — решил он.

Вдруг вспомнился ему старый друг Ревзин. Суд над ним удалось отложить, а потом добиться и условного приговора. Скоро год, как он снова работает на него уже в Минске. Но то, что он помог ему тогда выкрутиться, как бы не обернулось теперь против него. «Дурак я, что полез в его дело, — думал Ростовцев. — Не понял, что это был сигнальный снаряд, разорвавшийся опасно близко». Вспомнил, как черт дернул его звонить в милицию. А разве визит к нему старшего лейтенанта, со странной фамилией Куржиямский, не был вторым снарядом, разорвавшимся уже совсем рядом? Ведь после этого в памяти милиции рядом с фамилией Ревзина неизбежно приклеилась и его фамилия! Но не мог он хладнокровно оставить Ревзина в беде, раз сам втравил его в ту незаконную покупку стройматериалов. Но зачем Ревзин сразу во всем признался? Впрочем, он сделал это только для того, чтобы в самом начале отсечь от дела его — Ростовцева. Это, конечно, благородно, но глупо — надо было сразу не признаваться и выиграть хотя бы первые две-три недели для того, чтобы дело погасить… Нет, нет, тут Ревзин явно перестарался… — Ростовцев тяжело вздохнул и подумал, что, если под ним загорится земля, он такой дым запустит, что следствие ослепнет… И хотя история Ревзина окончилась благополучно и это подтвердило его старую веру, что любой опасный узел можно развязать, все равно Ростовцеву и это воспоминание было тревожным…

Нормально работать в этот день он не смог и еле досидел до конца служебного времени. Сразу же поехал домой и укрылся в своей квартире, как

загнанный зверь в берлоге. Вечером не мог заснуть, выпил водки и уже ночью, не очень четко соображая, позвонил в Донецк Залесскому. Понял ли тот, что он хотел передать ему свою тревогу? Заснул, когда уже светало…

К этому времени Гонтарь уже выдал Залесского, признался, что розыск и первичную обработку клиентов вел под его непосредственным руководством. Но о Ростовцеве по-прежнему не говорил ни слова. Однако связь Залесского с Ростовцевым установлена. Посмотрели их анкеты, выяснилось, что они в одно и то же время работали в Ростове и, что любопытно, буквально в одни и те же дни этот город покинули. Теперь же оба входили в явно просматривавшуюся группу преступников…

Утром подполковник Любовцев и капитан Куржиямский ехали в союзную прокуратуру, где их уже ждал следователь по особо важным делам Раилев, возглавлявший теперь следствие.

Любовцев сам управлял машиной, и сидевший рядом с ним Куржиямский то и дело жал правой ногой на дно машины — ему казалось, что подполковник, быстро ведя машину, не успевает тормозить. Но он все успевал и вдруг сказал:

— А вы-то еще когда унюхали этого Ростовцева и рвались к нему, как пчела к сахару. Это у вас хорошее качество, а вот то, что тогда не смогли добить это дело, — плохо. А про Ревзина не забыли, с его дачными стройматериалами?

— Да вы же мне и не дали это дело добить, — напомнил Куржиямский.

— Про то и говорю — надо было сдвинуть и меня… У вас это есть — робеете перед начальством…

Куржиямский промолчал, только посмотрел на подполковника — да, попробуй сдвинь тебя, когда ты упрешься.

— Я другой раз сильно вам завидую, что вы имеете возможность идти по следу жулья, загонять его в угол и брать за локоток, — сказал Любовцев.

— Все равно всех к вам привозим, — засмеялся Куржиямский.

Раилев встретил их так, будто они уже многие годы работали вместе:

— Привет соратникам. Садитесь… в тесноте, да не в обиде, — смеялся он, крепко пожимая им руки.

Это был крупный и грузный пожилой мужчина, его немного отечное, как у сердечников, лицо рассекали две глубокие морщины от раскрыленных ноздрей к сильному подбородку. Большие, широко расставленные иссиня-черные глаза смотрели спокойно, внимательно и словно жили мыслью.

Выслушав их рассказ о новых данных дела, Раилев усмехнулся:

— Вот и проглядывает главный просчет организаторов этой аферы — им пришлось из-за недостатка кадров подключать к делу сопляков вроде этого Гонтаря. Я давно это наблюдаю: у них острая нехватка в проверенных и хороших специалистах. Как везде! Но нет у них пополнения из вузов…

Занялись разбором отдельных данных. Куржиямский сообщил, что Ростовцев и Залесский около десяти лет назад работали в Ростове и, судя по всему, вместе оттуда уехали.

Раилев прихлопнул большой своей ладонью по столу:

— Они вместе покинули Ростов не случайно.

— Но там они работали в разных местах, — уточнил Куржиямский.

— Сие не существенно… — рассеянно произнес Раилев, обдумывая что-то.

— Тогда надо запрашивать Ростов, — сказал Куржиямский.

— На это у нас нет времени, — все так же рассеянно отозвался Раилев и вдруг круто повернулся к Куржиямскому: — Я хочу попросить вас — слетайте в Ростов по-срочному, чтобы вылететь еще сегодня. А я позвоню туда в прокуратуру, чтобы вас встретили и помогли.

— Я поехал на аэродром… — Куржиямский встал и вышел так, будто уходил в соседнюю комнату.

В Ростове Куржиямского встретил помощник областного прокурора, который повез его с аэродрома прямо в прокуратуру.

Думалось, что Куржиямский уложится в два-три дня, а он застрял в Ростове на целую неделю. Пришлось изучать многотомное судебное дело пятилетней давности — более двадцати пухлых папок, да еще судейский секретарь писал так мелко, что от его бисерной вязи скоро начинали болеть глаза. Но он читал час за часом и делал необходимые выписки.

Главным обвиняемым на этом процессе был начальник крупного строительного управления Бутурлин. Даже по протокольной записи было видно, что человек он умный и хитрый, а жулик ловкий. Куржиямский профессионально видел недоработки следствия, которые суд исправить не смог. Дело было не только крупное, но крайне запутанное, а Бутурлин, давая показания суду, запутал его еще больше.

Имя Ростовцева упоминалось несколько раз, Залесского — дважды. В деле их связь с главным подсудимым не выглядела преступной, Бутурлин только ссылался на них в связи со сдачей различных объектов, когда ему выгодно было снять с себя ответственность

за недоделки. Но Куржиямский сразу понял, в какие преступные сделки с ними мог вступить Бутурлин. Суд до этого не добрался.

Работники местной прокуратуры согласились с соображениями Куржиямского и решили поступить так — для нового следствия запросить Бутурлина из места заключения, а Ростовцева и Залесского, после завершения следствия по взяткам в Москве, этапировать в Ростов.

На другой день Куржиямский вылетел в Москву, а там — с аэродрома прямо в союзную прокуратуру.

Выслушав его сообщение, Раилев с принятым в Ростове решением согласился и тут же сообщил Куржиямскому новость — Гонтарь на одном из допросов сообщил про какое-то грузинское дело с золотом, его втягивал в него Ростовцев, но он отказался — такой он, оказывается, хороший… Запросили Тбилиси — не проходили ли у них по какому-нибудь делу Ростовцев и Гонтарь? Вместо ответа оттуда уже на другой день прилетел работник грузинской прокуратуры — оказывается, у них Ростовцев на подозрении по крупному делу о попытке перепродажи золота, контрабандно доставленного в нашу страну, но следствие у них давно уперлось в стенку… Вот тебе, бабушка, и Юрьев день — надо распутывать и это. Хорошо еще, что примчался этот парень из Грузии — пусть он тем золотом и занимается…

Глава тридцать третья

Дело быстро разрасталось, его папки в шкафу Раилева занимали уже целую полку. По вечерам все собирались в тесном его кабинете, обсуждали итог дня. Любовцев был прав — работа в союзной прокуратуре стала для Куржиямского хорошей практической

школой. До этого он только слышал о следователе по особо важным делам, теперь он общался с ним каждый день. Во всяком деле бывают специалисты высокой квалификации, на работе которых учатся другие. Раилев был таким специалистом следственной работы. Куржиямский видел его в деле и постоянно ощущал его острый аналитический ум, эрудицию и громадный опыт. Для него, казалось, не было неведомой сферы жизни, а психология преступника никогда не вставала перед ним трудной загадкой. Меж тем ничего особенного или эффектного в его работе и по этому делу не происходило, но оно на глазах выстраивалось, приобретало четкую, если можно так сказать, конструкцию.

Все участники преступной группы установлены. Главарем ее и вдохновителем следует считать Кичигина, он преступник по своей психологии и негодяй в нравственном отношении. «Понимаете? — размышлял вслух Раилев. — Не каждый преступник непременно негодяй. А Кичигин отъявленный негодяй. Чего стоит одно то, как он обрабатывал Сараева... Остальные, конечно, тоже не ангелы, но этот — не-го-дяй».

Затем по схеме с примерно равной долей вины стоят Сараев, Ростовцев и Горяев. Но тут Раилев выделял Сараева, ибо он занимал самый высокий служебный пост. Однако Кичигин и даже Горяев совсем с ним не считались, последнее время даже подделывали его подпись на бумагах. Сараев должен это знать, чтобы яснее и больнее увидеть свое нравственное падение.

Следом в схеме Раилева занимают свои места Залесский, Лукьянчик, Гонтарь и Сандалов. Особое внимание Раилев уделял Залесскому. Он заметил более чем скромные строки в его автобиографии об участии в Великой Отечественной войне. Собственно, там относительно ясно было сказано только о его непродолжительной работе в качестве переводчика в

подмосковном лагере для немецких военнопленных. Раилев запросил Московский горвоенкомат, поскольку Залесский уволился с этой службы в Москве и должен был встать на военный учет. Пришел ответ: в одном из столичных райвоенкоматов Залесский в 1947 году был взят на учет по специальности военного переводчика, больше никаких данных не имеется. Запросили Ленинградский горвоенкомат, ведь там после института была его первая служба. Пришел ответ, что Залесский в 1940 году стал на военный учет при зачислении на штатную работу в управлении железной дороги. И — все.

Держа в руках эти два ответа, Раилев сказал:

— Между двумя этими справками — я уверен — скрыто нечто очень важное в судьбе этого типа, кто будет его допрашивать, жмите сюда, не ошибетесь…

Занялся однажды Раилев и эпизодом с грузинским золотом, о котором все-таки дал показания Гонтарь, назвав при этом и фамилию Ростовцева; увидев, что влип прочно, он начинал разматываться…

На очередном итоговом разговоре Раилев спросил у следователя из Грузии:

— Что у вас там?

— Ничего обнадеживающего, — ответил тот.

— То золото кто-нибудь реально видел?

— Мы знаем только, что оно было направлено в Москву к Ростовцеву.

— Что есть еще?

— Мы нашли чемодан, который побывал у Ростовцева и вернулся в Тбилиси. В нем оказались книги.

Раилев задумался:

— Если допустить, что золото подменил книгами Ростовцев, ваши давно должны были его зарезать. — И вдруг оживился: — Знаете что? Обычно этот товар попадал в Азербайджан, но этот маршрут провалился. И

ваши золотых дел мастера при помощи чемодана с книгами проверяли новый маршрут, новую цепочку. И обожглись, попав под наблюдение угрозыска. Вот и все…

Версия Раилева впоследствии подтвердилась.

Сейчас главной задачей было раскрыть все преступные сделки преступников и по каждой собрать улики. Дававших взятки было много. Надо было допросить несколько сот человек, живущих в самых разных районах страны. И хотя все участники преступной группы были установлены, нужно было провести кропотливую работу по собиранию улик на каждого, прежде чем все они будут арестованы.

Всем работы хватало, и конца ей не было видно. Нужно было получить и зафиксировать показания по каждой взятке, допросить и того, кто взятку брал, и того, кто ту взятку давал, провести очные ставки. А это значит, что каждого взяткодателя надо было вызвать в Москву, устроить его с жильем, причем всех сразу не вызовешь, а растягивать их приезды во времени нельзя — следствие должно быть закончено в назначенный срок. Между тем каждый взяткодатель, пока свидетель, — это человек со всеми его сложностями, со своим характером, нравственными убеждениями и со своими хитростями. Но каким бы он ни предстал перед следователем, как бы ни мучил его своей изворотливостью во лжи, из него необходимо подготовить добросовестного участника будущего судебного процесса. А ведь при этом каждый знал, что скамьи подсудимых заслуживает и он.

Перед столом Куржиямского сидел свидетель Кастерин, вызванный с юга страны, где он работал на большой спецавтобазе, числился там заместителем главного инженера, а по делам, которыми занимался,

фактически замещал директора. Было ему лет сорок пять. Мужчина сильный, плечи широченные, массивные, только ростом не вышел: как встанет из-за стола, фигура у него — треугольник, острым углом вниз. Характера — на четверых. Второй день бьется с ним Куржиямский — ни с места, а он один из самых крупных взяткодателей, от него шайка Кичигина получила в общей сложности более пяти тысяч рублей. Кастерин твердил: «Никаких взяток не давал, все мне было отпущено по закону».

Он говорил твердо, металлическим голосом, но из-под большого выпуклого лба как бы сплющенные серые глаза тревожно ощупывали Куржиямского…

Все же маленький шажок вперед сделан — впервые свидетель признал возможность незаконных сделок, но, конечно, не с ним, а если и с ним, то беззаконность была ему неизвестна. Куржиямский отыскал на столе нужную бумажку, положил ее перед собой, прикрыл рукой — спросил:

— Скажите, какое недоразумение случилось между вами и Кичигиным летом прошлого года?

Кастерин сощурился, весь лоб в маленьких складочках — так он напрягается, будто хочет вспомнить, но увы:

— Нет, ничего такого у меня с ним не было.

— Вспомните получше… лето, а точнее — май месяц…

Кастерин опять сморщил лоб, не ответил. Куржиямский ждал, отметив про себя, что сейчас Кастерин впервые не возражал против упоминания фамилии Кичигина, до этого он все время называл не фамилии, а только должности и названия главка или отдела и требовал, чтобы так это было отражено и в протоколе. Хитрость не ахти какая — он хотел этим подчеркнуть, что у него не было никаких личных

отношений с работниками министерства и лично он их никого не знал.

— Нет, ничего вспомнить не могу… — тяжело вздохнул Кастерин.

Куржиямский протянул ему приготовленный листок:

— Это ваш почерк?

Кастерин потянулся глазами за тотчас убранной бумагой, хотел не только почерк узнать, но и смысл уловить.

— Вроде мой… — ответил он и, помолчав, добавил: — А может, и чей еще, похожий…

Будто не слыша его последних слов, Куржиямский сказал:

— Это вы пишете Кичигину, и тут есть такое место… вот: «То, что случилось, меня касаться не должно, это там ваши дела, что же касается меня, то или вы делаете для меня то, что причитается, или мы будем ссориться всерьез…» Не скажете, о чем это вы тут так сердито пишете?

Кастерин круто повел головой:

— У меня большое сомнение, что это пишу я, ибо не помню и повода, чтоб писать такое…

— Хорошо, я вам помогу, напомню. — Куржиямский отыскал на столе еще какую-то бумагу. — Дело было так: вы договорились в Донецке с Залесским, что он обеспечит вашу автобазу пятнадцатью новыми двигателями ГАЗ-51, за это вы тогда дали ему взятку в размере одна тысяча пятьсот рублей, по уже известной вам в то время таксе взяточников — сотня за двигатель. Но затем этот номер не прошел: на Луговском заводе автопогрузчиков двигатели вам не дали, оказалось, что никакого излишка у них нет. Вы — к Залесскому: как же так? Время-то не терпит! А он посоветовал вам написать в Москву Кичигину, но по его домашнему адресу, и дал вам этот адрес. Вы написали, а Кичигин молчит. Тогда вы ему телеграммку уже в министерство.

А он молчит. Тогда вы поехали в Москву, а он вас не принимает, через секретаря ответил — очень занят. Тогда вы взяли у секретаря листик бумаги — вот этот — и написали на нем записку, секретарь дала вам и конверт — вот этот — видите? Он фирменный. И тут же секретарь вашу записку отнесла в кабине… Осерчали вы не без основания — ну как же, что это еще за номера? Получил полторы тысячи, и привет, никаких двигателей? Вы предупредили секретаря, что будете ждать ответа сейчас же. И вскоре из кабинета в приемную вышел Кичигин. Вы прошли в коридор, и он спросил у вас: «Устроят ли вас двигатели ЗИЛ-350/я?» Вы даже обрадовались — эти движки вам были нужны еще больше и их еще труднее было достать. Кичигин сказал вам: «Получите пять штук». Вы пожали ему руку и поблагодарили. Так все было? Что молчите? И не думайте, пожалуйста, что я волшебник, который невидимкой стоял у вас за спиной. И не надеетесь ли, что вы только свидетель? Напрасно, Кастерин. Может быть, что после очных ставок я предъявлю вам обвинение, в том числе и за дачу ложных показаний.

Теперь Кастерин молчит по-другому — низко склонил голову, не смотрит на следователя, руки крепко сцеплены и сдавлены коленями.

— Ну, Кастерин, отвечайте, правильно я нарисовал вам картину с этой вашей запиской? — легко спрашивает Куржиямский, но только он знает, каких трудов ему стоило выстроить сюжет по этой записке.

— В самом существе правильно, — негромко отвечает Кастерин. — Но никакой взятки не было, просто ими было обещано и обещание свое они не выполнили, а я не люблю, когда зря болтают… вот и написал ему…

.— А почему это Кичигин с Залесским вдруг обещают вам двигатели, принадлежащие заводу? Во

имя чего они идут на такое грубое нарушение существующего государственного порядка?

Кастерин качнулся на стуле точно от приступа боли и сказал тихо, с отчаянием:

— У вас тут и допустить не могут, что между людьми могут быть просто хорошие отношения.

— Настолько хорошие, — подхватил Куржиямский, — что Кичигин не твердо помнит ваше имя и отчество? Кстати, а как имя и отчество его?

Кастерин молчал, рассерженно смотрел в сторону.

— Ах да, я же забыл, что вы никого по именам не знали, только по названиям отделов и главков! А про хорошие отношения вы просто пошутили… — На языке Куржиямского такой допрос назывался расшатывать у подследственного «гнилой зуб»…

В комнату вошел, заполнив ее собой и тяжелым дыханием, Раилев, сел рядом с Куржиямским, заглянул в протокол допроса:

— Что это у вас так негусто? На чем застопорило?

— Почему-то свидетель Кастерин решил, что мы ничего не знаем, и даже утверждает, что взяток он никому не давал.

— Как же так? — наивно удивился Раилев. — А за что же Кичигин и его сообщники несколько раз подряд, нарушали государственный порядок — что всегда очень опасно, — чтобы одарить вас неплановой техникой? За что?

Кастерин молчал.

— Он уверяет, что они делали это из доброго к нему отношения, даже из дружбы, но Кичигин не знает его имени и отчества, а он — Кичигина. Бооооольшие друзья! — усмехнулся Куржиямский.

— Когда вы делаете им очные ставки? — спросил Раилев.

— На той неделе.

— Кастерин, сегодня вы больше ничего не скажете?

— Почему? Я говорю, но вашего следователя это не устраивает, — проворчал Кастерин.

— Тогда скажите мне... — Раилев откинул свое грузное тело на скрипнувшую спинку стула. — Где вы брали деньги, чтобы давать взятки? Пять тысяч рублей — деньги не малые. Из кассы автобазы?

Кастерин сердито посмотрел на Раилева:

— Из кассы автобазы я никогда не брал ни копейки!

— Значит, на взятки вы расходовали свои личные деньги?

Кастерин не отвечал...

— Из кассы, говорите, не брали, и я почему-то вам верю, — продолжал Раилев. — Но тогда откуда те деньги?

Кастерин молчал, отвернувшись в сторону.

Раилев вынул из кармана бумагу и начал читать медленно и монотонно:

— «...Тогда Кастерин предложил мне на мою машину новый двигатель ЗИЛ, но сказал, что за это надо дать 150 рублей. Я посоветовался с женой и с радостью принес эти деньги — простои из-за старого мотора обходятся мне куда дороже. Насколько мне известно, так же, как и я, поступили водители нашей автобазы Барыкин И. Т. и Хитров П. П.». Подпись: «Путивлин Сергей Дмитриевич, шофер 1 класса...» Это, Кастерин, тоже неправда?

— Это правда, — решительно произнес Кастерин и резко выпрямился.

— Ну, вот видите, как вам сразу легче стало, легче и нам, — мягко улыбнулся Раилев. — А то я недоумевал, ломал голову — неужели человек так любит свое производство, что жертвует на него свои личные сбережения? Согласитесь, что это невероятно!

— Дело свое, или, как вы говорите, производство, я действительно люблю, из-за этого и на позор пошел... — На лбу у Кастерина выступили крупные капли пота.

— Ну, вот и прекрасно, Кастерин. — Раилев встал. — Мой вам совет — не крутите больше, не надо, ваше положение не такое чистое, чтобы крутить, можно сильно себе повредить. Понимаете, Кастерин? Помогите нам уличить ворье.

Кастерин кивнул, когда Раилев уже направлялся к двери.

— Ну, давайте, Кастерин, сначала… — Куржиямский пододвинул к себе протокол. — Кто вас свел с Залесским и Кичигиным?

Кастерин тщательно вытер платком со лба пот и начал рассказывать:

— Сперва ко мне на автобазу приезжал непонятный типчик по фамилии Гонтарь, он сказал, что все мне необходимое можно достать, но для этого надо съездить в Донецкую «Сельхозтехнику» к работающему там Залесскому. Залесский тот вожжу тянуть не стал, попросил меня написать заявку на все, что мне нужно, сказал, во что мне это обойдется сверх официальной цены, я дал ему деньги и впоследствии получил все, что заказал.

— Все же рискованно было давать деньги под одно обещание, — заметил Куржиямский, делая запись в протоколе.

— Нет. Я сразу увидел, что имею дело с человеком, который не обманет. За последнее время появились такие — государство он обманет и глазом не моргнет, но человека, который дает ему деньги, никогда… Так и этот Залесский, он же сразу при мне еще получил по телефону Москву и договорился с Кичигиным по моему списку, минуты не поговорил, и все в порядке…

— А когда вы сами увидели Кичигина первый раз?

— Всего-то минуту его и видел, как он меня в коридор вывел, а я выложил ему свои претензии.

— Ну, мы добредем в свое время и до этого, а сейчас давайте по порядку — что было после той первой

сделки, проведенной вами через Залесского?

— Значит, так…

Шла работа, и это была работа всего с одним взяткодателем. С одним из многих!..

Глава тридцать четвертая

Последнее время так получилось, что Куржиямский работал вместе с младшим советником юстиции Владковым. Он был вызван в Москву из Херсона, где успешно и быстро провел следствие по этому делу, установил более десятка взяткодателей и сам вышел на Гонтаря, а затем и на Залесского. Раилев включил его в свою группу. Ему и Куржиямскому дали в прокуратуре комнатку, и они работали там за одним столом. Были они однолетками, одинаково влюбленными в свое дело, однако характеры у них были непохожие. Куржиямский человек спокойный, медлительный, решения с лёта не принимает. А Владкову терпения как раз и не хватало. Его острый, стремительный ум выдвигал версию за версией и нередко уводил от истины. Обнаружив это, он смеялся:

— Стоп, не туда заехал…

И тут же его мысль устремлялась по новому пути. Но горе преступнику, если у него во время допроса создалось впечатление, что следователь ему попался без царя в голове: не успеет он подумать, нельзя ли этим воспользоваться, как окажется припертым к стене. Кроме всего прочего, у Владкова был удивительный нюх на ложь. Преступник только начнет свои хитрые рассуждения во спасение, а Владков уже останавливает его:

— Зря время тратите, давайте правду…

Куржиямский быстро с ним подружился.

В Москве Владкова поселили в какой-то служебной гостинице у черта на куличках, в один конец на дорогу уходило больше часа, и последнее время довольно часто, после того как они допоздна засиживались на работе, Владков ночевал у Куржиямских. Жена Куржиямского Лена не только не возражала против этого, но сама напоминала мужу, если Владков долго у них не был. Ее трогало, как он тосковал о своих оставленных в Херсоне жене и дочурке, она говаривала своему мужу: «Учись, как человек предан семье…»

Но он становился неузнаваем, когда брался за дело, особенно когда вел допрос, у него даже лицо другим становилось, но, может, это казалось потому, что, допрашивая, он зачем-то снимал очки, без которых его глаза становились светлее и совсем не добрыми.

Сегодня они сговорились, что ночевать Владков будет у Куржиямских, но раньше им нужно было закончить работу над проектом служебной записки на имя заместителя Генерального Прокурора, которого особо тревожило, что жулики смогли пролезть в центральное учреждение, — это надо было тщательно исследовать с тем, чтобы разоблачение преступников стало операцией радикальной, без метастазов впоследствии.

Владков и Куржиямский очень волновались, что участвуют в составлении документа, который будет читать столь высокое начальство. Каждую фразу по нескольку раз переписывали, вычеркивая и заменяя неточные слова. Главное, чтобы не произошло невольного, хотя бы малейшего, преувеличения результатов следствия. В этом они буквально держали друг друга за руку и потому крепко завязли на фразе, которая должна была оценить сегодняшнее положение следствия.

Спорили, спорили, и вдруг Владков шумно вздохнул и, глядя куда-то мимо Куржиямского, сказал

мечтательно:

— Скоро наступит день, когда Раилев скажет: Владков, летите к себе на юг, заберите в Донецке Залесского и везите его сюда. И тут уж я, хоть судите меня, а суточки вырву, чтобы заглянуть в Херсон, побыть хоть денек с Аленкой и Катюхой…

Они помолчали и опять с новым жаром заспорили о той фразе.

Вдруг бесшумно раскрылась дверь, и в комнату вошел, сразу заполнив ее, высокий крупный Раилев:

— Вечер добрый, ребятки… — Он протиснулся за стол. — Ну-ка, покажите ваше сочинение.

— Да это еще сугубый черновик, рано смотреть, — начал возражать Владков, но Раилев молча протянул руку.

Он читал несколько минут, покачивал головой, а потом сказал:

— Замечу сразу — вот тут вы что-то намудрили лишнего. Никаких специальных фильтров для обнаружения жуликов нам не придумать. Вы, Куржиямский, помните — рассказывали о вашей беседе с секретарем партбюро главка Сараева? И он сказал вам, что они свою главную задачу видят в воспитании у каждого работника чувства острой ответственности за работу на своем месте. Вот это и есть главный фильтр. И самый надежный. Но легко сказать — воспитать чувство ответственности у каждого. Осуществить это трудно. А вы еще говорили, что секретарь партбюро партийным работником стал недавно. Может быть, это дело поможет ему лучше понять всю сложность этой задачи, решать которую надо ежедневно. Я подумаю, как это изложить в записке покороче и поточнее. Ну, а вам пора отдохнуть, перенапрягать мозги — занятие опасное.

— У нас с Куржиямским мозги железные, — рассмеялся Владков.

— Не хвалитесь. Наша работа особая — извилина за извилину заскочить может запросто, — улыбнулся Раилев. — Недавно в троллейбусе — у меня с собой не было документов — понадобилось разменять рубль. Пассажиров всего четверо, и никто разменять не может. Я к водителю, но и у того тоже мелочи нет. Стою и думаю, но не о том, как мне быть без билета, а о том, почему водителю может быть выгодно не иметь мелочи? И объяснения этому найти не могу. А стою, думаю... Водитель посмотрел на меня, спрашивает: «Гражданин, вам что — плохо?» А мне и впрямь плохо...

Раилев весело посмотрел на молодых следователей:

— А в чем моя ошибка в троллейбусе — понимаете? Элементарнейшая ошибка! Я зацепился за ситуацию, минуя человека, и уже стал плохо думать о водителе, а он, может быть, честнейший человек. В нашем деле абсолютно всё — че-ло-век... Можно придумать шикарнейшую версию. Шикарнейшую! А потом появляется перед вами человек, которого, вы искусно вплели в свою версию, но по всем своим внутренним, а то и внешним параметрам человек этот в вашу версию не влезает. Вот вы, Владков, мне рассказывали, мастер быстро мастерить версии.

— Грешен — люблю, — улыбнулся Владков, — но частенько хватаю себя за извилины и говорю: «Стоп, не туда заехал, давай другую». У меня был случай — такую великолепную версию построил, пока ко мне из другого города везли преступника. Привозят, а у него — одна рука. И версия — в прах.

— Вот-вот, — подхватил Раилев. — Мой учитель по следственному делу не уставал говорить: вглядывайтесь внимательно и в Уголовный кодекс, и в глаза сидящего перед вами человека... Всегда помню одну свою историю военного времени. Я работал следователем в военной прокуратуре. И вот однажды доставляют с фронта ко мне на допрос майора. Была

уже глубокая осень сорок первого. Начал этот майор войну почти у самой западной границы. Был дважды ранен, ко мне его привезли с рукой на перевязи. Ну вот, а где-то в районе Ржева он проявил прямо патологическую трусость, которая стоила крови. Он не отпирался, твердил: «Позор… позор…» Лицо красивое, дергается от нервного тика, сильно поседевшие волосы, а ему и сорока нет. Смотрю на него и не могу представить себе, что его расстреляют. А по тем временам ничего другого его не ждало, и всей работы мне — на час.

Начал допрашивать, так он то отвечает не по смыслу вопроса, а то вообще отвечать не хочет — не тяните, говорит, за свою трусость позорную я к расплате готов. Все ж допрос я постепенно наладил. Но как дойдем до того дня под Ржевом, у него точно выключается и мозг, и память, смотрит остановившимися глазами поверх меня и молчит. Начинаю ему напоминать, как было дело, а он только дергается, всем телом и ни слова. Так я промучился с ним часа четыре, пока у меня не возникла мысль, что у него неладно с рассудком. Первое-то ранение у него было в голову — задело осколком и контузило, и было это за месяц до Ржева, а к медицине он не обращался. И я отправил его на медицинское освидетельствование. Неделя не прошла — сообщают из госпиталя, что у него нарушение рассудка на почве контузии, судить нельзя… — Раилев помолчал, улыбнулся и добавил: — Кончил он войну генералом, Героем Советского Союза. Мы с ним и сейчас дружим…

Куржиямский и Владков смотрели на Раилева расширенными глазами.

Раилев помолчал и спросил:

— Вы задумывались, в чем своеобразие этого дела? Мы сталкиваемся со взяткой, когда почти на каждую есть, так сказать, официальное подтверждение в виде

противозаконных распоряжений. И в отношении взяткодателей мы тоже уже получили немало официальных подтверждений — они-то деньги брали, как правило, из колхозной или какой иной кассы, только проводили это по расходам, которых на самом деле не было. Железные улики, ребятки. Последнее, что хочу сообщить вам, — принято решение произвести аресты. И вы, Владков, завтра же вылетайте в Донецк брать Залесского. Так что вам самое время пойти отдохнуть…

Раилев улыбнулся им обоим и вышел из кабинета — грузный, ссутулившийся, и впервые Куржиямский, глядя ему вслед, подумал, что он уже старый и, наверно, больной человек.

— Ну, что я тебе говорил? — радостно воскликнул Владков, и лицо его светилось. — На горизонте мое свидание с Аленкой и Катюхой!

Глава тридцать пятая

Их арестовали в течение суток.

К Ростовцеву приехали домой на рассвете. Он сам открыл дверь и конечно же сразу все понял. В квартиру вошли Куржиямский, инспектор оперативно-технического отдела, участковый милиционер и двое понятых.

Постановления об аресте и обыске Ростовцев читал так долго, что Куржиямский не выдержал:

— Что-нибудь непонятно?

Ростовцев поднял на него взгляд и замер в напряжении.

— Не истязайте память, — помог ему Куржиямский. — Я приходил к вам на работу, когда вы интересовались делом своего давнего сообщника Ревзина. О том деле в свой час мы с вами еще

поговорим, а пока присядьте, пожалуйста, и распишитесь вот тут…

Ростовцев, не глядя, расписался.

— Где ваша жена?

— Вчера вечером уехала в Харьков, к родителям.

— Для ускорения обыска — где вы храните деньги, ценности?

— Никаких тайников у меня нет… и нет кладов.

— Все равно, Ростовцев, найдем, — тихо сказал Куржиямский и повернулся к инспектору, который уже вынимал из чемоданчика и раскладывал на столе свой поисковый инструментарий. — Приступайте…

Минут десять прошло в полной тишине, только слышно было, как попискивает в наушниках у инспектора, просматривавшего стену, да перешептывались стоявшие у дверей понятые.

Ростовцев сидел, откинувшись на спинку стула, и, положив руку на стол, механически барабанил пальцами. Халат у него распахнулся, открыв грудь, поросшую седыми волосами. Куржиямского его волосатая грудь почему-то раздражала, ему хотелось попросить его подобрать полы халата. Удержался, авось сам заметит…

Ростовцев запахнул халат, затянул потуже пояс. Постепенно шок проходил, и мозг его начинал работать все яснее. Везение кончилось… Везение кончилось — привязалась эта простая и, в общем, соответствующая истине мысль. Ему действительно же везло, и не один год.

А это последнее предприятие ему не нравилось с самого начала, когда Кичигин самовольно сделал себя главным в группе и чуть не объявил своей идею, которую он, Ростовцев, преподнес ему однажды на блюдечке. Но без Кичигина, надо признать, это дело быстро бы заглохло… хотя все время Ростовцеву казалось, что дело ведется неправильно — Кичигин,

увидев, как легко идут в руки шалые деньги, дал волю своей жадности и перестал думать об осторожности. И вот результат. Приведется, так он выскажет это ему в глаза... Значит, тогда ему со «скорой помощью» не померещилось. А он в тот день все-таки уговорил себя, что то было случайное совпадение. Идиот. Можно было бы часть денег переправить с женой в Харьков. Но, может быть, они ничего не найдут, в свое время тайник он своими руками сделал на совесть, и знает о нем только он да жена.

Впрочем, что ему теперь тайник? Разве жене пригодится — будет на что посылать ему посылки. И тут он вспомнил полученное месяц назад письмо Глинкина из колонии строгого режима — не письмо, а стон со слезами. Умоляет подумать о нем... Даст бог, окажемся вместе. А подумать о нас уже будет некому... некому...

Тайник нашли спустя два с половиной часа, когда инспектор перешел со своей техникой в кухню. И только начал он там работать, как тут же позвал участкового помочь ему перевернуть тяжелый стол, в четырех ножках которого и был устроен тайник. В кухню позвали Ростовцева и понятых. Вскрывали тайник уже при них...

— Пользуйтесь... пользуйтесь, — глупо бормотал Ростовцев, и в это время ему казалось, что его покидают последние силы, а может, и жизнь. В глазах у него потемнело.

С Кичигиным произошла накладка. Знали, что он в пятницу оформил документы на командировку во Владимир и на работе всем говорил, что уедет туда на машине утром в понедельник.

Приехали за ним рано утром в субботу, а его нет дома. Оказывается, он еще в пятницу вечером выехал во Владимир, сказав дома, что в субботу у него назначено там совещание на заводе. Всё это узнали от

его жены, которая открыла им дверь и пригласила зайти. Странное дело — она же не могла не догадываться, зачем понадобился милиции ее муж, но была совершенно спокойна и даже чуть насмешлива. Все-таки, скорей всего, она все знала…

На квартире Кичигина остался участковый, а Зарапин со следователем прокуратуры Бориным на оперативной машине поехали во Владимир. В девять утра они уже были там…

Постучались в номер-«люкс» местной гостиницы — ни ответа ни привета. Зарапин позвонил от дежурной по этажу в номер — трубку взял Кичигин.

— В чем дело?

— Вы Кичигин?

— Кичигин, Кичигин, а в чем дело? Я сегодня, как и все, не работаю, дайте поспать.

— Откройте, пожалуйста, мы из милиции.

Длинная пауза, во время которой Зарапин отчетливо слышал участившееся дыхание, и затем Кичигин положил трубку.

Наконец в двери щелкнул ключ, и она приоткрылась. Зарапин нажал на нее и раскрыл полностью. Он и Борин, отстранив Кичигина, вошли в номер. Ничего не разглядеть. Зарапин рывком раскрыл шторы. Свет обнажил неприглядное: грязный стол после пьяного ужина, опрокинутая бутылка, под столом разбитая тарелка, вся скатерть в винных пятнах.

— Красиво гуляли… — не удержался Зарапин.

Кичигин отвернулся. У него самого видик был отчаянный — рубашку напялить успел, но не застегнул, брюки натянул, а подтяжки болтаются как хвост, босой, волосы на голове перьями…

Из соседней комнаты послышался стон.

— Кто там? — спросил Борин. — Зарапин, посмотрите…

На постели, укрывшись с головой, кто-то спал, постанывая. По вещам, разбросанным у постели, Зарапин понял — женщина.

— Там женщина спит, — доложил он Борину.

— По-моему, вы вторгаетесь в мою личную жизнь, которую охраняет конституция, не так ли? — громко и с вызовом проговорил Кичигин. — Прошу внести мой протест в протокол.

— Кто там, в постели? — тихо спросил Борин.

— Там женщина… — Кичигин тоже безотчетно перешел на тихий голос, — случайная для меня женщина… просил бы ее не впутывать.

— Ну вот, а сами требуете — в протокол…

Женщина оказалась совсем не случайной — он привез ее сюда из Москвы, и была она его давней любовницей и артисткой эстрады, чье пение, впрочем, было известно только посетителям второстепенных московских ресторанов. Сейчас она никак не могла протрезвиться, явно не понимала, что происходит, пыталась обнимать Зарапина, а в ответ на его вопросы только хихикала… Ее оставили пока в покое. Борин обратился к Кичигину:

— Где вы храните деньги и ценности?

— Все в ней, — рассмеялся Кичигин, показывая на свою артистку.

— Что? Что? — вдруг протрезвела та. — Ты это брось, копеечник.

— Так где все-таки?

— Дома. Где же еще? — тихо ответил Кичигин.

— А точнее?

Кичигин молчал. Странное дело — сколько раз он представлял себе, как все это будет происходить, и видел себя то гордо молчащим, то ироничным, а то и беспощадным обличителем и находил при этом какие-то точные, весомые слова. А сейчас, когда все это происходило реально, в виски ему била одна

бессильная мысль: раскаяние… раскаяние… Как будто в этом были сейчас все его надежды на что-то лучшее.

— Слышите, Кичигин? Где у вас дома тайник?

Кичигин на мгновение задумался и, махнув рукой, произнес:

— Ни мне, ни другим… Но прошу записать — я сам указал. Значит, так: дома в моей квартире стоит письменный стол. Из тумбы надо вынуть все ящики, и тогда можно влезть внутрь тумбы и добраться до тайника на задней стенке. А потом то же самое — в тумбе другой. Всё. Пишите…

— И ценности там?

— Я верю в советские деньги, — ответил Кичигин. — А ценности разве что у жены. Но она, учтите, сама тоже прилично зарабатывает…

Задерживаться во Владимире не следовало. Певичке вручили повестку с вызовом в прокуратуру, а Кичигина повезли в машине. Всю дорогу он молчал, закрыв глаза, может быть даже спал. Он сейчас не ощущал уже ни горя, ни досады, ни даже мелкого огорчения. Может, так было от тяжелого похмелья, сковавшего его мозг? Несколько раз у него появлялась одна и та же мысль — как было бы хорошо, если бы не было никаких допросов и судов, а просто кто-то сказал: «Этому десять лет» — и сразу туда уехать…

Потом его стало тошнить, он жестами утопающего стал просить остановить машину и, вывалившись из нее на обочине, изверг из себя вчерашний ужин. Выматерился. Извинился. И снова залез в машину. В голове у него стало чуть посветлее…

Когда подъезжали к Москве, спросил:

— Нельзя ли не заезжать ко мне домой? Я не хотел бы встречаться сейчас с женой…

— Все-таки придется… и она все знает.

Кичигин снова закрыл глаза — теперь он думал о том, что ему предстоит многие годы прожить в неволе и

что выйдет он на свободу уже стариком, который никому не будет нужен. И ему хотелось плакать…

Сараев приходу оперативников вроде бы даже обрадовался. Вышедшей на шум жене сказал легко:

— Это то, что я давеча тебе говорил…

Жена повернулась и скрылась в спальне.

Позже, на допросе, Сараев расскажет, как он накануне ареста впервые поведал жене о своих темных делах и как она тихо плакала и все спрашивала:

— Зачем ты это сделал? Зачем?

— Зачем-зачем? — рассердился он. — Ты забыла, сколько мы суем денег нашим детям? А на что ты сшила себе норковую шубу? А эти вечные профессора с гонораром не ниже четвертного? А дача?

И жена спрашивать перестала… Только умоляла больше не получать эти деньги.

— Попробую… — ответил он, думая, что действительно надо кончать. А спустя несколько часов он уже открывал дверь оперативникам.

…Горяева брали на даче. Здесь тоже все произошло гладко.

Горяев давно рассказал жене, что за деньги он довольно часто приносит домой. Разговор состоялся у них однажды утром перед отъездом на работу.

— А это не опасно? — спросила Наташа, не отвернувшись от зеркала, перед которым она делала утренний намаз, и даже не стараясь увидеть его хотя бы в зеркале.

— А разве не опасно ходить по улице? — рассмеялся он.

Сегодня ночью Горяев спал беспробудно. Шум возле дачи первой услышала Наташа.

Растолкала мужа:

— Слушай, к нам кто-то приехал. Не твои соратнички?

Горяев с трудом проснулся, вылез из постели, подошел к окну. У калитки смутно виделись легковые машины, и пятеро незнакомых мужчин гуськом шли к даче.

Энергичный стук в дверь. Голос тещи из ее комнаты наверху:

— Вы слышите там? Стучат!

Горяев не в силах был сделать шага, плохо соображал, но, когда стук, еще более сильный, повторился, он оглянулся на Наташу — она лежала, укрывшись с головой.

И тогда он пошел открывать дверь.

— Вы Горяев?

— Да.

— Евгений Максимович?

— Да.

— Вот постановление прокуратуры о вашем аресте и обыске.

Горяев прочитал бумажки, и его сразу скосила полная апатия — будто кто-то за него все уже решил и ему остается только подчиниться.

Наташа вышла в столовую в пестром халате, жмурилась от яркого света:

— Что тут происходит?

Ей объяснили.

— Скажите на милость, как все грозно... — отозвалась она и села к столу. — Что требуется от меня?

— Пока ничего.

Денежный запас Горяев отдал сам — сходил за ним в спальню и положил сверток на стол. Сильно при этом сморщился от головной боли, а можно было подумать — от горя. В общем, часа за два оперативники все, что нужно, сделали и повели Горяева в машину. И в это время вынырнула теща — в ярком кимоно с

растрепанными седыми волосами она выглядела несколько комично.

Проводив остолбенелым взглядом процессию, которую открывал ее зять, она крикнула:

— Натали, что это значит?

— Евгений арестован, — жестко ответила дочь.

И вдруг теща неожиданно резко побежала вслед за процессией, настигла ее уже у калитки и там заорала тонким въедливым голосом:

— Негодяй! Негодяй! Ты погубил мою дочь! Осрамил святое имя ее отца! Нееегодяяяяй! — выла она, потрясая в воздухе костлявыми руками, не видя, что милицейские машины уже уехали…

Залесского арестовал в Донецке Владков. В день отлета туда он узнал от Раилева новость, которую поначалу не соображал, как расценивать. Вручив ему командировочное удостоверение, Раилев сказал:

— Я вошел к руководству с предложением перевести вас на постоянную работу к нам. Молодые кадры нам нужны как воздух, — добавил он с улыбкой, но, увидев растерянное лицо следователя, спросил: — Вы что, не хотите?

— Нет, что вы… Спасибо, конечно… — пробормотал Владков.

— Тогда все в порядке. Доставите сюда Залесского, закончим это дело, и съездите за семьей. Счастливого пути…

Владков до ареста Залесского на несколько часов заскочил в свой Херсон. Объявил жене, что им придется перебираться в Москву. У жены эта новость радости не вызвала — она родилась и росла в этом городе, здесь жили ее старики, для нее переезд в Москву означал разлуку с очень многим и дорогим. Она даже заплакала, и Владков не знал, что делать. Не подумав, пообещал ей, что вернется в Москву и откажется от назначения,

но через минуту знал, что сделать это не сможет. В общем, эти часы дома стали для него не радостью, а мукой, только ничего не ведающая дочурка Катюха не отходила от него ни на минуту, согревала его душу своим нежным теплом, развлекала бесчисленными вопросами — почему да отчего…

А спустя несколько часов, уже вечером, Владков, в сопровождении работника милиции и понятых, входил в квартиру Залесского — злой и раздраженный, будто этот Залесский был виноват в том, что отяготило теперь его жизнь.

Дверь открыла дебелая, все еще красивая жена Залесского.

— Пожалуйста, проходите… проходите, — повторяла она с заметным прибалтийским акцентом и с такой безмятежной интонацией, будто встречала званых гостей.

Залесский сидел за столом — они ужинали. Владков представился и положил перед ним на стол постановление об аресте и обыске.

— Все ясно и так, — сказал Залесский, не читая, и встал. — Это не первое и не последнее недоразумение в практике наших карательных органов. — И без паузы: — Что я могу с собой взять?

— Мы завтра с вами улетим в Москву, так что берите, учитывая это обстоятельство, — раздраженно ответил Владков. — Где у вас телефон?

— Пожалуйста, прошу вас, — все с той же безмятежной интонацией жена Залесского пригласила его в соседнюю комнату.

Владков позвонил в ОБХСС — почему до сих пор нет людей для производства обыска? Оказалось, они только что выехали…

— Могу я пройти в свой кабинет, мне нужно взять там документы, которые потребуются? — все еще рассерженно спросил Залесский.

— Все ваши документы вместе с вами проследуют в Москву, — ответил Владков, осматривая небогатую и стандартную обстановку столовой.

— Ожидали увидеть здесь кожу и бархат? — ерничал Залесский.

Приехали работники ОБХСС, и начался обыск. По опыту зная, что он может продолжаться многие часы, Владков сел к столу напротив Залесского и бесцеремонно всматривался в него. А тот с наглым прищуром смотрел на Владкова. И спросил:

— Не можете ли вы, хотя бы в двух словах, сказать, в чем я провинился?

— В двух? Пожалуйста. Вы подозреваетесь в совершении уголовного преступления, и не одного, но уже сейчас решено взять вас под стражу в интересах следствия и выяснения истины. Лишним количеством слов я вас не утомил?

— Нисколько, и я готов на эту тему поговорить…

— В свое время, позже, — бросил ему в лицо Владков.

Меж тем обыск длился не очень долго — тайник был обнаружен над проходом в кухню, он был устроен в утолщенных дверцах антресолей. Там был скрыт узкий пенал, наполненный драгоценными камнями. И вот только тогда жена Залесского зарыдала…

Залесский больше не произносил ни слова. Только на другой день, когда Владков и он уселись рядом в кресла самолета, он сказал:

— Единственно, чего хочу, чтобы этот самолет разбился.

Владков промолчал и продолжал методически пристегиваться ремнем к сиденью. Занялся этим и Залесский…

Последними были арестованы Лукьянчик и Сандалов.

Уже арестованный Ростовцев подписал им письма, приглашавшие приехать в Москву на три дня. Они ехали вместе. Сандалов был встревожен — получив письмо Ростовцева, он пытался дозвониться до него, но тщетно. Дело в том, что раньше Ростовцев высказывал желание, чтобы Сандалов купил ему в Риге какой-то транзисторный приемник, обещал прислать деньги, но не прислал. Теперь Сандалов хотел везти ему приемник, но запамятовал, как он назывался. Он звонил Ростовцеву на службу и домой, утром, днем и поздно вечером, и никто не отзывался. Это его встревожило.

Лукьянчик же ехал в Москву в совершенно безмятежном настроении, за последнее время он поверил в то, что с ним больше никаких неприятностей произойти не может. Главное — не лезть людям в глаза, не занимать никаких заметных постов. Нужна вот такая работа, как сейчас, — и особых усилий не требует, и дает приличные деньги, он даже посылает каждый месяц своей жене-красавице, живущей на Севере с родителями. То, что она далеко от него, — единственная его мука, и в недалеком будущем он собирался покинуть Прибалтику — тесть обещал устроить его на тихую и хлебную работу там, у них, на Севере. Скорей бы…

В пути Лукьянчик был весел и разговорчив, чем сильно раздражал Сандалова.

Взяли их на перроне, как только они вышли из вагона. Лукьянчика повел Владков, Сандалова — Куржиямский. С вокзала их повезли в разных машинах и сразу доставили в прокуратуру на первый допрос…

Глава тридцать шестая

В следствий наступил самый напряженный этап. Допросы преступников велись весь день, одновременно

в нескольких кабинетах. Раилев руководил следствием.

Самым трудным для следствия оказался Залесский. Он все отрицал. Даже на очных ставках со своим давним сообщником Кичигиным он разыгрывал драматические сцены, чуть ли не со слезами на глазах спрашивал, зачем тот на него клевещет? Только неумолимые факты заставляли его делать незначительные признания, да и те — с оговорками.

Ростовцев тоже довольно долго запирался. Раилев посоветовал Владкову начать с дела о «золоте» из Грузии — тут у него сорвалось, ничего не успел сделать, и он решит, что признание в этом безопасно… Так и сделали. На первой же очной ставке с жуликом из Грузии они опознали друг друга и восстановили эпизод с чемоданом, но оба уверяли, что о золоте понятия не имели — обычная спекулятивная сделка с товаром из Грузии. Но затем Ростовцева ждал неприятный сюрприз — очная ставка с Гонтарем, который к этому времени дал полные показания, в том числе и о панике с чемоданом, когда Гонтарю понадобилось прятаться в колонии. И опять разговор о «золоте». Ростовцев решил, что все-таки это не о главном, и дал осторожные показания, что в чемодане могло быть и золото, но он его не открывал, было-де не до этого, и вообще все дело сорвалось, и чемодан был возвращен в Тбилиси.

— Какие были у вас отношения с Гонтарем после этого? — спросил Куржиямский.

— Никаких.

— Вы запамятовали, Александр Платонович, — мягко заговорил Гонтарь, улыбаясь своим большим ртом. — Вы потом снабдили меня паспортом на имя Томака и устроили меня к Нестеренко, который со своими сообщниками готовил кражу часов с завода. Сказали мне при этом, что таким образом я надежно спрячусь от возможной мести грузин. А потом, когда нас поймали и осудили, вы, как человек благородный,

выручили меня из колонии. Правда, вот уже теперь следователь подсказал мне интересную мысль: откуда вы знали, что Нестеренко и я с ним непременно попадемся и получим срок? Не вы ли это тоже обеспечили? Интересная мысль.

— Что скажете, Ростовцев, по этому поводу?

— Дикие сказки, — ответил Ростовцев, глядя на Гонтаря с уничтожающим презрением.

Куржиямскому понадобилось больше часа на то, чтобы показания Гонтаря из диких сказок превратились в реальную правду. Только когда он зачитал показания человека, который продал Ростовцеву тот краденый паспорт на имя Томака, и спросил: пригласить на очную ставку и его? — Ростовцев пошатнулся и начал давать более правдивые показания. И в заключение, побледнев от ненависти к Гонтарю, сказал:

— Но я не обеспечивал провала воришек Нестеренко, я только хотел хоть на время избавиться от дурака, — кивок на Гонтаря, — который мог продать меня в трепе за кружкой пива.

— Я вообще, Александр Платонович, пива не пью, — усмехнулся Гонтарь.

Затем Куржиямский повел Ростовцева в прошлое, в его совместные с Залесским ростовские дела. Дело Бутурлина, которое он изучил в Ростове, дало ему возможность задавать Ростовцеву такие вопросы, что тот не мог не подумать, что Залесский раскололся — откуда же еще может все это знать следователь? И тогда Ростовцев взорвался и понес Залесского, сваливая на него все ростовские аферы, а себе оставляя роль послушного исполнителя отдельных его поручений, И он почти обрадовался, когда Куржиямский, довольно скупо записав эти его показания, вдруг сказал;

— Замучились мы с вами по всяким прошлым делам, а теперь давайте-ка перейдем к делам сегодняшним.

И Ростовцев сопротивляться уже не смог, это было бы просто глупо — он ведь поначалу пытался корчить из себя деятеля, хотя Куржиямскому уже давно приятно и смешно было наблюдать, как на глазах линял тот седогривый красавец с наманикюренными ногтями, которого он знавал когда-то…

Куржиямский раскрутил и то дело с незаконным приобретением строительных материалов для нескольких дач. Конечно же Ревзин полез на базу по заданию Ростовцева, а провалившись, по его же совету взял все дело на себя. Он только малость поторопился, не дал Ростовцеву приготовиться к суду, но все же потом, усилиями Ростовцева, положение было поправлено, взятка из доказанной превратилась в недоказанную, и Ревзин получил условное наказание…

Сараев, как и предсказывал Раилев, оказался для следствия самым легким — он глубоко переживал свою катастрофу, в кабинете следователя как бы столкнулась вся его судьба и совершенные им преступления, и вся его честная жизнь оказалась бессильной спасти от позора и расплаты. Он только попросил Раилева, чтобы тот допрашивал его сам:

— Мне очень трудно, когда… человек молодой, — в сыновья мне годится… Вы должны понять…

Раилев его понимал и почти все допросы провел сам.

Любопытно повел себя Лукьянчик. На первом допросе он заявил, что не знает, за что арестован, требовал немедленно дать ему адвоката и вообще разыгрывал оскорбленную невинность, А на другой день все признал до самого донышка. Дело в том, что Глинкин, сидящий в колонии строгого режима за свои брянские преступления, тщетно пытался добиться, чтобы ему помог хоть кто-нибудь из сообщников — то

ли Ростовцев, то ли Залесский и, наконец, хотя бы Лукьянчик. Он-то их всех, можно сказать, спас — не заложил, а что же это теперь они молчат? Он написал им кучу писем, и ни звука в ответ. И тогда он решил, что его уже, как говорится, дальше Кушки не сошлют, а помочь себе он может только сам и для этого путь один — стать образцовым заключенным и не жертвой правосудия, а его помощником. И он накатал показания на 80 страницах про все свои и Лукьянчика преступления в Южном. Непонятным образом вспомнил добрую сотню имен тех, кто давал им взятки, высчитал, что из этого досталось ему и что — Лукьянчику.

Когда Лукьянчику на втором допросе дали прочитать эти 80 страниц, из него точно воздух выпустили, у него не стало сил сопротивляться, и он тоже сел писать свои показания по Южному. Заодно сознался и в систематических приписках в период руководства там стройуправлением…

Было решено — провести Лукьянчика через суд по последнему делу, а затем его и Глинкина этапировать в Южный, чтобы там могли провести над ними показательный процесс. Как говорится, за возмездием ничего не пропадает, дай только срок…

А вот Залесский продолжал упорно и глупо запираться.

…В это утро Владков допрашивал Залесского по эпизодам взяток, полученных от Кастерина. Все уже было установлено совершенно точно и зафиксировано. Кроме одного эпизода — посещение Залесского Кастериным в Донецке, в частности — первое его посещение, когда Залесский при нем звонил в Москву и уточнял у Кичигина, можно ли пообещать Кастерину то, что было ему необходимо для его спецавтобазы. Залесский вообще отрицал, что принимал клиентов в Донецкой «Сельхозтехнике». Вероятно, он боялся

дополнительного обвинения в корыстном злоупотреблении служебным положением. Но это было глупо, потому что такое обвинение против него уже существовало и без этого эпизода с Кастериным и даже было им признано. Но когда Владков разъяснил ему это, Залесский снова крутнул головой:

— Не было этого!

— Ну хорошо, а как же тогда Кастерин узнал, что надо стучаться к Кичигину? — с терпеливым спокойствием спросил Владков.

— Как? Как? — раздраженно переспросил Залесский. — Тот же Гонтарь мог ему подсказать.

— Нет, Залесский. Вы прекрасно знаете, что Гонтарь о существовании Кичигина не имел понятия, для него все связи вверх по этим делам замыкались на вас.

— Не знаю… Не знаю…

Создалась досадная ситуация: вся цепочка его преступлений была установлена с предельной точностью, и вдруг одного звена в ней не хватает, и, по-видимому, нет никакой надежды его получить — чем сильнее Владков нажимал, тем упрямее тот твердил свое «нет». И непонятно было, отчего он все заметней нервничал? Неужели в этом эпизоде скрыто нечто очень для него опасное, а следствию неизвестное… Так думал Владков, вглядываясь в каменное лицо Залесского.

А в это время Залесский напряженно обдумывал, пора или еще рано сделать тот защитный ход, который он замыслил заранее, когда все еще было в полном порядке. Правда, тогда он думал, что сделает это в самом начале беды, чтобы, не дав навесить на себя обвинений по этому делу, сразу перейти в совершенно другой разряд, где речь пойдет уже не о взятках, а об иностранной разведке и где он будет выглядеть почти героем. Потом он решил немного подождать, выяснить сначала, насколько следствию удастся влезть в их взяточные дела, и, если окажется, что раскрыто лишь

немногое, можно будет тот защитительный ход и не делать. Теперь выяснилось, что следствию известны даже их аферы с Ростовцевым в Ростове. Судя по всему, ключи по Ростову в страхе и панике передал следствию сам Ростовцев — этот мелкий пижон и трус. Словом, все шло к тому, что защитный ход пора делать, и от этого Залесский все больше нервничал — он все-таки очень боялся госбезопасности…

— О чем вы задумались, Залесский? Вы что, не слышите меня?

— Я вас слышу, — замедленно ответил Залесский глухим голосом и вдруг резко поднял голову, твердо и ясно сказал: — Я должен сделать очень важное заявление.

— Прошу… — Владков подвинул к себе чистый лист протокола допроса.

— Нет. Я сделаю его только представителю госбезопасности.

— Это имеет отношение к делу, которое мы расследуем?

— Ни в какой степени.

На другой день в девять утра в прокуратуру приехал майор государственной безопасности Сугробов.

— Я должен рассказать вам, что произошло со мной во время туристской поездки на пароходе по странам Балтийского моря…

О том, что произошло с ним тогда в Гамбурге, он рассказал более или менее точно. Не полной правдой было его утверждение, будто он еще тогда решил, что работать на враждебную разведку не будет, а деньги взял у них только из боязни, что те господа догадаются о его отрицательной позиции и могли с ним расправиться. Он мог бы сказать и всю правду — что его решение не продолжать связи с теми господами пришло несколько позже и было продиктовано только страхом.

Сугробов подумал об этом сразу, но, чтобы убедиться в этом, повел разговор с Залесским о его жизни в разное время, незаметно заставляя его делать весьма серьезные признания нравственного характера. Залесский вынужден был вспомнить все, даже то, как он мальчиком в ленинградской коммунальной квартире играл в войну, по ходу которой отвоевывал себе всю квартиру, до революции принадлежавшую его семье. А затем Сугробов внезапно спросил:

— Как вы оказались во Львове перед самой войной?

Залесский начинает придумывать, будто был послан туда в командировку и что, когда началась война, он не успел ничего и сообразить, как Львов был занят немцами и он оказался у них в плену. Последовал вопрос:

— В каком лагере вы у них сидели?

И Залесский поплыл… Чем больше говорил он неправды, тем все сильнее и безнадежнее запутывался…

Сугробов был опытный чекист, он и виду не подавал, что видит, как запутывается Залесский, слушал его вполне доброжелательно, даже изредка кивал согласно и ничего не записывал, и, только когда Залесский, отвечая на его вопросы о будто бы малозначащих деталях, начинал об уже сказанном раньше говорить иначе, Сугробов мягко останавливал его:

— Вы об этом, Юрий Янович, говорили несколько иначе.

— Разве?

— Да, да, Юрий Янович… Но продолжайте, пожалуйста, и, если можно, уточните, когда и как вам удалось из Львова перебраться в Киев?

— Тогда немцы уже отступали… — неуверенно пояснил Залесский.

— Но отступали-то они, — улыбнулся Сугробов, — от Киева ко Львову, а не наоборот…

Залесский надолго замолчал, делал вид, будто силится вспомнить, как же это было на самом деле. Но тут Сугробов предложил сделать перерыв до завтра. Прежде чем Залесского увели, он сказал ему, что к завтрашнему дню ознакомится с архивными данными, в частности, с архивом красногорского лагеря немецких военнопленных, и потом поможет ему более точно вспомнить, когда и как он оказался в этом лагере.

— Я вам буду благодарен за это… — с трудом проговорил Залесский, потому что в этот момент он уже знал, что завтра ему придется говорить чекисту всю очень опасную для себя правду.

— И еще — сохранилась у вас та открыточка, что вы получили из Гамбурга в Риге?

— О да… В Донецке, у жены она, в шкатулочке…

На другой день Залесскому пришлось рассказать многие неприятные для него подробности своей жизни в оккупированном Львове в тетушкином особняке, на сей раз он сразу «не вспомнил» только свою службу в гестапо. Но пришлось рассказать и про это, иначе становилось непонятным, в чем было принуждение при вербовке его в Гамбурге…

Сугробов допроса не затягивал и попросил Залесского, чтобы он сам написал все, что считает нужным.

— И больше вам от меня ничего… не надо?

— А что же еще? — улыбнулся Сугробов. — В свое время уклонившись от связи с западно-немецкой разведкой, вы поступили правильно, они на вас, наверно, поставили крест, и гальванизировать это мертвое дело нет никакой необходимости… Единственно, что я могу пожелать вам, — не петляйте со следователем прокуратуры, как пытались петлять со мной, это еще никогда и никому в вашем положении не

помогало. Особенно точно постарайтесь написать о работе в гестапо. До свидания…

Владков дал Залесскому пережать катастрофу последней надежды, занял освободившееся за столом место, открыл чистый лист протокола и спросил:

— Вернемся к нашему делу… Вашу встречу с Кастериным в Донецке вы по-прежнему отрицаете?

— Была, такая встреча… Была, — со злостью ответил Залесский — теперь ему было все равно…

Глава тридцать седьмая

В субботу все работали. Следствие в общем было завершено, а уже поздно вечером Раилев собрал у себя всю группу. Выглядел он очень усталым — лицо серое, под глазами темные круги, дышит учащенно, шумно…

— Ну что ж, мы подобрались к финишу, — начал он тихим голосом, не поднимая взгляда. — Поздравлять вас не собираюсь, это наша служба, наша с вами повседневная работа — помогать обществу освобождаться от всякой скверны, не так ли? — Он поднял наконец взгляд усталых глаз и посмотрел на всех по очереди. — Проведена большая честная работа, разработано очень серьезное уголовное дело, скоро мы отправим его в суд, который достойно завершит наш труд. — Он помолчал. — Вот что я думаю… Когда дело пройдет в суде, надо будет нам поехать в это министерство и выступить перед этим славным коллективом, показать, что преступники, пробравшиеся к ним, это бедствие, но никак не типичное явление, чтобы они не думали, что мы подозреваем всех. Обязательно это сделаем, а то у нас до черта любителей растрезвонивать всякие выдумки насчет того, будто «все воруют». Договорились? А теперь давайте немного поразмышляем о нашем деле… —

Раилев сплел пальцы лежавших на столе своих крупных узловатых рук и некоторое время сосредоточенно на них смотрел, потом медленно поднял голову: — Итак, наш девиз — возмездие неотвратимо. А все участники этого дела выдвигали как щит свой девиз — мы возмездие перехитрим. Теперь все их тщетные хитрости нам известны. Сначала обратим внимание на их хитрости, так сказать, технологического порядка, я имею в виду их усилия придать видимость законных своим жульническим служебным бумагам. Тут они, однако, пороха не изобрели. Вспомните, как быстро Семеняк разобрался в этой их технологии. Это значит, что, хитря, по возможности, с бумагами, они рассчитывали еще и на халтурное исполнение своих служебных обязанностей некоторыми работниками министерства. Помните, Кичигин в своих показаниях рассказал, как он путем эксперимента установил, кто в аппарате их главка наиболее соответствует этому требованию, и как потом он старался пропускать бумаги именно через них. Вот об этом надо будет тоже рассказать в министерстве... — Раилев замолчал, на лице его возникло выражение, будто он с испугом прислушивается к чему-то в самом себе, потом резко повел головой, точно стряхнул с себя это состояние, и продолжал: — И вообще, если разобраться, они главную самоохранительную ставку делали на нравственное, несовершенство отдельного человека. Тот же Степовой — вроде бы и хороший человек, за свое колхозное дело ни перед чем не постоит, и вот тут-то они таких и засекали, считали, что они не постоят и перед собственной совестью, не говоря уже о законе... А расчет, скажем, на Горяева несколько иной, они его просто раскусили: мещанин без всяких опасных для них идеалов, кроме одного, для них полезного, — хочет иметь деньги, чтобы удобно жить. Вспомните, как Горяев на допросе дважды высказывал обиду на

Кичигина, что тот обделял его деньгами, а работать требовал за троих... — Раилев вдруг рассмеялся. — Я вспомнил, с каким жаром Горяев разоблачал Кичигина как пошляка, пьяницу и бабника, сказал даже, что из-за Кичигина он хотел бросить это дело, чтобы не мараться. А сам-то... тоже мне нашелся белый лебедь... — Этому сравнению все дружно посмеялись. — Но откуда взялись наши белые лебеди? — спросил Раилев, глядя в пространство. — Если ответить обобщенно — из болота бездуховной жизни, где, как в питательном бульоне, размножаются бациллы и собственнического инстинкта, толкающего к стяжательству, и эгоцентризма — «после меня хоть потоп», и классического мещанства с его полным неуважением к обществу, и коленопреклонения перед западными образцами жизни, и многое другое. Но сам преступник все-таки индивидуален, у него как бы нет сейчас социального происхождения. Наше общество всесильно эти темные черты в человеке разгадать, но делать это должны не только и не столько мы. Но разве не приятно узнать, что у жулья — острая нехватка надежных кадров. Они же прекрасно понимали, что найди они надежных сообщников, скажем, в Госснабе, и у них бумажная технология стала бы куда прочнее. Ан нет. Не нашли. Вместо этого им пришлось пристегивать к своей коляске таких типчиков, как Гонтарь или Сандалов... Теперь я хочу напомнить вам одно примечательное признание Кичигина... — И опять у Раилева появилось то испуганное выражение лица, он поморщился и продолжал: — Помните, как он, пытаясь сам объяснить провал, заявил, что они вынуждены были торопиться, так как государство могло в любой день, как он выразился, вырвать у них почву из-под ног. Очень ценное признание. Все их предприятие держалось на дефиците с этой запасной техникой и на несовершенстве планирования. И они знали, что государству эти беды известны и оно

конечно же принимает все необходимые меры, чтобы расшить это узкое место, а потому им надо торопиться… Товарищ Владков, не попробуете ли вы написать проект обстоятельной записки в Госплан, показать в ней, на какие их просчеты делает ставку жулье?

— Попробую, — ответил Владков.

— Последнее — вспомните, как на допросах оборонялся Ростовцев. Он даже потребовал записать это в протокол. Он говорил, что переадресованная ими техника не пошла куда-то налево, она только пошла вместо одного колхоза — в другой, а там, мол, тоже строят коммунизм. Я ему тогда предложил добавить, что более того — они тому другому колхозу даже облегчили строительство коммунизма; правда, за взятку деньгами, незаконно взятыми из колхозной кассы. Я уверен, что и на суде защита будет хвататься за эту мысль… — Раилев покачал головой. — В моей практике это первый случай, когда преступники так нагло заявляют об объективной положительности их преступлений. А теперь — по домам и до понедельника.

Когда спустя полчаса Куржиямский и Владков вышли из своей комнаты в коридор, они увидели впереди уходившего домой Раилева — под тяжелым его шагом поскрипывал старый паркет. Они остановились и смотрели ему вслед, пока он не свернул к лестнице…

В понедельник утром Куржиямский и Владков приехали в прокуратуру, и постовой в проходной сказал им нечто непонятное: «Умер старший советник юстиции Раилев…» Они даже миновали проходную и только уже во дворе прокуратуры замерли на месте, посмотрев друг на друга, и вдруг побежали к зданию. Одним махом вскинулись на свой этаж и — к кабинету Раилева. Дверь заперта, зачем-то постучали. Из комнаты напротив выглянул советник юстиции Юмашев.

— Что вы стучитесь? — спросил он, глядя на них слепыми глазами. — Он умер.

— Это правда? — выкрикнул Владков.

Юмашев, не ответив, закрылся в своей комнате.

Они пошли в секретариат.

Мария Исидоровна Ханаева — пожилая секретарша, каждый год собирающаяся на пенсию и каждый раз остающаяся еще на годик, — сидела за своим столом точно окаменевшая, прижав платок ко рту.

— Мария Исидоровна, как это случилось?.. — тихо спросил Владков, шагнув к ней, и она заплакала в голос.

В это утро в Прокуратуре СССР плакали многие: Раилева очень любили за его исступленную преданность делу, за умение безоглядно работать, за его принципиальность и справедливость ко всем, включая и преступников. В это утро вспоминали его на всех этажах... Как сказал он однажды на партийном собрании, что прокурор это самый обыкновенный человек, но только необыкновенно честный. Или как однажды на совещании он вступился за раскритикованного областного прокурора. Кто-то из начальства бросил ему реплику: «Не знал, что вы еще и адвокат». В ответ на это Раилев сказал: «Мы тут все — защитники правды»... Или как он однажды потребовал снять со стены стенгазету, потому что в ней была нарисована карикатура на уборщицу, оскорбительно издевавшаяся над ее физическим недостатком. Не было конца таким воспоминаниям о Раилеве — почему-то мы чаще вспоминаем все хорошее о человеке, только когда он умрет...

В час последнего прощания с покойным в зале было тесно и душно. Говорились прощальные речи. Тихо играла музыка. Раилев и в гробу был такой же крупный, грузный, на груди у него лежали большие рабочие руки.

Всем запомнилась речь друга Раилева, такого же пожилого человека:

— ...Ни друзья, ни даже его близкие толком не знали, сколь тяжела была у него болезнь сердца. Однажды он при мне уронил стекляшку с нитроглицерином и так смутился... сказал: «Не понимаю, как это в карман ко мне попало». А теперь мы знаем — уже давно его сердце висело на волоске. Почему он таил это от нас? Не хотел, чтобы кто-то подумал, что ему работается тяжелее, чем другим. Не хотел, чтобы жалели... Помните, в партбюро его выбирали? Он, в отличие от других, не говорил, что не сможет справиться физически, он только высказал тревогу — хватит ли у него на это высокое звание авторитета и понимания жизни? Он и ушел из жизни, как уходят большие, сильные люди. Мы вместе в субботу вышли из прокуратуры — он сказал мне, что в тот вечер беседовал со следователями своей группы, и закончил: «Золотой народ»... Ну, вышли мы из ворот. Мне идти на троллейбус, ему — на метро. Он махнул рукой; «До понедельника» — и зашагал от меня... навсегда... А дома только жене шепнул, что ему что-то неможется, лег в постель... Заснул... И не проснулся... Дорогой наш друг и товарищ, прости нас за то, что мы не заметили твоей болезни... Прощай... — Сказав это, друг покойного подошел к гробу ближе, хотел, наверно, поцеловать своего мертвого друга, но сил у него на это не хватило, ноги подкосились, кто-то его подхватил.

Вот так не стало руководителя следовательской группы Бориса Борисовича Раилева. Вернувшись с похорон в прокуратуру, Владков и Куржиямский молча сидели в своей тесной комнатке.

— Надо же что-то делать... — сказал Куржиямский.

— А ты знаешь, что надо делать? — сердито спросил Владков.

— Надо работать... без него, — тихо произнес Куржиямский.

Они не знали, что как раз в это время подписывался приказ о назначении Владкова руководителем группы…

Глава тридцать восьмая

Уже несколько дней Сараева не водили на допросы. Последний раз вызвали, но допроса не было — следователь Владков только сообщил ему, что по этому делу, ввиду его громоздкости, будет проведено несколько судебных процессов и что в ближайшее время ему придется съездить на процесс в Донецк и дать там показания по взяткам из тех мест.

Ехать так ехать — один черт. Слава богу — скоро конец… Чему конец?

Сараев вернулся в тюремную камеру и, сидя на койке, тупо смотрел в свинцово-серую стену. Его сожитель по камере храпел на своей верхней койке. В самом деле — чему конец? Больше не будет глаз следователя — то усталых, то злых, то смешливых, но никогда добрых или сочувствующих… Ну не будет еще рядом этого храпящего соседа — пошлого вора, который если не храпит, то лезет к нему с философскими разглагольствованиями о добре и зле. А главное — не будет того, длившегося долго-долго, когда день за днем каждое утро он садился на стул перед столом следователя и не спешил поднять глаз, знал — глаза следователя уже ждут.

— Ну, Сергей Антонович, продолжим?

Он молчал… Ну в самом деле, почему и как все это с ним случилось? Когда он сам пытался анализировать свою катастрофу, он убеждал себя, что до выдвижения в Москву, когда он был директором завода, ничего похожего с ним произойти не могло. Да боже ж мой, если бы тогда кто-нибудь позволил себе хотя бы

намекнуть, что он может стать преступником, да он за такое мог бы и убить…

— Началось все, я думаю, все же в Москве, — сказал он наконец.

— Однажды один мой подследственный говаривал мне, что, если бы он не поехал в Одессу, он вором не стал бы никогда, — заговорил Раилев, — дескать, там воздух такой, что нельзя не воровать. Но это, Сараев, был мелкий и тупой человечишка… Нет, нет, Сараев, давайте не будем обвинять города. — Раилев вынул из папки бумагу. — Я вам прочитаю сейчас письмо рабочих завода, где вы были директором. Писали они в Москву на имя министра. Жалоба-сигнал в момент вашего перевода с завода в министерство.

— Жалоб бывало достаточно, — усмехнулся Сараев. — Очень не любят люди строгих начальников.

— Подождите, Сараев… Читаю не сначала: «… последние годы перед назначением в Москву Сараев директорские летучки превратил в театр одного актера, где он в припадке самолюбования, при молчаливом восторге подхалимов, мешал с грязью уважаемых работников завода. Его несокрушимым убеждением было, что завод стал выполнять план только благодаря ему. А на самом деле просто стало лучше с поставкой сырья, усовершенствовалось оборудование, повысилось мастерство рабочего коллектива и ИТР. Но горе тебе, если ты выскажешь вслух эту мысль, ты станешь жалким героем на ближайшей оперативке, где он позволяет себе издеваться даже над тем, что ты заика, как это было со мной…»

— А, Харитоньев? Крупный склочник! — воскликнул Сараев. — Куда же это он писал, я раньше что-то сие не читал…

— Он писал это вашему бывшему министру, когда вы уже были назначены им в Москву заместителем

начальника главка, и он хотел только одного — чтобы министр учел эти ваши черты.

— Что же это министр не отменил своего приказа?

— Это следовало спросить у министра, но он умер. Но не кажется ли вам, Сараев, что еще на заводе, почувствовав себя непререкаемым царьком, вы уже скользили по наклонной? А когда человек уже скользит, каждый толчок в спину становится опасным. Например, впечатление, какое произвел на вас обед у директора шведского автозавода, он мелюзга по сравнению с вашим служебным положением, а может позволить себе то, о чем вы и мечтать не можете. Вы на одном допросе рассказали, как у вас в результате этого впечатления возникли глобальные мысли о несправедливой оплате вашего труда… Я считаю, Сараев, эту историю в Швеции серьезной душевной раной, нанесенной вам его препохабством капитализмом. Скажете, нет?

— Можете думать что угодно, — еле слышно ответил он.

— Поймите одно, Сараев, вам станет легче, когда вы сами разберетесь в том, что ваш нравственный распад начался с вашего эгоцентризма. От непререкаемости до вседозволенности — полшага…

Спустя два дня Сараев передал следствию свое собственноручно написанное показание.

«…Считаю долгом своей совести сказать следствию, чт *о*я сейчас думаю о самом себе и своей катастрофе.

Да, мой путь к тяжелому преступлению начался давно, когда я еще шел к директорскому креслу на заводе и затем в том кресле преуспевал. Я вспоминаю и сам анализирую свой путь от рядового инженера до директорского кресла и уже здесь обнаруживаю в себе задатки своего печального будущего. Этот путь был неестественно быстрым, и я вижу, что зависело это и от случайностей и от моих собственных явно

карьеристских устремлений, но никак не от каких-то моих особых данных.

Начальником цеха я стал после смерти моего предшественника, когда выбор остановился на мне только потому, что, работая рядовым инженером, я уже думал о лестнице вверх и был активным общественником, был, что называется, на виду, честнее сказать — делал все, чтобы быть на виду. Несколько раньше я стал заместителем начальника цеха, который был уже в летах, часто болел и работал все слабее и слабее. А когда его сразил инфаркт, кого же было ставить на его место, как не меня — я же уже сделал все, чтобы руководство видело во мне активного человека. А став столь легко начальником цеха, я уже окончательно уверовал, что можно выскочить и повыше. Я сейчас очень хорошо и точно вижу то время и как я тогда старался подняться еще выше. Вполне осознанно я поставил тогда на двух, как мне казалось, верных лошадей: всяческая активность и критика недостатков, но таких, которые не зависели от главного заводского начальства. Помню, как я тщательно готовился к каждому собранию или совещанию, на котором собирался выступать, как взвешивал каждый факт и каждое свое критическое слово. Не прошло и четырех лет, как я стал заместителем директора и был избран в партком. Я понял, что стою на правильном пути. До директорского поста оставался, что называется, один шаг, и его я сделал точно и умно. На мне лежал прием личного состава, и я делал все, чтобы люди уходили от меня довольные мною, делать это было тем легче, что директор был жестковат в обращении с людьми. Я понимал, какую решающую роль в моей судьбе может сыграть партийная поддержка, и стал чуть не каждый день бывать в райкоме партии — шел туда советоваться без всякой истинной к тому надобности, и я видел, что секретарю райкома это нравится, тем более что

директор с ним был в неладах и частенько не шел в райком, даже когда его приглашали, и посылал вместо себя меня. Спустя два года, когда нашего директора перевели на другой завод, я сел в его кресло. Но имел ли я объективные данные занять этот пост? Думаю, что имел. Все-таки я был энергичным работником и уже имеющим немалый опыт в руководстве производством. Сейчас я думаю, что были и другие достойные кандидатуры, но я, точно предусматривая это, сделал все, чтобы иметь перед ними преимущество прежде всего в общественном отношении. И, как я уже показал, я заботился об этом уже давно, начиная с руководства цехом и даже еще раньше, и именно на этих весах вполне осознанно взвешивал каждый свой шаг. Это, конечно, было моим недостатком, и весьма опасным, но другим не всегда видимым. Между прочим, мой предшественник, прощаясь со мной, не то шутя, не то всерьез сказал мне: карьера у тебя идет гладко, будто по плану, но колдобы особо опасны на гладкой дороге, ты подумай об этом на досуге. Я не подумал. Досуга не было. Но сейчас я понимаю, что мой предшественник, видимо, разгадал меня…

Итак, я директор завода. Не прошло и года, как во мне окрепло убеждение, что план делаю я. Ну как же? Кто сумел выбить дефицитный металл перед самым завершением года, когда нам грозила буквально катастрофа? Я выбил. Кто сумел вырвать у горисполкома квартиры для наших работников? Я. Кто провел через все инстанции всесложнейшее дело по утверждению плана реконструкции завода? Я. Кто добился ассигнований на строительство заводской базы отдыха? Я. Кто в последний месяц года не вылезал из цехов, перенося туда все средства управления, вытаскивая из прорыва те или иные звенья производства, заранее, нюхом зная, где те прорывы могут возникнуть? Я. Наконец, кто же, как не я,

обеспечивал общее руководство всеми делами завода?.. Завод давал план из квартала в квартал, и постепенно этот план как бы заслонил от меня людей. И знал я, главным образом, не тех, кто трудился честно и ровно, а тех, кто работал нерадиво, и тех я, конечно, шабрил без жалости, убежденно считая, что этим я их поднимаю на уровень задач, воспитывая этим и других. Тут я выражений не выбирал — как это может кто-то обижаться, если мною руководит священная тревога за план? Однако уже здесь, в тюрьме, мне вдруг стали вспоминаться случаи, когда я обижал и даже оскорблял людей зазря. Особенно один случай с пожилым инженером из технологического отдела Зиборовым. Он был знающий специалист, но по характеру тряпка, и я однажды на совещании, в присутствии представителя министра, сказал старику, что он отработанный пар, который только шипит, а КПД от него ноль без палочки. Позже выяснилось, что напал я на него необоснованно. Тут бы мне и извиниться перед ним, но подобное у нас не принято. А ведь если бы пришлось мне просить прощения, я бы этот урок для себя запомнил надолго. Но не принято... Вспомнились и другие случаи. Так что письмо рабочих в министерство, когда меня туда выдвинули, было совершенно правильным, но в министерстве, как вы знаете, решили письму этому не придавать значения. Ведь те люди, которые составляли на меня представление для утверждения и писали мою розовую характеристику, разве могли они потом дать ход письму рабочих? Честь мундира это им не позволяла... Но я вспомнил теперь одно наше заводское отчетно-выборное собрание. Там меня не очень круто, но все-таки покритиковали. Тот же Зиборов прошелся по мне, назвал меня удельным князьком — собрание этому посмеялось. Я на критику не счел нужным отвечать прямо и свое выступление посвятил перспективным задачам предстоящей реконструкции

завода. Критики должны были понять — как им не стыдно мелочиться перед лицом такой грандиозной, предстоящей нам работы! Выступил после меня секретарь райкома партии. Он тоже сказал о предстоящей реконструкции завода, а потом заявил, что райком целиком поддерживает директора завода, считая его боевым командиром производства, который с предстоящей реконструкцией справится так же хорошо, как хорошо ведет он завод. При голосовании я получил немало вычерков, однако в партком прошел. Мне бы задуматься тогда над этими вычерками, а я только разозлился — завершаем год, а мне в это время кто-то делает подножку. Я даже думал, как бы мне установить хоть парочку из тех, кто меня вычеркнул? Но план завод снова дал, и с превышением. Поздравления, премии и все такое прочее — и снова уверенность, что я на уровне. А как же иначе? Мой завод на уровне, — значит, и я в полном порядке. Теперь-то я знаю, что это далеко не закон. Сам год назад по поручению министерства ездил снимать с работы директора одного сборочного завода, который план давал как часы, но буквально вопреки зарвавшемуся директору, который вдобавок не знал своего производства, имея диплом совсем иной инженерной специальности. Но на заводе была крепкая парторганизация, сплотившая весь коллектив, и очень толковый главный инженер. Мне бы задуматься над этой ситуацией… и вспомнить свой завод, но не задумался и не вспомнил…

Но займусь моим выдвижением в министерство. И опять — случайное обстоятельство: нужно было подпереть болеющего начальника главка, найти для него перспективного зама. Вспомнили обо мне. А как же было не вспомнить — как раз в это время я толкал свои дела в министерстве. План даю как часы, не стар годами, райком, хоть и скрипя зубами, мое выдвижение поддерживает. Секретарь райкома напутствовал меня

— не забывай свой завод, ты там будешь нашим представителем. Я заверил, что завод всегда буду считать своим…

Я, между прочим, не сразу стал замначальника главка, сперва получил отдел. Наверно, руководство решило меня проверить в деле. Я постарался создать о себе наилучшее впечатление. Но тут мне открылось нечто странное — работать здесь было куда легче, хотя ответственности вроде и больше. Здесь у меня целая группа заводов, а там был один. Но там, что ни случись, трещит моя шея, а тут мне достался хорошо налаженный отдел, плюс еще по наследству я получил хорошего зама — знающего работягу, не лезущего поперек батьки. Как говорил один товарищ, мой зам — это моя сила. На заводе я такого зама не имел и, следует признаться, не искал, там силой должен был быть только я сам. Так что в отделе на первых порах моей задачей было не мешать работникам отдела и приглядываться ко всему, что они делают. Приглядевшись, я понял и почему мне тут легче, чем на заводе. Здесь непосредственное участие в работе заводов, подчиненных отделу, как бы самортизировано бумажной перепиской. Завод запрашивает, просит что-то, а тебе надо только решить, что ответить, стараясь, конечно, тому заводу помочь, помня, однако, и по личному опыту это зная, что просят всегда больше, чем надо на самом деле. Вот и вся кухня. А завод в это время видишь как в перевернутый бинокль — на масштабном фоне далеко нечто маленькое. А помочь-то ему не так уж и трудно — все же как ни говори, а нужды промышленности с каждым годом удовлетворяются все лучше и лучше. Такова схема моей ответственности в отделе, и, освоив ее, я заработал уверенно, напористо, как я умел. На посту заместителя начальника главка стало посложнее, особенно если помнить, что твой непосредственный начальник все

болеет и болеет и иные весьма ответственные решения надо принимать самому и самому идти с ними и наверх… Но я быстро освоился и здесь.

Но все это, как ни удивительно, для меня лично стало не главным. В Москве изменился весь строй моей жизни. Когда я был директором завода, мы с женой и подраставшими дочерьми регулярно вместе ходили в местный театр, на концерты, по-провинциальному гонялись за каждой новой хорошей книгой, и все это нашу семью, если хотите, сплачивало или, может быть, озаряло одним общим духовным интересом. Я, например, очень любил наши вечерние разговоры и споры об увиденном или прочитанном. В Москве все это удивительным образом пропало. Действительно же удивительно, что в Москве мы с женой не были ни разу в театре или в музее. Мы даже в кино за несколько лет были раза три, не больше. Однажды я задумался над этим: почему, когда я был директором завода и жил в областном городе, потребность в этом была, а в Москве она атрофировалась? Там приезд Художественного театра был праздником, а здесь живу, что называется, рядом с театром и ни разу туда не сходил. Я решил, что, наверно, всегда так бывает — недоступное тянет, а то, что под рукой, — нет. Мне многие москвичи говорили, что они не бывали в Третьяковке. Не побывал там и я. И однажды об этом крепко пожалел. Вместе с замминистра мы поехали по делам в Ленинград. В поезде разговорились, и он сказал, что надо будет обязательно выкроить хоть пару часов сходить в ленинградский Эрмитаж. А потом говорит, что он больше всего любит московскую Третьяковку за то, что она очень русская. Начал называть разных художников и их знаменитые картины. Особо, говорит, люблю Маковского и Серова. Помните? И пошел вспоминать картины. А я сижу как глухонемой. Он сразу увял и начал молча укладываться спать. Ну, думаю, плохое я

произвел на него впечатление, обязательно надо будет сходить в эту Третьяковку и потом, при случае, исправить положение... Были ли еще тревожные сигналы об этой стороне моей жизни? Были. Однажды на партсобрании моя фамилия была названа среди тех, кто больше всех пропустил занятий по партучебе. Состоялся об этом разговор с секретарем партбюро. Я на его поучения разозлился, сказал, что главное для меня дело и что я уже не в том возрасте, когда меня надо публично шпынять, как нерадивого школьника. В ответ мне было заявлено, что я глубоко ошибаюсь. А я убежденно считал, что прав я... Были об этом неприятные разговоры с женой. Она сказала, и, теперь я вижу, сказала точно, что я превращаюсь в делягу. А тогда я ей на это ответил, что у меня на всякие бирюльки нет свободного времени. Она, однако, доказала, что у меня каждый день есть минимум три часа свободного времени. И опять была права. Мы крепко поссорились... А все дело было в том, что в Москве у меня появились совершенно иные увлечения. Я человек компанейский, или, как теперь выражаются, контактный, и неудивительно, что я довольно быстро врос в компанию таких же, как я, работников среднего звена, которые стали москвичами не вчера и у них уже были устойчивые способы использования свободного времени. К примеру, они вытянули меня на хоккей. Я был далек от этой игры, но мне словно открылся какой-то новый, неведомый раньше мир жизни: голубой лед, музыка, яркие костюмы игроков, оглушающий азарт болельщиков и, сверх всего, в двух антрактах возможность, весело болтая об игре, выпить. Мои более опытные друзья приносили с собой заветные фляжечки, так что после второго антракта было уже здорово весело и приятно. А главное — в буфете я видел знакомых, таких же, как я, по положению знакомых. Иногда там, на хоккее, даже дела проворачивались —

люди-то там становятся покладистее… Позже появилось новое увлечение — сауна. Это в общем-то хорошая и полезная для здоровья банька, если бы при ней не было так называемой комнаты отдыха, где ставится на стол всякое зелье и закуска — ну как же, какой русский человек, попарившись, не выпьет? Круг саунцев сужен до предела, так что поговорить там можно в открытую, как в другом месте не поговоришь, так что и там мы частенько толковали по делу, но выпивка все же остается выпивкой. И с хоккея и из сауны я возвращался домой поздно и в подпитии. Обязан признаться, что к спиртному у меня появилось влечение. От этого дома все хуже и хуже. Жена пилила, что до добра меня это не доведет, и даже стала поговаривать, что уйдет к дочерям… А в последнее время в нашей компании появился еще и преферанс — эта карточная игра очень увлекательная и даже интеллектуальная, как говорится, не „очко“. Собирались обычно у одного начальника из „Сельхозтехники“ — он вдовец, и квартира всегда свободна. Опять же, поставив на стол бутылочку, играли сперва по копейке, потом по пятачку, а потом дошло и до полтинника, когда и проиграть и выиграть можно солидно. Но меня, я думал, бог спасал — в основном я оставался при своих. Но теперь я знаю, что бог тут ни при чем — с помощью преферанса меня тянули к преступлению, и, когда они решили, что я созрел, они сразу подсадили меня на крупный проигрыш, который я уже не мог выплатить. Дальнейшее вам известно…

А остановиться я уже не мог, хотя из-за постоянных выпивок стало подводить сердце и дело дошло до того, что однажды с преферанса меня увезли на „неотложке“. Мне казалось — все сойдет как-нибудь. То самое ощущение вседозволенности, а значит, и безнаказанности. На эту тему у меня произошел

однажды резкий разговор уже здесь, правда еще в начале следствия, когда я следователю Раилеву заявил, что имею право на какое-то особое отношение ко мне с учетом моего служебного положения. А он мне на это сказал, что я на это служебное положение не имел никакого права. А я ему в ответ — дескать, я не сам себя назначил! Стыдно теперь вспомнить этот разговор. Так вот, о моем праве на высокое служебное положение. Было ли оно? Если вспомнить мое продвижение вверх на заводе, я сейчас честно могу сказать, что на всех ступеньках лестницы вместо меня могли появиться какие-то другие, не менее достойные люди завода. Но они свою карьеру не делали, как я. То же самое я могу сказать и о министерстве — в отделе начальником надо было быть моему заму, он знал дело лучше меня. Хорошо ли я работал уже в главке? Бывало, если кто спрашивал, как мне работается, я отвечал „нормально“. Это безликое словечко весьма в ходу. Даже если о здоровье спросят, ответ „нормально“, а сам накануне вызывал „неотложку“. Так вот, если честно, то в главке я работал нормально… вполсилы. Министерство — это такой большой коллектив, в котором можно было бы найти добрый десяток специалистов, которые работали бы лучше меня, но для этого надо, чтобы наши кадровики не регистрировали кадры, а знали бы их досконально и не только по анкетам. Я и сам мог и должен был работать лучше — инициативней и продуктивней, я же видел многие наши просчеты и даже ошибки, которых могло не быть, а если уж они возникали, я мог их не затушевывать, а в открытую их называть и преодолевать. Этого, по крайней мере в последнее время, я не делал совершенно. Чувство ответственности за порученное дело притупилось и даже трансформировалось в чувство самосохранения от неприятностей, а при этом полезнее помалкивать и, как у нас выражались, не

высовываться. Еще на заводе, какой бы я ни был, но меня вело вперед и даже на ошибки ответственное сознание своей причастности к общенародным делам, и в этом смысле я был тогда человеком все-таки идейным, и у меня были духовные интересы, связанные опять-таки с тем сознанием себя. А здесь я ушел в пустую бездуховную жизнь для себя персонально. Что мне приятно, то и хорошо. Однажды следователь Раилев сказал мне, что бездуховность — это синоним безнравственности. А я ему ответил, что тогда надо всем деловым людям предъявить обвинение в безнравственности. Теперь бы я так ответить ему не смог, ибо и он сам стал для меня примером высокой и чистой нравственности. Он был, конечно, целиком прав. А жизнь по программе полной бездуховности привела к тому, что в описи моего имущества значится только одна книга „Королева Марго“, которую мне достали друзья по блату, но я не прочитал и ее. И хотя следователь Раилев утешил меня шуткой, что он тоже эту книгу не читал, я понимал, что один этот факт с единственной книгой как позорное клеймо на моем лбу. Хочу в связи с этим добавить к тому, что есть в протоколе допроса, — моя поездка в Швецию нанесла мне рану более глубокую, чем это выявил на допросе следователь Раилев, — ведь когда я стал брать взятки, первое, что я купил на эти черные деньги, были „Жигули“ для дочери — так я хотел быть похожим на того шведского директора…

Я изложил здесь все, что я думаю теперь о себе, не ища уловок, чтобы спрятаться за чужие спины, ибо те, кто приобщил меня к взяткам, вышли на меня абсолютно точно и были уверены, что я, на этот счет, человек подходящий и меня долго уговаривать не придется… Бездуховно и безыдейно живя, я делал карьеру, лез по службе вверх, а сам опускался вниз, в

болото морального разложения, где стать преступником легче легкого.

Любой приговор суда буду считать справедливым. Я, в общем-то, служил не столько народу, сколько самому себе, и потому народный суд имеет все основания наказать меня сурово. Жаль, конечно, что у меня уже не может быть какой-то второй жизни, в которой я был бы иным, но мне легче на душе оттого, что я твердо знаю: уже сегодня я иной, чем был вчера, и я искренне благодарен следствию, которое так терпеливо учило меня увидеть себя самого во всей моей неприглядности.

С глубоким уважением — *Сараев.*

P. S. Особо и горько думаю о своей вине перед семьей. Сознаю ее во всем объеме, хотя Уголовный кодекс о преступлении такого рода прямой статьи не имеет, и тут я сужу себя сам по кодексу другому.

С.».

Жизнь, протекавшая в неволе, все же была жизнью и постепенно становилась привычной. Конечно, решетка была все время перед глазами, но, оказывается, можно любоваться голубым небом и разграфленным решеткой. Утром, днем, вечером лязгали запоры тюремной камеры, и каждый раз после этого густая тюремная тишина оглушала, придавливала, но проходили минуты, и постепенно ты начинал слышать жизнь тюрьмы, своеобразное ее звучание, и это тоже было уже твоей жизнью, и ты уже умел читать эту жизнь по звукам. Был у тюрьмы свой собственный запах затхлости, перемешанный с хлоркой и с чем-то еще. В первые минуты Сараеву показалось, что он в этом тяжком воздухе просто не выживет, но нет — выжил и сейчас замечает этот тюремный дух, только входя в тюрьму с воли…

Как это ни покажется странным, но, когда так долго идет следствие, оказывается, становятся частью жизни

даже допросы, эти напряженные часы общения со следователем, когда надо держать ухо востро, когда надо делать все, чтобы твоей вины было меньше, а следователь хочет выкачать ее из тебя всю до донышка. Но как бы он ни противостоял тебе в данной твоей жизненной ситуации, ты не можешь не видеть в нем человека, исполняющего свой долг, и однажды обнаруживаешь, что человек он хороший — добрый, внимательный, и даже болеющий за твою поломанную судьбу.

Наконец, когда однажды утром следователь Владков сказал ему, что дело подошло к концу и что есть решение первый судебный процесс провести в городе Донецке, куда ему, Сараеву, придется поехать дать показания, он подумал, что поездка в Донецк не станет для него трудной, он даже ожидал ее как какую-то разрядку после многомесячного напряжения следствия.

Но он ошибся. Суд в Донецке стал для него тяжелейшим и мучительным испытанием. Что бы там ни было, а следствие, даже в самые тяжелые его моменты, когда надо сознаваться в вине, проходило с глазу на глаз со следователем. В суде зрителей хоть и немного, но они есть, и каждый приходит в судебный зал оттуда, с воли, и в тесном зале он так от тебя близко, что ты хорошо видишь его глаза, и это оказалось прямо невыносимым испытанием. В первые же минуты суда Сараев встретился взглядом со стариком, сидевшим в первом ряду, и потом никуда не мог уйти от его презрительного и вместе с тем удивленного взгляда. Сараев отвечал на вопросы судьи, прокурора и все время знал: стоит ему чуть повернуться вправо, там его стережет взгляд старика. Был момент, когда старик, доставая из кармана носовой платок, распахнул пальто, и Сараев увидел на его груди множество орденских

планок, — боже мой, что же он должен думать о нем, этот старик, чудом уцелевший на той страшной войне?

До этого Сараев упорно избегал думать о том, что было с ним на войне, — то было настолько неправдоподобно рядом с сегодняшним, что иногда ему казалось, это было не с ним, а с каким-то другим человеком… В самом начале войны он попал в плен, там его допрашивали, били, истязали, но он все выдержал, а потом бежал из лагеря и вернулся к своим. Воевал затем ожесточенно, бесстрашно, вплоть до отзыва с фронта на Урал, на военный завод… Разве мог он сейчас это сказать тому старику с орденами? Легче и лучше умереть… Сараев привычно отбросил воспоминания — этого просто с ним не было, не могло быть… и этому никто не поверит.

…На суде в Донецке все его показания уложились в один день. А больше он, может быть, даже не выдержал бы. Десятки устремленных на тебя глаз — это было непереносимо. Вот когда до него дошел смысл названия «Народный суд». Бывали моменты, когда он не слышал обращенных к нему слов судьи или прокурора, в это время он все-таки хотел отвечать что-то выцветшим глазам того старика с военными орденами. Но что он мог сказать? И он молчал. А прокурор спрашивал уже в третий раз:

— Вы подтверждаете взятку от председателя колхоза из Херсонской области Крупенского?

— Да, да, конечно, — торопливо отвечал он.

— А что вы скажете о взятке у председателя колхоза Хвыли?

— Была… была…

И вдруг Сараеву показалось, что земля уходит у него из-под ног, но тут же покачнулась и остановилась. Он уже начал падать, но его подхватил конвойный:

— Что с вами?

— Ничего, ничего... — Сараев отстранил его руку и неестественно выпрямился.

— Вы плохо себя чувствуете? — спросил судья.

— Откуда вы взяли? Спрашивайте...

— У суда больше вопросов к вам нет. Объявляется перерыв.

В комнате для подсудимых на первом этаже Сараева выслушал врач и сделал укол.

— Что-то у вас сердце засбоило... — сказал он равнодушно.

Узнав, что ему еще сегодня лететь в Москву, врач дал ему в дорогу нитроглицерин:

— Если станет плохо, примете сами. А вообще-то в самолете вы отдохнете...

Он вернулся в тюрьму как в свой дом и в первую минуту даже обрадовался встрече со своим соседом по камере.

Уже несколько месяцев Сараев все тюремное время проводил в обществе Бориса Семеновича Кулиша. В первый день он узнал от него, что тот ожидает уже третьего суда и все суды над ним были за одно и то же: за хищения по месту работы.

Поначалу Сараев своим соседом по камере очень заинтересовался — ждет третьего суда, а абсолютно спокоен и даже весел. Сам Сараев в то время находился в состоянии тяжелейшей душевной депрессии. Неунывающий Кулиш это понял и, решив помочь новому соседу, начал выяснять главный вопрос тюремного общения — за что сел? Сараев тогда не мог ответить просто и ясно — за взятку — и начал путано и длинно, с потрясающе ненужными подробностями, рассказывать свою жизнь и служебную карьеру. Рассказывая, он старался на Кулиша не смотреть, а когда наконец поднял взгляд, Кулиш крепчайшим образом спал, сидя на койке, прислонясь спиной к стене.

Сараев рассвирепел, хотел грубо его растолкать, сказать ему какие-то уничижительные слова, но вместо этого тоже улегся на койку и вскоре заснул — нервы все-таки потребовали отдыха… Когда проснулся, Кулиш ходил по камере, напевая популярную песенку про то, как провожают пароходы. Увидев, что его сосед проснулся, Кулиш остановился перед его койкой:

— С добрым утром, коллега! — его сипловатый тенорок звучал весело и дружелюбно. — Вот хожу туда-сюда, ломаю голову — за что же все-таки вас схватили? И догадаться не могу. По вашему рассказу, вы же на министра шли, не меньше, и вдруг — тюрьма. А вы еще так туманно рассказывали, словно я — прокурор, а не ваш коллега по несчастью.

— Насколько я понял, вы сидите за воровство? — не в силах подавить раздражение, спросил Сараев, опуская ноги на пол и садясь на койку.

— Именно, дорогой коллега, именно! — подтвердил Кулиш, будто лучшего занятия он для себя и знать не хочет. — А вы, Сергей Антонович, за что? За громкое пение в позднее время? Скажите лучше коротко и ясно — за что?

— За взятки! — с вызовом ответил Сараев, испытывая необъяснимое превосходство над сожителем по камере.

— О! — Кулиш поднял палец и повторил: — О! Теперь все ясно. А то развели антимонию про то, как по службе вверх лезли, это ж все декларации, милейший, а вот взятка — это вещь. Значит, за взятку. От восьми до пятнадцати, а то и вышка. Вы конечно, будете требовать для себя меньше? — Кулиш весело рассмеялся и, сев рядом с Сараевым, фамильярно хлопнул его по коленке: — Я же видел, как вы на меня поперву вскинулись, дескать, какой-то ворюга и я — без пяти минут министр и благородный взяточник. Нет, дорогой мой коллега! Запомните на все будущие годы,

когда вам придется вкалывать в исправительно-трудовых колониях: здесь не бывает благородных! Все тут воры или, не дай бог, убийцы! И уважайте всех поравному, иначе у вас могут быть крупные неприятности — народ здесь вспыльчивый и на руку скор…

Так началась для Сараева академия тюремной жизни, и теперь он уже накрепко забыл о каких-то своих казавшихся ему преимуществах перед Кулишом, более того, иногда ему даже завидовал… Кулиш был вором из торговли. Представившись так, он рассмеялся:

— Торговля — это вообще обман: себестоимость, прибыль, наценки, уценки, усушки и прочие штучки…

Первый раз он попался, когда был заместителем директора магазина «Овощи — фрукты»: они там устроили пересортицу и продали большую партию яблок дороже установленной для них цены. Разницу положили в карман. Суд дал три года. Отсидел год, остальное покрыла амнистия. Стал работать администратором в универсаме. Здесь попался на комбинациях с допустимым процентом утечки товаров. Получил год. Отсидел почти полностью. Теперь он проходил по путаному делу мясокомбината, по которому суда ожидали более двадцати человек.

— Господи ж боже мой! — весело рассказывал он о своих, как он называл, штучках-мучках. — Ведь почему каждый раз вляпываешься? Поверите, у меня такое впечатление, что где-то вверху, где придумывают правила для торговли, сидят люди, никогда не бывавшие в магазинной подсобке. Ну, ей-богу, другой раз не украсть прямо как-то глупо. Так положено тебе под руку, что если бы не взял, уважать бы себя перестал. Честное слово. А возьмешь — кто-то образцовый непременно это увидит.

Кулиш был уверен, что без его штучек-мучек его жизнь не имела бы смысла.

— С женой я разошелся, на двух потомков алименты гоню по суду, а самому-то пожить хочется, чтоб с воспоминаниями. А что ни тронь — денег стоит. И боже ж ты мой, если я там где-то что-то придержу для себя, это же сущая ерунда для такого богатейшего государства. Чушь какая-то — суд непременно садит за это в тюрьму.

Первое время Сараева возмущала эта уверенность Кулиша в своем праве воровать у государства, и однажды он поругался с ним, назвал его паразитом. Кулиш съел паразита и не поморщился и, помолчав, сказал:

— А ведь главное-то, Сергей Антонович, в паразите-то главное в том, на чем он сидит и чей сок сосет. Я присосался к торговле, там сок другой раз зазря на землю льется. А вы к чему прилипли? А?

— Вы не смеете! — закричал, подняв кулаки, Сараев. Это кричала вся его прошлая честная жизнь.

Кулиш махнул рукой и, выпятив широкий зад, полез на свою койку. Последнее время Сараев с Кулишом не спорит — в общем-то он прав, этот веселый вор, — нет между ними никакого особого различия, оба они воры, и никуда от этого не уйти. Придя к этому, Сараев словно успокоился, а тут еще Кулиш однажды вдруг сказал задумчиво:

— Знаете, что нас разделит на разные сорта? Приговор — вот что.

— Как это разделит? — не сразу понял Сараев.

— Очень просто. Если вам дадут десятку, а мне от всей судейской щедрости три годика, я низко поклонюсь вам в ножки и признаю, что вы надо мной куда более важное лицо…

Как ни странно, но эта мысль к Сараеву прилипла, тем более было уже ясно, что соотношение наказаний им будет примерно таким, как сказал Кулиш.

Но странное дело: вернувшись после суда из Донецка, Сараев, беззлобно ожидая встречи с ним, вдруг увидел Кулиша особенно омерзительным, когда тот попытался обнять его, спрашивая весело:

— Ну, какое же вам там кино показали?

— Не весело было… — угрюмо ответил Сараев, злыми рывками освобождаясь из его объятий.

— Еще бы… Весело — это когда баба рядом и музыка играет… хи-хи-хи! — рассыпался Кулиш сиплым смешком. — Но, как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить.

Сараев смотрел на Кулиша и впервые видел его настолько омерзительным, что ему неудержимо захотелось его оскорбить, сделать ему больно…

— Оставьте меня в покое, — тихо произнес он. — Вы ограниченный и пошлый человек.

— Погодите малость, ограничат и вас… — огрызнулся Кулиш.

Вдруг у Сараева возникло похожее на сон ощущение, будто ноги его вязнут в каменном полу и, если он сейчас не оторвет их от пола и не убежит, — погибнет. Он сделал резкий рывок в сторону и повалился на свою койку…

Сколько он проспал, непонятно, но был еще дневной свет. Кулиш храпел на высокой звонкой ноте, а когда выключал храп — постанывал. Болело сердце — тупо, пугающе, такой боли он раньше никогда не испытывал; казалось, боль шевелилась внутри сердца, толчками хотела оттуда вырваться, и часть ее уже вырвалась, потекла в левую руку от плеча к локтю. Сараев спустил ноги на пол и сел, прислонясь к стене спиной. И то ли от холода кирпичной стены, то ли оттого, что он сел, боль стала затухать и вскоре погасла совсем.

Была уже глубокая ночь, а Сараев еще не спал. Бессонные ночи бывали и раньше, но сегодня это было

по-другому — он заснуть мог, но боялся. Как только сон начинал затуманивать рассудок, он резким усилием воли вырывался из сна, ему мерещилось, будто стоит ему оторваться от яви, как он к ней уже не вернется. Он не мог бы даже себе объяснить, почему он так чувствовал, но это было сильнее его, и он отбивался от сна. Один раз он прозевал и заснул, но и уже во сне помнил о той страшной угрозе и, тихо застонав, вырвался из сна, а чтобы сон снова не обманул его бдительность, снова сел на койке, ощутив босыми ногами холодный пол, и это знобящее прикосновение было для него как прикосновение к жизни. Он посидел немного, успокоился и снова прилег. Сон больше не обволакивал его сознание, и он ясно и отчетливо стал думать все о том же — о своей жизни, которая шла так хорошо и достойно, а он ее погубил.

«А могло этого не быть… Могло не быть», — больно билось у него в мозгу. А рядом, подсвистывая, утробно ухая, храпел Кулиш… храпел… храпел…

И тут Сараев почувствовал нечто новое — в груди изнутри обозначилось теплое пятнышко, обозначилось так точно, что он невольно рукой потрогал это место под соском левой груди. Потом оно переместилось к центру груди, тут остановилось и стало быстро горячеть. Он рванул ворот рубахи. Это жжение изнутри отдавалось горячими толчками в виски. Сараев стал испытывать безотчетное нервное напряжение, в один момент ему показалось, что он сейчас встанет, поднимется с койки и задушит храпящего Кулиша.

Последовало несколько резких толчков сердца, и в следующее мгновение жжение соединилось с резкой болью, точно в сердце вонзили нож, медленно поворачивали лезвие и оно раздирало сердце на части. А потом боль будто потекла по всему телу до кончиков пальцев, которыми он сжимал смятый угол одеяла. Его мозг вдруг понял весь размер опасности и приказал ему

— кричи! Зови!.. Сараев закричал, но мышцы горла, связок уже были парализованы — Сараев думал, что он кричит, а он еле слышно хрипел, и этот его тихий хрип покрывал бьющийся в стены и потолок звонкий храп Кулиша…

И тогда Сараев конвульсивным рывком перевернулся на бок и свалился с койки на пол, таща за собой одеяло, зажатое в правой руке. Последнее, что он почувствовал, была боль в коленке от удара об пол. Глупая боль…

Утром Кулиш, отхрапев недолгую летнюю ночь, проснулся с ощущением свежих сил во всем его крутом теле. Сделав, не вставая, несколько гимнастических движений руками и ногами, сел на койке и в этот момент увидел Сараева, ничком лежавшего на полу.

— Коллега, вы что же это? — Кулиш бросился к нему, перевернул на спину и, заглянув в стеклянные глаза Сараева, кинулся к двери, начал молотить в нее кулаками.

— Сюда! В пятую камеру! На помощь! — кричал он, и его сипловатый тенорок вязко тонул в каменной тишине тюрьмы.

После необходимого в таких случаях медицинского и юридического оформления тело Сараева унесли. Следователь Владков подписал протокол и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Судьба устроила ему страшную казнь…

Глава тридцать девятая

Суд шел долго — начался весной, а сейчас — лето, и для подсудимых это стало похоже на какую-то тяжкую принудительную службу, куда их каждое утро доставляли в темной зарешеченной машине, а к вечеру

увозили обратно в тюрьму. Очень тяжкая это служба, особенно для тех, кто проходит ее первый раз. В этом деле «судебный опыт» имели только Гонтарь и Сандалов, вдобавок они были из той категории преступников, для которых суд как бы входит в программу жизни. Конечно, каждому из них мечталось, что это произойдет не скоро, даже бог весть когда, но что однажды его все-таки доставят в суд, каждый, втайне, про себя знал. Это не мешало им друг перед другом разыгрывать роль великих удачников и хитрецов, умеющих провести за нос всех, кто хотел бы упрятать их за решетку. Но увы… И все же они вели себя на суде наиболее спокойно. Когда конвойный не смотрел на них, они даже перекидывались шепотком фразами, и совсем не о суде:

— Ты рыжего Химика помнишь?

— Еще бы… Он продул мне в карты сотню и не отдал.

— Там встретишь, потребуй…

Им смертельно надоело неделю за неделей слушать про одно и то же: дал взятку… получил взятку… К концу дня их попросту клонило в сон, того и гляди прозеваешь, когда заговорят о тебе. Но тут они мгновенно настораживались и бдительно следили за тем, чтобы суд не навинтил им чего лишнего… К более важным подсудимым, сидящим рядом с ними, они относились совершенно равнодушно, а когда кто из них начинал наивно выкручиваться, они наблюдали это с усмешкой. Они уже прекрасно разобрались, «кто — кто», выяснили, что «главная сила» Кичигин, и посматривали на него не без уважения…

Судья из всех подсудимых мысленно выделил Кичигина, считая его наиболее опасным преступником в этой группе и отвратительным человеком вообще. Однако, допрашивая его, судья старается об этом

забыть и вести допрос спокойно, без эмоций, но это дается ему не легко, и Кичигин это чувствует.

Фамилия у судьи точно из металла — Броневой, а лицо — простецкое, доброе, и это часто путает подсудимых; им вдруг начинает казаться, что судья спрашивает у них что-то без особого интереса и не желая им зла, но если они пытаются этим воспользоваться, их тут же ждет удар, от которого потом приходится долго собирать свои душевные силы.

Допрашивают Кичигина. Речь идет о его связи с директором Каланковского завода. Тот, уже освобожденный от работы и исключенный из партии, вызван в суд в качестве свидетеля, он держится как святой, уже получивший отпущение всех грехов. Уверяет суд, что с Кичигиным у него были только деловые отношения.

Прокурор, худенькая женщина, вскинула руку:

— У меня вопрос к свидетелю. Скажите, пожалуйста, какие ваши данные послужили для Кичигина основанием рекомендовать вас на должность директора завода?

— На этот вопрос мне отвечать вроде неудобно, нескромно…

— Тогда, может быть, ответит подсудимый Кичигин?

Кичигин вскочил:

— Ничего, кроме его высоких деловых качеств!

— Спасибо. — Прокурор нашла на своем столе нужную бумагу. — Я прошу разрешения огласить часть письма в министерство Главного инженера Каланковского завода… Том дела седьмой, лист четыреста шестой. «Назначенный к нам директор, — говорится в письме, — абсолютно технически не подготовлен, не знает самых элементарных задач производства, отдает анекдотические распоряжения, над которыми смеется весь коллектив…» Ну, и тому

подобное… Как вы, подсудимый Кичигин, расцениваете это письмо?

— Измышления человека, который лезет в директорское кресло.

— Но почему письмо не было проверено, как того требовала резолюция замминистра?

— Замминистра передал письмо не мне, а Сараеву, я о нем даже не знал.

— Все ясно. Сараев мертв, и с него не спросишь…

Кичигин молчит.

Лукьянчик на суде выглядел усталым и равнодушным — он уже знал, что ему предстоит другой суд за его старые дела в Южном, и того суда он боялся больше и все время думал о нем. На этом суде он — не из главных подсудимых, а лишь, как он все время подчеркивал, исполнитель. Поэтому он занервничал, когда Сандалов стал уверять суд, что сам только выполнял указания Лукьянчика.

Лукьянчик тотчас поднял руку и сделал уточнение:

— Все равно, я был только передаточная инстанция…

Стали разбираться в случаях, когда он сам получал от клиентов деньги, он тут же потребовал запротоколировать, что получал те деньги, чтобы немедленно и целиком передать другому…

Образцово вел себя Залесский. Как и Ростовцев, он знал, что им предстоит еще суд в Ростове, и считал неразумным вызывать озлобление этого суда. Теперь о своем ходе со шпионством Залесский не вспоминал, был даже рад, что эта его затея не состоялась… Своей главной задачей он считал получить по этому суду как можно меньше, а для этого ему хотелось, чтобы суд достойно оценил его образцовое послушание и раскаяние.

С самого начала процесса Ростовцев — казалось бы, не глупый человек, а решил вести с судом нелепую

борьбу, мешая нормально работать. Уличенный полностью, он без конца затевал споры то с судьей, то с прокурором, причем по каким-то несущественным мелочам, обвинял следователей в том, что они его показания запротоколировали неграмотно или злоумышленно кратко, требовал у суда подробной записи в протокол всех его уточнений и поправок, делал обидные и безосновательные замечания даже своему защитнику. И всякий раз его претензии ни к чему не приводили. Дело дошло до того, что однажды Гонтарь, втянутый им в бессмысленный спор с судом, вдруг возмутился и сказал ему:

— Александр Платонович, а я-то думал, что у вас голова на плечах.

Это вызвало дружный смех в зале…

Большой стол адвокатов стоял сразу перед загородкой, отделяющей подсудимых. Сколько подсудимых, столько и адвокатов. Каждый выбирал себе защитника сам, вместе с находящимися на свободе родными и близкими, а те созванивались с какими-то знакомыми, уже прошедшими через судебные беды, узнавали, кто из адвокатов посильнее да половчее. Сам подзащитный учитывал еще и мнение об адвокатах, всегда существующее в тюрьме и весьма специфическое. По тюрьмам и колониям гуляют рассказы о некоем адвокате-хвате, который (следует случай, якобы бывший недавно в каком-то суде) все дело так перевернул с ног на голову, что обвиняемые были оправданы, а обвинители посажены…

Как правило, чем опытнее преступник, тем больше у него уважения к адвокатской профессии, а преступник, судимый по первому разу, чаще в реальные возможности защитника не верит. Казалось, должно быть наоборот, ан нет — в преступной жизни мудрость своя, и приходит она с годами… отсидки.

Кичигин избрал своим адвокатом старика, некогда знаменитого судебного Цицерона. Теперь это был небрежно одетый человек с сонными глазами, он уже давно устал, его мучили всякие хворобы, и поджечь его уже не могли ни скромные — увы — гонорары, ни тем более судьба подзащитного. На суде он скажет все, что нужно, но ни слова больше, а может, и меньше…

На первый взгляд кажется, что адвокаты за ходом судебного разбирательства следят не очень внимательно, но каждый уже на память знает, где, в каком эпизоде для его подзащитного скрыта какая-то опасность, и, пока суд до того эпизода не доберется, кто из них рисует на листке бумаги кружочки и треугольнички, кто уже перелистывает свое следующее дело…

Адвокатам наперед был ясен весь ход дела, они даже могли ожидать то, что для других явится сюрпризом судебного разбирательства. Они заранее знали и примерный приговор — здесь им помогает опыт, прошлые процессы и знание Уголовного кодекса. Вот они вроде и скучали за своим большим столом. А тот, некогда знаменитый, дремал так беззастенчиво, что уже несколько раз всхрапывал, сам от этого просыпался и делал вид, будто у него насморк.

На суде трудно подсудимому еще и потому, что в зале есть публика. Не так ее много, и главным образом это пенсионеры с окрестных улиц, иных судьи уже знают в лица, а все ж это — публика, советские люди, которые приходят в зал суда оттуда, от честной жизни, и потому их присутствие весьма чувствительно и неприятно. Дополнительную неприятную неловкость создает для подсудимых присутствие близких. В общем, как ни хочется им увидеть их, а лучше бы они не приходили, в подавляющем большинстве случаев при них говорить о своих преступлениях тяжело…

…Все это, вместе взятое, и есть суд. Он продолжается день за днем — месяц, второй, третий, четвертый, пятый… Весь день нервотрепка на суде, а потом наступает ночь, полная тревожных снов. И снова утро — суета с посадкой в машины, тряский путь в темном ее чреве и тихий девичий голос секретаря:

— Прошу встать! Суд идет!

— Продолжаем слушание дела… — каким-то домашним голосом проговаривает судья Броневой, и начинается установление факта восемьдесят третьей взятки… или семьдесят восьмой… нетрудно и запутаться.

— Свидетель Кастерин, подойдите сюда к столу… — Судья берет из груды пухлую папку и долго перелистывает ее, ищет нужную ему страницу. — Вот. Речь пойдет о вашей первой взятке Залесскому…

Суд продолжается, продолжается, и, кажется, нет ему конца…

Но вот на суде — веселая минута.

Допрашивали Горяева, и старенький адвокат Кичигина, поскольку сей подсудимый был не его подзащитный, откровенно спал, опершись щекой на руку, искусно делая вид, будто он сосредоточенно вслушивается в ход процесса. Суд начал устанавливать, кто вовлек Горяева в преступную деятельность. Тот рассказал, как однажды Кичигин сделал ему подарок в виде комплекта резины для его «Волги», и оказалось, что этот факт в обвинительном заключении отсутствует. Судья решил занести его в протокол. Кичигин запротестовал и заявил, что ничего подобного в действительности не было. Горяев начал его стыдить. И тогда Кичигин воззвал к своему адвокату. Воззвал раз — тот продолжал сосредоточенно вслушиваться в ход суда. Воззвал два — адвокат вскочил как по тревоге и крикнул надтреснуто: «Я заявляю протест!» Грохнул смех. Смеялись все, даже подсудимые… То ли этот смех

сбил Горяева с толку, но на повторный вопрос судьи, с чего началась его преступная деятельность, он вдруг начал рассказывать о своем пребывании на Рижском взморье, о знакомстве там с Сандаловым. Судья спросил:

— Выходит, вы считаете, что вас в преступную группу вовлек Сандалов?

Горяев молчал. С ним происходило нечто странное — умом он отлично понимал, что его судят за преступления, которые были им совершены, и что у всего этого было начало, но где оно было? Горяев понял, что им интересуется прокурор, несколько ее вопросов к нему были попыткой публично приоткрыть его нравственную физиономию, но он чувствовал эту опасность, ограничивался междометиями, ссылался на непонимание вопроса и молчал. Однако перед прокурором уже давно лежал листок, на котором сверху было написано «Горяев», а ниже: «Советский мещанин. Бездуховность. Жизнь только для себя. Ему хотелось одного — удобно жить, а все остальное для него не стоило ничего...» Об этом она ярко и беспощадно скажет в обвинительной речи.

Но вот допрос подсудимых и свидетелей окончен. Начинаются прения сторон. Это новое испытание для тех, которые в загородке и охраняются конвоем.

Слово получает прокурор. Эта худенькая молодая женщина с седеющими волосами произносит обвинительную речь, которая длится весь день с двумя перерывами. Говорит она негромко, ровным голосом, только изредка чуть его повышая, делая иногда паузы, когда ищет что-то в своих бумагах. Она дает характеристики всем подсудимым по очереди, и каждый, за кого она берется, хочет сжаться в комок, спрятаться не только от ее широко открытых черных глаз, но даже от ее голоса, хотя она не произносит никаких унижающих слов и вся сила ее речи в точном

выяснении вины каждого перед судом, государством и народом. Эту речь она готовила целую неделю, продолжая одновременно участвовать в процессе. Видно, что она устала. Особенно к концу речи — высказывая свои предложения о наказании каждому подсудимому, она вдруг заговорила быстро и вроде бы небрежно, словно вопрос о конкретной мере наказания ее уже не интересовал. Главное, что совершился суд…

Конечно же каждый подсудимый с нетерпением ожидал выступления своего защитника, надеясь, что тот найдет какие-то слова, которые сам он найти не смог, чтобы раскрыть в нем не только плохое, но и хорошее, тем более что каждый в ходе процесса убедился, что самому говорить о себе хорошее, стоя в этой проклятой загородке, необычайно трудно. И у каждого теплится в душе надежда, что его адвокат найдет в его судьбе что-то такое, что ему самому даже не приходило в голову, и это вдруг покажет его суду в совсем ином свете. В последние минуты каждый торопливо подсказывал своему защитнику кто про военные заслуги, кто о своей болезни.

В подавляющем большинстве случаев их ждет разочарование. Разве только иные обманываются красноречием защитника, его темпераментом, не замечая в этом некоторой театральности и не понимая, что сила, защиты не в этом, а в умной железной опоре на статьи Уголовного кодекса, в обоснованном ходом суда предложении применить к данному подсудимому или не ту статью, или срок не самый высший, а то и оправдать. И вот тут-то и блеснул, тряхнув стариной, старенький адвокат Кичигина. Он произносил свою речь внешне совершенно неэффектно, уткнувшись близорукими глазами в бумажку, но в его речи было немало толковых рассуждений о том или ином моменте преступной деятельности подзащитного и по поводу правомерности применения к нему той или иной статьи

Уголовного кодекса. Впрочем, это мало поможет Кичигину, и он получит все в той мере, как просила прокурор. Но вот какое еще открытие сделали все подсудимые — оказывается, речи защитников так же тяжело слушать, как и речь обвинителя. Более того, чем больше адвокат уделял времени перечислению положительного в жизни подзащитного, тем ему невыносимее становилось это слушать, видя иронические улыбки даже на лицах тех, кто сидел рядом с ним на скамье подсудимых.

В общем, страшное и тяжелое это занятие — быть подсудимым.

Суд подходил к концу. Подсудимые произносят свои последние слова. Большинство избегают вдаваться в подробности своей жизни или совершенного ими преступления и скороговорочно просят суд о снисхождении при выборе наказания. Редко кто прибавит, почему он об этом просит, один напомнит о большой своей семье, другой о своем возрасте или болезни. Ростовцев, разочарованный речью своего адвоката, решил поправить дело в своем последнем слове и стал подробно рассказывать полузабытую им самим свою честную жизнь. Это выглядело смешно…

Но вот судоговорение окончено, и теперь ничего к нему ни прибавить, ни убавить. Суд удаляется в совещательную комнату вырабатывать, или, как принято говорить, выносить, приговор.

В таком длительном и сложном процессе чтение приговора — еще одно тяжелое испытание для подсудимых. Сейчас каждый узнает главное — длительность предстоящей ему неволи. А судья неторопливо, размеренным голосом, хотя и в сжатой форме, снова излагает суть преступления, потом преступные действия каждого, квалифицируя их по соответствующим статьям и пунктам Уголовного кодекса, и, наконец, воздает каждому по его заслугам.

Свершается правосудие. Неотвратимое возмездие обрушивается на преступников. А все удивительно обыденно — не слышно ни трубного гласа, ни барабанной дроби. Подсудимые напряженно вслушиваются в глуховатый голос судьи Броневого, боясь что-нибудь упустить, а это может случиться каждую минуту — сквозь открытую форточку в зал врывается шум улицы. Кроме того, в приговоре множество цифр — то это размер взятки, то номер статьи или пункта Уголовного кодекса, то какие-то даты, то исходящие номера документов. Это трудно вытерпеть обвиняемым, им хочется крикнуть: да скорей же читайте главное — сколько даете? А под конец еще надо решить задачку на сложение — по таким-то статьям дают тебе столько-то, но плюс еще по статьям таким-то и таким-то…

Кичигин, однако, мгновенно сосчитал — двенадцать лет колонии строгого режима… И потом уже механически считал, что дают другим:

Ростовцеву — тоже двенадцать…

Залесскому — тоже… и их еще покатят в Ростов.

Лукьянчику — десятка… и будет добавка в Южном.

Гонтарю и Сандалову — по восемь лет.

Сараев от наказания освобожден в связи со смертью…

«Ему легче всех», — вдруг подумал Кичигин…

Подсудимые слушают приговор стоя.

Суд окончен. Судьи покидают зал.

Осужденные под недобрыми взглядами публики выходят из своей загородки, толпятся у дверцы, друг на друга не смотрят. О, эта дружба преступников! Цена ей грош в базарный день. Под конвоем из зала суда уходит горстка одиноких. Преступление объединяет людей только на время его совершения, да и это объединение не прочно от постоянного страха, что кто-то другой может продать или подвести неосторожностью…

Итак, суд сделал свое благородное дело. Но суд совести, в той мере, в какой эта совесть еще есть у каждого осужденного, будет продолжаться каждый день, целый год, потом еще годы — весь срок.

Глава сороковая

Во дворе московской тюрьмы под проливным холодным дождем готовилась погрузка партии осужденных в арестантский автофургон — обычное, но совсем не легкое дело для тех, у кого службой было стеречь, водить и возить лишенных свободы преступников. Организация этапа с осужденными проводится загодя, но сегодня специальный вагон, прицепленный к поезду, уже уйдет из Москвы на восток. Оповещены все места, где в этот вагон будут добирать осужденных, а это значит, оповещены и соответствующие тюрьмы, где те сейчас находятся. А еще дальше впереди — исправительно-трудовые колонии, которые должны заранее знать, когда и на какие станции им надо высылать конвой для приема пополнения. Словом, о переносе срока отправления этапа из-за какого-то дождя никто не может и подумать. Служба есть служба, а на тяжесть военной службы жаловаться не принято. Дал присягу — служи и будь стражем наказания за преступление.

Сейчас московская тюрьма передаст конвою своих осужденных преступников, направляемых в разные места заключения. Они уже давно сидят в нижнем коридоре тюрьмы — трижды пересчитанные и сверенные поименно по списку.

В эту партию попал Кичигин. Ростовцева и Залесского накануне отправили в Ростов, как с остальными, он не знает.

Первое переживание приговора, когда нужно было — нет-нет, не смириться, но хотя бы чуть свыкнуться с неизбежностью неволи, прошло. Теперь у него настроение тревожное, главное — он абсолютно не знает, что произойдет с ним через минуту. Неволя, как какая-то новая его жизнь, только начиналась. Он наблюдал за конвойными, понимая, что эти парни в шинелях на весь путь до колонии становились для него единственной на земле властью. К своим тюремщикам он уже привык, с иными у него даже образовались какие-то отношения, а про этих он наслушался — звери. Но это неправда, никакие они не звери. Час назад они, собравшись в комнате отдыха тюремных служащих, кто резался в шашки, кто хвастался московскими покупками для своих жен и ребятишек, кто писал письма домой. И они дружно смеялись, когда их прапорщик хотел показать, какой он купил жене джемпер, а из свертка вывалился бюстгальтер… В общем, они нормальные люди, эти конвойные, но они знают, кого повезут они через всю страну, в этапе будут и взяточники, и жулики, и бандиты-убийцы, и грабители, и звероподобное хулиганье, и конечно же добрых чувств к ним они не испытывают. У конвоя есть своя железная инструкция, точно определяющая, что ему можно и нужно делать и что категорически запрещено, нарушать ее он не будет. А если кто по нечаянности или, не дай бог, по злому умыслу нарушит, он знает, что ждет солдата, нарушившего приказ. В этой службе, однако, нельзя без крайней строгости, это — грань наказания, и демагогам от демократии в эту сторону лучше не смотреть…

Пока конвойные суетятся, Кичигин вглядывается в сидящих рядом с ним осужденных. Опытные зеки говорили, что путь до колонии через пересыльные тюрьмы — нечто страшное и что в пути надо заиметь товарища. Рядом с ним плечом к плечу сидел совсем юный стригунок, лет двадцати, не больше, маленькие

злые глазки, и все он вертелся туда-сюда, толкая сидящих рядом.

Кичигин спросил, за что его и на сколько.

— Я — вторичник. Первый раз по ерунде имел два года, а теперь покрепче... — он назвал статью Уголовного кодекса, не пояснив, что она — за вооруженный грабеж, но добавил почти с гордостью: — Десятка строгого режима. Зовут Гариком. А вы за что?

Кичигин тоже не сказал «за взятку», а назвал статью, но парень кодекс уже прошел и рассмеялся:

— Пчелка, значит? С каждого цветочка по взяточке и все в улей? И вы что же, первый раз в первый класс?

Несколько человек поблизости рассмеялись.

— А ну-ка, пчелка, покажись... — просипело откуда-то спереди, и Кичигин увидел смотревшего на него верзилу со шрамом на лбу; даже сидя он был на голову выше всех. — Красивый мужчина, ничего не скажешь, кхы-кхы-кхы. — Он посмеялся, будто давясь смехом, и вдруг строго приказал Гарику: — Без меня пчелку не дразни...

— А разве я что? — дернулся Гарик и даже сделал движение, будто отодвигается от Кичигина.

— Прекратить! Встать! — ошалелым голосом крикнул появившийся прапорщик. — Построиться в шеренгу! Ну!

Началась еще одна перекличка. Каждый делал шаг вперед, называл свою фамилию и статью, по которой осужден. Стоявший рядом с прапорщиком конвойный сверял эти данные со списком. Затем каждому был выдан сухой паек на дорогу — буханка хлеба, селедка и несколько кусочков сахара. Торопливо, с бдительной оглядкой все это было спрятано в мешки.

— По одному — выходи!

Цепочка заключенных потянулась через дверь в темноту, под шумливый дождь. Стоявший у двери громко считал по стриженым головам:

— …семь… восемь… девять… десять…

Под дождем у черного лаза в фургон — новый счет, и, наконец, когда уже уселись на бугристом полу фургона, — снова счет под просеченными дождем лучами сильных электрических фонарей.

— Чтоб порядок, не то… — крикнул в чрево фургона прапорщик, и двери его захлопнулись.

Дорога оказалась совсем короткой, но Кичигину уже стало казаться, что он задыхается…

Фургон остановился, и двери его распахнулись в невероятно яркий свет, наполненный сверкающими струями дождя.

— Выходиииии! — кричал все тот же маленький прапорщик, обливаемый дождем и светом.

Они вывалились из фургона на грязную скользкую землю, многие падали и, неуклюже став на четвереньки, сразу становясь похожими на животных, с трудом вставали на ноги, скользили, снова падали.

Два прожектора скрещивали свои лучи на небольшом пятачке земли возле заросшего травой рельсового пути, на котором стоял одинокий вагон с решетками на окнах.

— «Столыпин» уже ждет, — сказал тот, со шрамом на лбу… Так Кичигин узнал, что эти вагоны до сих пор в среде зеков сохраняют имя одного из русских премьеров царского времени, при котором, говорят, они были придуманы…

В окнах «Столыпина» брезжил тусклый свет, и там, внутри вагона, двигались тени, на площадке стоял конвойный. Промокшие заключенные мечтали об одном — поскорей бы в вагон, конвой, однако, не торопился — прапорщик долго переговаривался о чем-то с конвойным, стоявшим на площадке вагона. Потом неизвестно откуда, словно из светящегося дождя, появилось не меньше десятка конвойных с автоматами

наперевес и стали цепочкой, образовав живой коридор к вагону.

— В вагон — сааадись!

Резво, бегом — к вагону.

— По двое! По двое!

Лесенка, как всегда в вагонах, была высоко, и влезть на нее, бдительно держа в руках мешок со скарбом, было не так-то просто. Кичигин подпрыгнул, но не успел ухватиться за поручень рукой и, больно ударившись грудью о ступеньки, пополз вниз. Кто-то сзади еще жиманул его к лесенке, и он заорал от боли. В следующее мгновение чьи-то сильные руки подхватили его за спину и вскинули на лесенку; ухватившись за поручни, он кое-как завалился на площадку, где чьи-то другие руки за шиворот подняли его на ноги и впихнули в темень вагона.

— Первые три купе от входа! Первые три купе от входа! — сонно повторял густой бас из темной глубины вагона. Заключенные ринулись в узкие двери купе. В несколько секунд купе набилось до отказа, а затем вступала в действие тюремная «демократия»: на лучших местах, внизу, оказывались самые опытные уголовники, на самом верху, под вагонным потолком, — мелочь и новички.

Видя, как туго набивается каждое купе, Кичигин бросился в третье, он высчитал, что туда придется всего несколько зеков, но он не знал, что в третьем купе было уже полно посаженных сюда раньше. Вдавливаясь в купе изо всех сил, обдаваемый встречным ядреным матом, ему удалось вползти на верхнюю полку и поместиться в жаркой от тел щели над дверью. Мешок был цел, и он успокоенно затаился…

Двери купе задвинулись, скрыв свет от тусклой лампы в коридоре. В абсолютной темноте и тесноте шевелились, переругивались люди. Но постепенно купе

устраивалось, затихало. Все же какой-то непонятный свет сюда проникал, и постепенно начала вырисовываться мешанина людей. Кто-то кому-то сказал тихо, а слышали все — такая звериная тишина затаилась в купе:

— В Москве сейчас огни…

— Заткнись, — рявкнуло в ответ из темноты. — Озеров нашелся…

— Гы… — кто-то коротко отсмеялся.

— Заткнись, говорю! — Кичигин уже привык к сиплому голосу того верзилы со шрамом на лбу — он тоже оказался здесь и, по-видимому, уже начинал забирать в свои руки власть.

Вскоре в купе стало непереносимо душно, мокрая одежда распарилась, заполнив купе вонью, от которой Кичигина тошнило, и он старался дышать, приникнув лицом к невидимой щели над дверью, оттуда скупо сочился чистый воздух…

Вдруг кто-то, очевидно в соседнем купе, прокричал диким голосом:

— Откройте окно! Откройте окно!

Окон в купе не было, они только в коридоре, но вскоре какое-то шевеление воздуха почувствовалось.

В наступившей тишине тот же злой сиплый голос сказал поучительно:

— Надо вытянуть ноги, потом не встанешь…

Все зашевелились, послышалась ругань, но совет был неукоснительно выполнен, хотя сделать это было невероятно трудно. Но вот вагон рывком тронулся с места и покатился, вздрагивая и рокоча колесами. И тут же остановился. Снова покатился.

— Подцепляют к пассажирскому… — негромко пояснил сиплый голос.

Кичигин вспомнил вдруг «Красную стрелу», комок подкатился к горлу — о чем, идиот, вспоминаешь? О чем думаешь? Больше тебе у той «стрелы» и близко не

бывать. Вот твоя «стрела»! Не шевелись! Задыхайся! И он тихо заплакал…

Первая пересыльная тюрьма на пути в колонию… Пересылка…

В этот город поезд пришел, когда еще было светло, но, пока отцепляли и загоняли на запасные пути «Столыпина», пока заключенных выгрузили, прошло не меньше часа. Вокруг Кичигина слышалось только о том, что сегодня наконец-то будет горячая похлебка, а кто-то пугал, что обеденное время прошло и теперь дадут на сон только кипятку с хлебом. Есть Кичигину хотелось до боли в животе, двое суток заключенные были на «сухом довольствии», но далеко не все сумели съесть свои запасы — у кого украли, у кого отняли. Кичигин в первый день пути кусок хлеба сам отдал Гарику — не мог он тогда есть, в горло ничего не лезло. А сейчас он слезно жалел тот кусочек. То одурелое состояние, когда ему часто казалось, что все это происходит во сне или с кем-то другим, не с ним, прошло, — страшно хотелось есть. Сам того еще не сознавая, он уже начинал привыкать ко всему, что стало теперь миром его новой жизни. Во всяком случае, есть сейчас хотел он, и никто другой. Однако человек он был ловкий, и где-то в глубине его души уже начинал просыпаться делец, он уже изучал эту новую для него обстановку и делал первые полезные для себя выводы. Первый главный вывод был уже сделан и применялся им неукоснительно — никому не перечить, в этом мире любят покорных… О, если бы ему удалось выдержать этот принцип жизни!

В «пересылках» есть специальные камеры для приема транзитных этапов, они обладают тем же удивительным свойством, что и купе «Столыпина», — сколько бы ни насчитывала новая партия заключенных, в камере она умещается. Это Кичигину еще предстояло узнать, а пока их всех разделили на три группы по

числу ожидавших фургонов, и началась посадка. Здесь особую нервозность создавали собаки — громадные овчарки, которые вроде спокойно стояли возле своих проводников, но шерсть у них на загривках стояла дыбом и подрагивала.

А какой-то город был совсем близко, Кичигин успел увидеть по другую сторону железной дороги зеленый массив парка, сквозь листву деревьев светились гирлянды лампочек, и отдаленно слышался духовой оркестр, игравший вальс, Кичигин подсчитал — сегодня суббота.

По железнодорожным путям прохаживался конвойный с черной овчаркой, он словно охранял от черного мира преступников и от него — Кичигина — и городской парк, и тот грустный вальс, мелодию которого неуверенно выводила труба. Все это Кичигин увидел, услышал за одну минуту, пока его группа шла к фургону…

Их привезли в тюрьму и под свирепый лай овчарок построили шеренгой на узком тюремном дворе. Стемнело, двор уже освещали фонари, от которых тени падали в разные стороны, что создавало какую-то нервную суету.

Вряд ли в этой камере было двадцать квадратных метров, и, когда этапники стали в нее входить, там и без них было уже полно, люди густо сидели на полу, надо было внимательно высматривать место между сидевшими, чтобы поставить ногу. Стоило кого чуть коснуться, взрывалась ругань. Но снова — это чудо — все уместились, сели на пол, примерялись, как лечь. Дверь в камеру захлопнулась. Стало тихо.

Похлебки не дали, тот, что пугал, оказался прав, пришлось довольствоваться кипятком с хлебом. Никогда Кичигину не был так вкусен черствый черный хлеб.

Висевшая под потолком слабенькая запыленная лампочка тускло освещала шевелящуюся камеру. Но вот в дальнем углу встал верзила со шрамом на лбу и пошел по диагонали в противоположный угол. Просто не понять, с какой быстротой образовывался проход для его прогулки, и он так гулял из угла в угол, заложив руки за спину и вглядываясь в лица зеков, видимо вызывал на протест вожака тех, кто был в этой камере раньше, но никто голоса не подавал. И тогда верзила остановился:

— Из десятой зоны никого?

Молчание.

И снова пошел он маячить, но тут к нему подключился тот самый стригунок-грабитель Гарик, который легкой танцующей походкой, с лисьим лицом стал вышагивать позади верзилы. Вскоре Кичигин узнает, что такое гулянье в камере называется тасоваться. Вдруг Гарик остановился перед одним новичком и ткнул в спину верзилу. Тот остановился, оглянулся нехотя.

— Гляди-ка, папа, что ему мама дала в дальнюю дорогу… — весело проговорил Гарик, показывая на сидевшего перед ним заключенного.

— Что там? — лениво поинтересовался верзила.

— А ты погляди, она ему дала рубашечку черного цвета, сказала, что такая лучше — не маркая… хе! хе! хе! — Гарик нагнулся к заключенному и, уцепясь за угол воротничка, потянул рубашку вверх. Заключенный, привстав на колени, смотрел то на Гарика, то на верзилу, видимо еще не соображая, что от него хотят. И он еще не знал, что в колониях и тюрьмах среди уголовников-вожаков самой желанной модой считалась черная рубашка.

— Сымай! — рыкнул верзила и пристукнул заключенного в бок ногой.

Торопливо, путаясь в рукавах и нерасстегнутых пуговицах, заключенный сорвал с себя рубашку, и верзила выхватил ее у него из рук, снял с себя грязную рубаху и бросил ее заключенному, а сам стал напяливать черную рубашку, которая еле влезала на его широкие плечи. Он отошел в свой угол, сел и стал что-то проделывать с рубашкой, кажется разрезал не сходившийся на горле воротник. Теперь тасовался только Гарик, он ходил из угла в угол быстрым шагом и показался Кичигину похожим на волка в клетке зоопарка.

Кичигин больше терпеть все это не мог. Он встал и сказал громко:

— Все-таки и в тюрьме должна быть советская власть…

— Гляди, когда он о ней вспомнил! Гы! Гы! Гы!.. — затрясся в смехе верзила.

Кичигин решительно направился к двери и стал колотить в нее кулаками. В камере стихло, все смотрели то на Кичигина, то на верзилу.

— Эй ты, стукач новоявленный! Чего народ будишь? — крикнул верзила.

Наверно, его стук в коридоре не слышали.

Кичигин перестал колотить в дверь, посмотрел на свои сбитые до крови мослаки и медленно вернулся на свое место. Все с интересом смотрели на верзилу — как он отреагирует на поступок этого пожилого красавчика с густыми бровями и стальными глазами, а вдруг верзила встретит тут отпор? Такая борьба за власть вызывает в среде зеков самый большой интерес. В камере стало тихо, как в могиле…

Утром пересыльных подняли на рассвете. В коридоре тюрьмы проводилась проверка этапа. Все снова стояли шеренгой и по очереди объявляли свою

фамилию и статью Уголовного кодекса. И снова конвой сверял все по своему списку.

— Есть какие-нибудь заявления? Претензии? — спросил прапорщик, бегло оглядывая строй.

Верзила, стоявший неподалеку от Кичигина, наклонился из строя, чтобы увидеть его, и спросил негромко:

— Чего молчишь-то?..

Кичигин стоял неподвижно.

Перед выходом из здания тюрьмы пересыльным выдали сухой паек: буханка хлеба, селедка и несколько кусочков сахара.

Снова счет по головам:

— Девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый. Все!

Партия уменьшилась. Несколько человек отсюда пойдут в какие-то иные места. Кичигинской партии катиться по стране дальше, к колонии усиленного режима.

Вышли во двор. Было прелестное тихое утро. Кичигин посмотрел в высокое нежно-голубое небо и чуть не заплакал — он что-то стал слезлив. Ночью он все трогал пальцами свой распухший нос и тихо всхлипывал. У него крепло странное самоощущение, будто собственно его жизнь прекратилась, он даже не чувствовал зла на верзилу с Гариком.

Снова посадка в «Столыпина». Только теперь занятие мест происходило уже более организованно, все уже знали свои места, знали, кому предназначены лучшие нижние скамейки, кому надо, не раздумывая, лезть на вторую нару, а кому на третью, под самую вагонную крышу.

Купе — это глухой грохочущий ящик. Вагонные окна в коридоре. А здесь только глухая дверь. Лампочка над дверью горит красным накалом. Все торопливо едят селедку с хлебом и торопятся с кружками к бачку. Не

успеешь — вода кончится… Бачок врезан в стенку у двери, крантик внутри купе, а заливка бачка — из коридора. Горло сорвешь, пока докричишься до конвоя, чтобы подлили в бачок воды. А день выдался жаркий! От накалившейся крыши вагона жар оседает в купе, хотя в нем уже надышано до отказа, и без того воздух согрет телами.

А вагон катится все дальше, дальше…

Новая страшная жизнь Кичигина продолжалась, и в ней он сейчас больше всего боялся верзилы и Гарика, и не было у него мечты заветнее, чем узнать однажды, что они из этапа выбыли, ему казалось, что тогда все изменится. Но нет, снова была «пересылка», и снова они были в одной с ним камере, и первое, что они сделали, когда дверь камеры закрылась, — отобрали у него остатки сухого пайка. Причем Гарик сказал, что, когда пойдет садиться на парашу, он его позовет, чтобы отдать то, что он у него сейчас взял. И вокруг засмеялись — будет новый спектакль, и Кичигин уже знает, что все эти люди ему не помогут…

И когда Кичигин прибыл наконец в свою колонию, он в ожидательном ее дворике, именуемом зеками «Калда», увидел и верзилу, и Гарика, и всех тех, кто ржал над его страданиями.

Зеки стояли, перед высоченными воротами, за которыми была колония.

— Господи, неужели там все это будет продолжаться… столько лет? — невольно вырвалось из самой души Кичигина.

— А ты что думал? — оглянулся на него верзила.

Кичигин думал сейчас о том, что кто-то же в пути говорил ему: в колонии все же есть какой-то порядок. Но, может, то, что он все эти дни переживал, и называется порядком?..

— Взятки не надо было хапать. Гы! Гы! Гы! — трясся верзила…

Высокие ворота начали медленно открываться…

Неотвратимость наказания

Перестройка, которая ведется во всех сферах нашей жизни, должна привести к искоренению и такого явления, как примиренчество к нарушениям моральных законов нашего общества.

Роман Василия Ардаматского «Суд» значителен тем, что в нем автор осуществил тщательный анализ причин возникновения отрицательных явлений в нашей жизни и показал, как с ними ведется борьба. С глубиной и обстоятельностью в этом произведении обнажены истоки и корни преступления, показана неотвратимость возмездия за него, горький и непростой, а подчас и очень тяжкий процесс исправления, возвращения к нормальной жизни.

Здесь нет необходимости вновь прослеживать путь, который прошли персонажи романа — от тех моментов, когда в человеке начинают искажаться представления об окружающем его мире — до скамьи подсудимых и тюремной камеры. Всем повествованием, последовательным и убедительным, автор призывает читателя поразмыслить вместе с ним над судьбами этих людей, погрязших в злоупотреблениях, обмане государства, стяжательстве и низменных развлечениях, воочию увидеть их моральное и общественное падение. Роман зовет к активной борьбе со всем грязным и наносным особенно сегодня, когда сама атмосфера нашей жизни насыщена

благотворными идеями важнейших партийных решений.

XXVII съезд Коммунистической партии и январский (1987) Пленум ЦК КПСС дали развернутую оценку застойным явлениям в жизни нашей страны и разработали великую программу поступательного движения социализма.

Советский закон по природе своей гуманен и справедлив. Наказание за преступление не преследует у нас цель мести и унижения человеческого достоинства. Главная его цель — исправить, перевоспитать преступника.

На основе реального уголовного дела автор показывает не только глубину падения преступников, но и усилия советских людей, направленные на искоренение общественного зла и оздоровление всей атмосферы нашей жизни.

На наш взгляд, в отличие от многих детективных произведений, часто носящих развлекательный характер, большим достоинством романа «Суд» является четко выраженная в нем линия гражданственности — гневное осуждение всех сторон преступной деятельности, утверждение в читателе активной жизненной позиции, необходимым составным элементом которой должна быть нацеленность каждого сознательного человека на борьбу со всем, что мешает нам жить и плодотворно трудиться. В этом отношении Василий Ардаматский своим романом вносит определенный вклад в эту борьбу. Он показывает, что как бы ни изощрялись, ни хитрили, ни заметали следы преступники, неминуемая кара рано или поздно настигнет их.

Исстари известно — кто не карает зла, тот способствует, чтобы оно совершалось. И наоборот — справедливо и вовремя наказанное зло — первостепенное условие его исправления. Именно потому, что принцип неотвратимости наказания имеет решающее значение для общего и частного предупреждения общественно опасных деяний, он является незыблемым в советском законодательстве. Но его реализация сводится не только к обязательному наказанию виновного. Не менее важны полное раскрытие преступлений и обеспечение условий, при которых назначенное наказание эффектно исполняется.

Новый очистительный ветер, который несется сегодня над страной, утверждение в нашей жизни гласности и справедливости помогают искоренению всего того, что мешает сегодня честным труженикам жить и работать во имя мира и созидания.

Е. А. СМОЛЕНЦЕВ, заместитель Председателя Верховного Суда СССР